АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1968

СОДЕРЖАНИЕ

Б. А. Успенский (Москва). Отношения подсистем в языке и связанные с ними универсалии 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Г. А. Климов (Москва). О гипотезе внутреннего родства кавказских языков 16
Б. С. Хаймович (Харьков). О единицах грамматической сферы 26
Ю. С. Степанов (Москва). Проблема классификации падежей 36
Т. М. Николаева (Москва). О соотношении сегментных указателей и суперсегментных языковых средств 49
Р. Р. Гельгардт (Калинин). О стилистических категориях 58

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. В. Шеворошкин (Москва). К проблеме ликийского языка 66
Г. Ф. Благова (Москва). Тюркский аффиксальный плеоназм в сравнительно-историческом и ареально-лингвистическом освещении 81
Г. П. Клепикова, Т. В. Попова (Москва). О значении данных лингвистической географии для решения некоторых вопросов истории болгарского языка 98
В. Я. Дерягин, Л. П. Комягина (Москва). Из истории диалектных границ в северной России 109

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Л. Р. Зиндер, Т. В. Строева (Ленинград). К вопросу о применении статистики в языковедении 120

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

С. И. Гиндин (Москва). В. Я. Брюсов о речевой природе стиха и стихотворного ритма и о русских эквивалентах античных стихотворных размеров . . . 124

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Т. М. Лайтнер (Урбана, США). «Phonologie der Gegenwart» 130
А. Г. Широкова, Г. П. Нещименко (Москва). «Tvoření slov v češtině. 2. Odvozování podstatných jmen» 135
Х. М. Гойдо (Челябинск). *Н. А. Катагощина, М. С. Гурычева, К. А. Аллендорф.* История французского языка 140
И. Г. Милославский (Москва). *J. G. Nicholson.* Russian normative stress notation 145

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

К. М. Любимов (Москва). О степенях сравнения прилагательных в тюркских языках 147
Л. Н. Засорина (Ленинград). Письмо в редакцию 149

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 151
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию 155
Указатель статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в 1968 г. (№№ 1—6) 156

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, В. В. Виноградов (главный редактор),
В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), *Э. А. Макаев, М. В. Панов, В. З. Панфилов, И. И. Ревзин, Ю. В. Рождественский, Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой* (отв. секретарь редакции), *О. Н. Трубачев*

Адрес редакции: Москва. К-31. Кузнецкий мост, 9/10. Тел. 228-75-55

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1968

Б. А. УСПЕНСКИЙ

ОТНОШЕНИЯ ПОДСИСТЕМ В ЯЗЫКЕ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ УНИВЕРСАЛИИ

1. Система языка (представленная на некотором языковом уровне) распадается на совокупность подсистем, которые находятся между собою в тех или иных отношениях. Если одни подсистемы относительно замкнуты в языке (например, система гласных и система согласных в фонологии или система имени и система глагола в грамматике), то другие могут характеризоваться отношением включения (например, система глагола и система глагола прошедшего времени), отношением пересечения и т. д. Реализация различных подсистем может быть как парадигматически, так и синтагматически обусловлена в языке.

Как известно, один из актуальных типологических подходов призывает сделать непосредственным объектом типологического сравнения языков именно подсистемы, а не общие системы языков [1].

Каждая подсистема задается в определенных признаках, любой из которых может принимать те или иные значения; как сами признаки, так и диапазон их значений могут быть специфичными для данной подсистемы. Так, система гласных может быть охарактеризована, например, в артикуляционных признаках (ряда, подъема и т. д. — причем количество возможных значений для каждого признака меняется от языка к языку); система имени в некотором языке может быть охарактеризована в признаках числа, падежа, рода и т. д. На грамматическом уровне в качестве признаков естественно брать те или иные грамматические категории, а в качестве значений этих признаков — соответствующие граммемы. (В дальнейшем мы ограничимся рассмотрением именно г р а м м а т и ч е с к и х подсистем, хотя самый подход равно применим и к другим уровням языка.)

Отношение признаков и их значений в подсистеме может быть представлено в матричной форме или в виде модели в n-мерном пространстве (где n равняется количеству признаков, характеризующих данную подсистему). Налагая те или иные ограничения на сами признаки или на их значения, можно вычленять внутри данной подсистемы всевозможные более мелкие подсистемы (которые могут находиться между собой в различных отношениях).

1.1. Если различные подсистемы имеют общие признаки, их можно сравнивать друг с другом. Такое сравнение может производиться между соответствующими подсистемами как внутри одного и того же языка, так и в разных языках. При этом нередко отношения определенных подсистем в языке могут быть аналогичны тем отношениям, которые наблюдаются между разными языками. Речь идет здесь не столько об изоморфизме методов интерлингвистического и интралингвистического описания, сколько об изоморфности самих отношений, существующих внутри одного языка и устанавливаемых между разными языками.

[1] См. прежде всего: C. E. B a z e l l, Linguistic typology, London, 1958.

Так, если в языке *A* (примером может служить русский) различаются три рода (муж., жен. и ср.), а в языке *B* (например, хеттский или скандинавские) — два рода (общий и средний), то можно сказать, что в языке *B* синкретизированы те различия, которые представлены в *A* (язык *A* выступает в данном случае как язык-эталон, относительно которого удобно описывать *B* [2]). Но в то же время и внутри одного языка могут быть констатированы подобные же отношения. Например, в ряде дравидских языков (тамильский, каннада и др.), вообще говоря, различается три рода (так, в частности, в ед. числе), но во мн. числе — всего два, поскольку здесь имеет место синкретизм муж. и жен. рода. Таким образом, в определенной частной системе (подсистеме, которая реализуется в формах мн. числа) такой язык уподобляется языку *B* (т. е. языку хеттского); тогда как в другой, более полной своей системе он аналогичен языку *A* (т. е. языку типа русского). Отношения внутри языка здесь изоморфны — в рассматриваемом аспекте — отношению самих языков; точно так же, как один язык может выступать в качестве эталона при описании другого языка, определенная система в языке может выступать в качестве эталона при описании некоторой другой системы (того же языка).

Примеры подобного рода чрезвычайно многочисленны. Так, в специальных системах старославянского имени, образующихся в формах мн. и дв. чисел, представлены все вообще возможные бинарные противопоставления муж., жен. и ср. родов: в одной системе противопоставлен мужской vs. немужской, в другой женский vs. неженский, наконец в третьей — средний vs. несредний; и тем самым различные подсистемы, реализующиеся в старославянском, могут быть соотнесены с представителями различных типов языков с двухродовым членением (ср. гонди как пример языка, где противопоставлен мужской и немужской роды, хауса как пример языка с противопоставлением женского и неженского родов и хеттский как пример языка, противопоставляющего средний и несредний роды).

В языке шиллук в негативной форме имеет место синкретизм настоящего и будущего времени [3] и, следовательно, в данной подсистеме этот язык становится типологически аналогичным тем (языкам, в которых имеется два времени — прошедшее и непрошедшее (например, эстонский), тогда как в другой подсистеме он может быть аналогичен языку с тремя временами (типа русского) [4]. Во многих языках во мн. числе нет различий по роду (при наличии таких различий в ед. числе — ср. русский) и соответственно мн. число подобного языка соотносится с мн. числом такого языка, в котором вовсе нет рода. Эстонский глагол в пассиве не различается по лицу и числу, т. е. в данной подсистеме эстонский приблизительно аналогичен языку типа тибетского [5]. В арабском и хауса существительное в status constructus не принимает артикля, т. е. здесь нейтрализуется противопоставление по определенности; тем самым, в данной подсистеме (реализация которой в этом случае обусловлена синтагматически) язык уподобляется такому языку, в котором вообще нет артикля. Примеры нетрудно было бы умножить.

Во всех этих случаях в результате всевозможных нейтрализаций в языке образуются различные системы противопоставлений (вслед за

[2] Ср.: Б. А. Успенский, Структурная типология языков, М., 1965, стр. 58 и сл.

[3] Ср.: J. H. Greenberg, Language universals, в кн. «Current trends in linguistics» III — Theoretical foundations, The Hague — Paris, 1966, стр. 89.

[4] Ср. тамильский, в котором в отрицательных формах время вообще не различается (и соответственно в этой подсистеме тамильский соотносится с таким языком, в котором нет времени), или ведийский санскрит, в котором в отрицательных формах происходит нейтрализация некоторых наклонений.

[5] Ср. в этой связи также албанский, где в пассиве происходит нейтрализация изъявительного и сослагательного наклонений.

Н. С. Трубецким можно называть такие системы «частными системами» [6]), которые сами по себе — при независимом их рассмотрении — могут соотноситься с теми или иными системами, представленными в различных языках. Эти системы можно рассматривать как случай редукции какой-то более полной системы, имеющейся в том же языке. Заметим при этом, что когда говорят о языке в целом, то обычно имеют в виду некоторую м а к с и м а л ь н у ю систему противопоставлений, которая в полном виде может не быть представлена ни в одной из тех конкретных подсистем, на которые распадается данный язык — но лишь во всей их совокупности [7].

Итак, одна и та же система противопоставлений может быть представлена в одном случае в некотором языке (т. е. в языке в целом), а в другом случае — в некотором фрагменте языка, характеризующемся теми или иными ограничениями. Соответственно накладывая или снимая те или иные ограничения, можно определенным образом трансформировать языки (в том или ином аспекте рассмотрения), последовательно уподобляя их различным в принципе возможным языкам. Таким образом можно моделировать и всевозможные априорные языковые системы [8].

1.2. Отношения подсистем в языке часто характеризуются определенной иерархией; эту иерархию подсистем можно описать в виде импликационных утверждений, характеризующих преимущественность одной подсистемы относительно другой в том или ином отношении, т. е. утверждений типа: если в подсистеме α имеется некоторое явление, то оно же имеется и в подсистеме β этого же языка; и т. п. Например: если противопоставление по роду есть в формах мн. числа, то оно есть и в формах ед. числа данного языка, если оно есть в формах непрямого падежа, то оно есть и в формах прямого падежа, и т. п.

Упорядочив совокупность импликаций, имеющихся для данного языка, можно представить отношения подсистем в языке в виде цепочек импликаций, последовательно сводящих рассматриваемую систему к некоторому структурному ядру, т. е. к каким-то наиболее представительным подсистемам — таким, что все прочие подсистемы данной системы предстают как случаи редукции от этих подсистем.

Поскольку языковые универсалии имеют дело с отсутствием или наличием тех или иных явлений в языке, постольку их можно проверять именно

---

[6] См.: Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 256.

[7] Ср., например, телугу, где различаются, вообще говоря, три рода (муж., жен. и ср.), но при этом в частных системах каждый раз представлено всего два рода: в ед. числе различаются мужской и немужской роды, а во мн. числе — общий и средний роды. Таким образом, все три рода проявляются лишь в языке в целом, но не представлены ни в одной из конкретных подсистем данного языка.

[8] Если система противопоставлений, реализуемая в языке в целом, нередко соответствует определенной частной системе (подсистеме) какого-то другого языка (который имеет более полную систему противопоставлений), то обратное совсем не всегда обязательно, т. е., иначе говоря, система противопоставлений, которая представлена в некоторой подсистеме языка (особенно, располагающейся на периферии последнего), может быть невозможна в языке в целом (как максимальная система противопоставлений). Другими словами, в частных системах, по-видимому, реализуется гораздо больше возможных противопоставлений, нежели в самих языках. Можно предположить, таким образом, что на языки в целом (т. е. на их общие системы) накладываются более сильные ограничения универсального характера — относительно тех возможностей, которые представлены в разнообразных частных системах различных языков.

Таким образом, если в языке *A* имеется некоторая (максимальная) система противопоставлений, то очень вероятно, что такая же система будет обнаружена и в каком-то другом языке *B* — непосредственно или же при некоторых заданных условиях (т. е. в некоторой специальной подсистеме); но обратное предположение — неправомерно, т. е. неверно было бы предположить, что все, что представлено в частных системах, должно реализоваться и в самих языках.

на материале таких подсистем, которые являются представительными для соответствующих языков. В самом деле, если какое-то явление вообще имеется в языке, то по условию оно должно быть представлено в данных подсистемах, и наоборот: если его нет в данных подсистемах, то, следовательно, его и вообще нет в соответствующих языках.

Можно ожидать, что среди общей совокупности импликаций, характеризующих отношения подсистем в некотором языке, какие-то импликации имеют универсальный характер, а другие — специфичны для данного языка. Проблема обнаружения универсалий в рассматриваемом аспекте сводится тогда к вычленению определенного слоя универсальных отношений, т. е. таких, которые верны для любого языка.

2. Ниже рассматривается типология отношений подсистем в языках и предлагается ряд универсальных закономерностей с некоторыми комментариями. При этом не менее, чем сами универсалии, нас будут интересовать *ограничения в сфере их действия*, т. е. невозможность экстраполяции формулируемых отношений на какие-то близкие категории. Можно сказать, что отрицательные выводы здесь могут быть — в известных случаях — едва ли не более интересны, чем положительные утверждения (последние могут показаться иногда и тривиальными).

Прежде чем перейти к непосредственному формулированию универсалий, следует сделать следующие замечания предварительного порядка.

а) Сравнение подсистем в языке может происходить на разных уровнях общности. Применительно к грамматике на наиболее общем уровне рассмотрения могут сравниваться подсистемы, относящиеся к разным классам слов; далее, по-разному ограничивая объемы сравниваемых подсистем, можно рассматривать отношение все более мелких подсистем и таким образом прийти к отношению конкретных граммем. Так, в процессе постепенного сужения материала рассмотрения могут последовательно сравниваться, например, система местоимения и система имени, система существительного и система прилагательного, система мн. числа и система ед. числа, система прямых падежей и система непрямых падежей и т. д. При этом подсистемы, характеризующиеся определенным набором признаков, на относительно более общем уровне могут рассматриваться на материале всего языка (например, подсистема мн. числа в языке может охватывать и существительное, и прилагательное, и глагол и т. п.), а на более подробном уровне — на материале какого-то класса слов (например, подсистема мн. числа существительного). Нижеследующие универсалии приводятся в последовательности *от более общих к менее общим*.

б) Сравнение подсистем в языке может производиться по признакам их плана содержания или же плана выражения. Применительно к грамматическому уровню в первом случае речь идет о сравнении подсистем по тем грамматическим противопоставлениям (т. е. противопоставлениям по признаку каких-то грамматических категорий), которые представлены в соответствующих подсистемах; во втором случае речь идет о выражении этих категорий.

В отношении плана содержания следует заметить, что при рассмотрении подсистем в языке здесь говорится о той или иной категории применительно к некоторой подсистеме лишь постольку, поскольку данная категория формально выражается *непосредственно в самой этой подсистеме* (а не вообще в данном языке), т. е. выступает как «открытая категория» («overt category») [9], причем проявляющаяся непосредственно в парадигмах данной подсистемы. При этом подходе мы не

[9] B. L. Whorf, Grammatical categories, «Language», 21/1, 1945.

вправе говорить, например, о роде в системе существительного в языке, если он не выражается в парадигмах самого существительного, но проявляется через согласование с другими словами в синтагматике языка или через замену другими словами в его парадигматике. Таким образом, при выделении категорий следует рассматривать каждую подсистему непосредственно — независимо от других подсистем данного языка.

Далее приводятся в основном универсалии, относящиеся к плану содержания сравниваемых подсистем, т. е. формулирующие общие закономерности соотношений категорий в различных подсистемах (см. § 3); в конце работы (§ 5) приводятся и несколько универсалий, относящихся к плану выражения.

3. Рассмотрим прежде всего некоторые общие отношения между системой языка в целом и определенной подсистемой этого языка. Так, можно утверждать, что некоторые явления, коль скоро они имеются вообще в данном языке, должны быть непременно представлены и в конкретной подсистеме местоимений данного языка. Можно предложить, в частности, следующие универсалии.

Если имеется некоторое регулярное противопоставление по признаку рода (именных классов) в языке, то такое противопоставление имеется и в формах местоимений данного языка.

Если имеется некоторое регулярное противопоставление по признаку числа в языке, то такое противопоставление имеется и в формах местоимений данного языка.

Соответственно, поскольку система противопоставлений в имени составляет специальную подсистему данного языка, можно сделать следующее, более частное утверждение: **любое регулярное противопоставление по признаку рода (именных классов) или числа, которое имеется в формах имени, должно быть представлено и в формах местоимений (данного языка)**[10].

Вышеприведенное отношение не представляется возможным, однако, распространить на категорию падежа[11]. Обычно в местоименных парадигмах выражается не меньше падежей, чем в именных (но часто и больше — ср., например, английский, датский или эстонский аккузатив, выражающийся только в местоимениях); однако эта закономерность не является непременной — так, в некоторых финских языках определенные падежи имеются в именах, но отсутствуют в местоимениях (ср. инструктив

---

[10] Ср.: J. H. Greenberg, Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements, в кн. «Universals of language», Cambridge (Mass.), 1963, стр. 75 (универсалии 42 и 43), где высказываются утверждения иного плана: о том, что если род имеется у существительных в языке, то он имеется (вообще) у местоимений, и о том, что у местоимений всегда имеется число. Данные утверждения Гринберга относятся к общему наличию соответствующей категории в системе местоимений, тогда как в вышеприведенном утверждении подчеркивается наличие у местоимения того же конкретного различения, что и у существительных. Заметим при этом, что второму утверждению Гринберга (о том, что у местоимений всегда имеется противопоставление по числу) противоречит, по-видимому, язык кави (древнеяванский).

[11] При этом едва ли возможна точка зрения, по которой к числу падежей, специфичных для парадигмы существительного, но отсутствующих у местоимений, была бы отнесена звательная форма (вокатив). Даже если и считать звательную форму специальной падежной формой (что, вообще говоря, вызывает серьезные возражения), можно полагать, что тот признак, по которому звательная форма противопоставлена всем остальным падежным формам существительного (направленность на адресата), представлена и в системе личных местоимений — а именно, звательная форма соответствует местоимениям 2-го лица. Иначе говоря, при определенном подходе можно считать, что местоимения 2-го лица представляют собой не что иное, как звательную форму от соответствующих местоимений 3-го лица.

в финском [12] и, по-видимому, в вепсском; ряд падежей в ливском языке [13]). Можно выделить языки, характеризующиеся абсолютным доминированием системы местоимения над системой существительного; в таких языках все, что выражается в формах существительного, передается и в местоименных формах, т. е. система существительного (или даже вообще имени) выступает как редуцированная подсистема местоимения. Можно, далее, выделять и языки, в отношении которых возможно еще более сильное утверждение: все, что выражается в формах существительных, выражается здесь в формах л и ч н ы х местоимений. Строй таких языков компактно организован, система личных местоимений выступает здесь как структурное ядро, в котором концентрированы все грамматические противопоставления, выражающиеся в системе существительного (хотя при этом могут выражаться и иные противопоставления). Другие языки более диффузны по своему строю; грамматические противопоставления, содержащиеся в системе имени (существительного), рассеяны здесь по всей системе местоимений (т. е. что-то выражается в личных местоимениях, что-то в указательных, в вопросительных и т. д.). Ср. комитатив в финском, транслатив в манси, различные падежи в самодийских языках, которые выражаются в указательных, но отсутствуют в личных местоимениях; в удмуртском различение всех падежей, представленных у существительного, наблюдается только в системе вопросительных (и производных от них) и определительных местоимений, а в мордовском-мокша языке — только в системе определительных местоимений. Ср. также одушевленность в русском языке, которая выражается в системе вопросительных местоимений [14], но не выражается в системе личных местоимений — при том, что число выражается напротив, в личных местоимениях, но зато отсутствует в вопросительных местоимениях, различающихся по одушевленности.

3.1. Отношения системы с у щ е с т в и т е л ь н о г о и систем п р и л а г а т е л ь н о г о и г л а г о л а характеризуются следующими закономерностями, имеющими абсолютный или очень общий характер.

Если имеется некоторое противопоставление по признаку п а д е ж а в формах прилагательного, то такое противопоставление выражается и в формах существительного в данном языке.

Если имеется регулярное противопоставление по признаку ч и с л а в формах прилагательного или глагола, то такое противопоставление имеется в данном языке и в формах существительного.

Последняя закономерность, возможно, нарушается в некоторых восточноиндонезийских языках (предположительно, в ротинском, кейском), в которых, как можно судить по не вполне совершенным грамматическим описаниям, категория числа может отсутствовать в имени, но выражается при этом в глаголе, который согласован с именем.

В то же время данное отношение не представляется возможным распространить на категорию р о д а (именных классов). Так, в телугу род отсутствует в имени, но выражается через согласование последнего с глаголом. Ср. также шведский, где прилагательное имеет специальную форму

---

[12] Утверждение, что финские местоимения не имеют комитатива, которое можно встретить в грамматиках финского языка, может быть опровергнуто, так как форма комитатива выражается в указательных местоимениях (ср.: *näine* — комитатив от *nämä* «этот»).

[13] Имеются в виду следующие падежи: адессив, аблатив, аллатив и инструктив.

[14] Следует заметить, что вопросительные (и производные от них) местоимения различаются по одушевленности (личности) очень часто (ср., например, финский, где это единственная система в языке, различающаяся по данному признаку),— но отнюдь не всегда. Ср. балтийские языки, где вопросительные местоимения не различаются по этому признаку.

для личных мужских имен, тогда как в существительных эта категория никак формально не выражена; кетский, где в парадигме прилагательного и глагола выделяется три рода (муж., жен., ср.), но в парадигме существительного — всего лишь два (мужской и немужской).

3.2. Если вышеприведенные универсалии основывались на сравнении подсистем, принадлежащих разным классам слов, то предлагаемые ниже универсалии рассматривают отношение подсистем, заданные по тому или иному конкретному грамматическому признаку (такие подсистемы, в частности, могут принадлежать одному и тому же классу слов, т. е. охватываться одной парадигмой).

3.2.1. Известно, что если в языке есть тройственное число, то в нем есть и двойственное число, а если в языке есть двойственное число, то в нем есть и множественное число; соответствующие закономерности были сформулированы Дж. Гринбергом [15]. Но как соотносятся между собой соответствующие подсистемы, т. е. системы противопоставлений в формах различных чисел? Предлагаются следующие универсалии (представляющие собой более сильные утверждения, чем упомянутые универсалии Гринберга).

Если имеется противопоставление по некоторому грамматическому признаку в формах тройственного числа, то такое противопоставление имеется и в формах двойственного числа того же языка.

Если имеется противопоставление по некоторому грамматическому признаку в формах двойственного числа, то такое противопоставление имеется и в формах множественного числа.

Стоит отметить, однако, что эти утверждения — во всяком случае, в столь общей форме — не представляется возможным распространить на отношения множественного и единственного чисел. Действительно, в ряде языков во мн. числе обнаруживаются такие грамматические противопоставления (прежде всего, по признакам рода), которых нет в ед. числе. Ср., например, противопоставление по личности во мн. числе в польском — при том, что в ед. числе в этом языке выступает противопоставление по одушевленности, а не по личности; или, напротив, противопоставление по одушевленности во мн. числе в лакском языке — при том, что в ед. числе здесь имеет место противопоставление по личности, а не по одушевленности; противопоставление среднего и несреднего рода в ряде дравидских языков (телугу и др.), проявляющееся только в формах мн. числа. Ср. также противопоставление по одушевленности в архаическом фарси-кабули, которое проявляется, по-видимому, только в формах мн. числа (тогда как в ед. числе отсутствуют какие-либо родовые противопоставления) [16].

В то же время, по всей вероятности, в принципе возможно сформулировать такие условия, в рамках которых можно ожидать универсального соответствия между системой мн. числа и системой ед. числа.

3.2.2. Если противопоставление по некоторому грамматическому признаку имеется в парадигме среднего рода, то такое противопоставление имеется и в парадигме несреднего рода.

---

[15] См.: J. H. Greenberg, Some universals of grammar..., стр. 74 (универсалия 34).

[16] По любезному сообщению Л. Н. Киселевой, противопоставление по одушевленности выражается в архаической форме языка различными показателями мн. числа: *ān* для одушевленных и *hā/ā* для неодушевленных имен (в современном языке эти различия стерлись, и показатель *hā/ā* приобрел универсальный характер). Заметим, что данный язык, по-видимому, составляет исключение к универсалии Гринберга о том, что количество противопоставлений по признакам рода в ед. числе всегда не меньше, чем количество подобных противопоставлений в неединственном числе (см.: J. H. Greenberg, Some universals of grammar..., стр. 75, универсалия 37).

Неясно, насколько данное отношение (сформулированное для среднего и несреднего родов) может быть распространено на именные классы, противопоставленные по признаку одушевленности или личности. По-видимому, в ряде языков, где выделяется класс неодушевленных или неличных имен (но при этом не образующий специального среднего рода), последние могут иметь такие формы, которые отсутствуют у противопоставленных им в языке одушевленных (личных) имен. Так, в имбацком диалекте кетского языка так называемый местно-временной падеж, по-видимому, образуется только от неодушевленных имен; местные падежи в удмуртском языке также имеются только у неодушевленных имен. (Ср. в этой связи также локативные классы в языках банту, которые представлены лишь у неодушевленных имен.)

3.3. В итоге предшествующего рассмотрения можно констатировать отношения определенной иерархии между различными частями общей именной парадигмы: тройственным, двойственным и множественным числами, средним и несредним родом.

Любопытно, что аналогичные отношения не наблюдаются у прямых и косвенных (непрямых) падежей [17].

Обычно, вообще говоря, те противопоставления, которые имеются в системе непрямых падежей, есть и в системе прямых падежей. Нередко максимальная система противопоставлений по тому или иному признаку наблюдается в формах прямых падежей, тогда как в формах косвенных падежей представлен синкретизм определенных противопоставлений. Ср., например, различение муж. и ср. рода в санскрите или в славянских языках, различение по числу в неопределенном склонении в мордовских языках — эти различения представлены только в формах прямых падежей.

Возможен, однако, и противоположный случай, когда в системе прямых падежей отсутствуют противопоставления, имеющиеся в формах косвенных падежей. Так, в курдском и в белуджском языках в прямых падежах происходит нейтрализация различия по числу [18]; в кетском род формально противопоставлен в парадигме только в системе непрямых падежей.

3.4. Отношения подсистем в системе местоимений характеризуются определенным доминированием подсистемы 3-го лица над подсистемами других лиц, которое трудно, однако, выразить в виде «полных» универсалий.

Для абсолютного большинства языков действует следующее соотношение: если местоимения различаются по признаку рода или числа во 2-м лице, то они различаются по этому признаку в 3 или в 1-м лице. При этом

---

[17] Вместе с Р. О. Якобсоном (см.: Р. О. Якобсон, Морфологические наблюдения над славянским склонением, «American contributions to the IV International congress of slavists», 's-Gravenhage, 1958, стр. 6) и вслед за романской грамматической традицией мы относим к прямым падежам именительный и винительный, а к косвенным — все остальные падежи.

[18] См.: В. Н. Топоров, Индоевропейские языки СССР, в кн.: «Языки народов СССР», 1, М., 1966, стр. 35.

Данные языки противоречат, таким образом, утверждению Гринберга о том, что не бывает нейтрализации различия по числу в падежной форме (J. H. Greenberg, Some universals of grammar..., стр. 81). Заметим, что подобная нейтрализация наблюдается также в финском комитативе, во всех косвенных падежах в неопределенном склонении в мордовских языках, так же как и в целом ряде форм притяжательного склонения в этих языках (а именно: во всех косвенных падежах при обладателе 1 и 3-го лица ед. числа и во всех вообще падежах при обладателе мн. числа или 2-го лица в мордовском -эрзя языке; во всех падежах, кроме им., род. и дат. при обладателе ед. числа, и во всех вообще падежах при обладателе мн. числа — в мордовском-мокша языке). Таким образом, нейтрализация противопоставления по числу может иметь место как в формах прямых, так и в формах косвенных падежей.

обычно признаки, выражающиеся во 2-м лице, выражаются в 3-м лице[19]. В ряде языков различение по роду имеется в 1 и 3-м лицах, но отсутствует во 2-м лице (тибетский, тохарский). Ср. также современный английский язык, в котором различение по числу имеется в 1 и 3-м лицах, но нехарактерно для 2-го лица (поскольку во 2-м лице здесь нет о б я з а т е л ь н о г о противопоставления по числу; в то же время местоимение *thou* 2-го лица ед. числа относится к настолько специальному стилю языка, что от него в определенных случаях можно вообще отвлечься).

Однако бывают случаи, когда противопоставление по роду или числу имеет место только в местоимениях 1-го лица. Так, в тайском языке род (пол) может выражаться лишь в 1-м лице местоимений [20]; в кхмерском и, по-видимому, яванском [21] языках число различается только в 1-м лице [22].

В то же время, как указывают Гринберг, Дженкинс и Осгуд (правда, с оговоркой о слабой изученности данных языков), в ряде языков центральной Нигерии род различается в местоимениях только 2-го, но не 3-го (и, по-видимому, не 1-го ?) лица [23].

3.5. Рассмотрение отношений г л а г о л ь н ы х подсистем позволяет предложить, в частности, следующие универсалии.

Если имеется некоторое различение по признакам р о д а в глагольных формах 1 или 2-го лица, то такое различение имеется и в глагольных формах 3-го лица в данном языке.

Аналогичного утверждения нельзя сделать, однако, в отношении ч и с л а; ср. балтийские языки, где различия по числу нейтрализуются в 3-м лице глагола [24].

Если имеется некоторое в и д о-в р е м е н н о е противопоставление в формах неизъявительного наклонения, оно же представлено в данном языке и в формах изъявительного наклонения.

Если имеется некоторое противопоставление по признаку з а л о г а в формах неизъявительного наклонения, оно же представлено в данном языке и в формах изъявительного наклонения.

Если имеется некоторое противопоставление по признаку л и ц а или ч и с л а в формах неизъявительного наклонения, оно же представлено в данном языке и в формах изъявительного наклонения.

Вероятно, данные отношения возможно распространить и на другие противопоставления. В то же время более общая формулировка возможна лишь с определенными оговорками. Так, можно было бы свести предшествующие утверждения к одному более общему — именно, что если имеется про-

---

[19] См.: J. H. G r e e n b e r g, C h. O s g o o d, J. J e n k i n s, Memorandum concerning language universals, «Universals of language», Cambridge (Mass.), 1963, стр. 259.

[20] Тем самым тайский составляет исключение к универсалии Гринберга, гласящей, что если имеется различие по роду в местоимениях 1-го лица, то род различается и в местоимениях 2-го или 3-го лица. См.: J. H. G r e e n b e r g, Some universals of grammar..., стр. 76 (универсалия 44).

[21] Встречающееся в специальной литературе утверждение, что в яванских местоимениях вообще отсутствует категория числа, т. е. отсутствует (обязательное) противопоставление по числу, кажется, не подтверждается фактами языка.

[22] Ср. также более специальную подсистему притяжательных местоимений в финском языке, которые различают число в 1 и 2-м лицах, но не различают его в 3-м лице. Это можно сопоставить с фактами нейтрализации по числу в 3-м лице глагола, что характерно как для находящихся в ареальном контакте с финскими балтийских языков, так и для отдельных глаголов самих финских языков (ср. глагол *olema* «быть» в эстонском языке).

[23] J. H. G r e e n b e r g, C h. O s g o o d, J. J e n k i n s, указ. соч., стр. 259.

[24] С данными балтийских языков любопытно сопоставить более специальную подсистему эстонского императива, где различия по числу также нейтрализуются в 3-м лице (это при том, что в отношении других категорий подсистема 3-го лица императива предстает как более полная по сравнению с другими лицами; ср. противопоставления по виду и залогу, которые различаются только в 3-м лице императива в эстонском).

тивопоставление по некоторому грамматическому признаку (категории) в формах какого-то неизъявительного наклонения, то оно же представлено в данном языке и в формах изъявительного наклонения [25]. Этому общему утверждению могут противоречить факты некоторых индоарийских и дардских языков, где формы императива противопоставлены по степени вежливости, модальности и т. п., т. е. по таким категориям, которые не имеют грамматического выражения в формах изъявительного наклонения.

В то же время, если рассматривать данные формы как формы специальных наклонений (оптатива, когортатива и т. п.), эти языки не составят исключения к вышеприведенному общему утверждению. Формулирование универсальных закономерностей определяется здесь принципами лингвистического анализа (членением языкового материала) (см. об этом § 4).

Наконец, возможно, по-видимому, и утверждение о том, что всякое грамматическое противопоставление, имеющееся в формах пассивного залога, должно иметься и в формах активного залога. То же, очевидно, применимо и к другим залогам (каузативному и некаузативному и т. п.).

4. Подведем некоторые итоги типологического рассмотрения отношений грамматических подсистем в языке по признакам их плана содержания.

Сравнивая подсистемы друг с другом — на разных ступенях общности, — мы можем констатировать определенную доминацию одной системы в отношении другой, которая заключается в том, что все те противопоставления, которые имеются в одной (доминируемой) системе, имеются и в другой (доминирующей) [26]. Если имеются системы A и B, причем противопоставления, которые есть в A, есть и в B, но обратное не имеет места, можно называть A более п р о с т о й, а B — более с л о ж н о й системой [27].

В принципе можно констатировать общую тенденцию к определенной иерархии языковых подсистем в языке в плане их относительной сложности (доминации). Именно, можно предположить, что система местоимений имеет общую тенденцию быть относительно более сложной, чем система существительного; системы ед., мн., дв. и тройств. чисел имеют тенденцию быть соответственно одна проще другой; система ср. рода имеет тенденцию быть относительно проще, чем система несреднего рода, система непрямых падежей — чем система прямых падежей, система нетретьего лица — чем система третьего лица, и т. п. [28].

Данные отношения действительны на уровне общих принципов, по которым мы представляем язык (и, в частности, предполагаем те или иные универсалии, которые могут затем подтвердиться или не подтвердиться), т. е. на уровне м е т а о п и с а н и я, — но сами они не являются универсалиями. В самом деле, при рассмотрении конкретных языков убеждаемся, что отдельные языки могут представить случаи, противоречащие некоторым из указанных отношений. Таким образом, для того, чтобы вывести из этих отношений универсалии, необходимо сделать какие-то существенные ограничения. Так, можно говорить, что система существительного

[25] Ср.: Б. А. У с п е н с к и й, Некоторые гипотетические универсалии из области грамматики, «Конференция по проблемам изучения универсальных и ареальных свойств языков. Тезисы докладов», М., 1966, стр. 91.

[26] В этом смысле можно говорить и о м а р к и р о в а н н о с т и одних систем в отношении других, но понятие маркированности имеет более общий смысл, включая в себя только что сформулированный критерий, но не исчерпываясь им; ср.: J. H. G r e e n b e r g, Language universals, в кн. «Current trends in linguistics», III, The Hague — Paris, 1966. Эта работа (в несколько более развернутом виде) вышла также отдельным изданием: J. H. G r e e n b e r g, Language universals with particular reference to feature hierarchies, The Hague — Paris, 1966 («Janua Linguarum», Series minor, № LIX).

[27] Ср. более общие определения «простоты» и «сложности» системы в работе Б. А. У с п е н с к и й, Структурная типология языков, М., 1965, стр. 173—177.

[28] Ср. в этой связи; J. H. G r e e n b e r g, Language universals, где подобные общие отношения формулируются в терминах маркированности/немаркированности.

не более сложна, чем система местоимения, в отношении категории рода — но не категории падежа (ср. финские языки); система третьего лица не более сложна, чем системы нетретьего лица в отношении категории рода — но не категории числа (ср. балтийские) и т. д.

Иначе говоря, указанная иерархия имеет отношение не столько к самим языкам, сколько к процедуре их рационального представления — в том смысле, что если мы описываем неизвестный язык, нам целесообразно прежде всего предполагать в нем отношения последовательной иерархии.

Можно полагать вообще, что оптимальная процедура исследования языка (в частности, неизвестного языка) состоит в целесообразной и рациональной постановке вопросов — такой, чтобы наиболее коротким путем (через минимальное количество вопросов) достичь наиболее полной информации о данном языке (или об определенном его фрагменте). Иначе говоря, такая процедура представляет собой эвристическую процедуру последовательной постановки гипотез и их проверки, организованную таким образом, чтобы за минимальное число шагов достичь искомой информации. Процедуру исследования неизвестного языка тем самым можно сравнить с процедурой программированного обучения, когда на каждом этапе ответ на предыдущий вопрос определяет постановку следующего (или соответственно: подтверждение или опровержение предыдущей гипотезы определяет целесообразность следующей гипотезы [29]). При этом каждый раз при постановке очередного вопроса (гипотезы) естественно и целесообразно основываться на вышеприведенных отношениях (и вообще отношениях подобного рода), т. е. на каждом новом этапе исследования прежде всего предполагать отношения последовательной доминации. При этом в отдельных случаях наши предположения могут и не оправдаться; тем не менее, такую процедуру последовательной постановки гипотезы следует признать целесообразной, а сами отношения — нормальными для языка, поскольку в целом они соблюдаются в абсолютном большинстве языков. Можно сказать, что такие отношения целесообразно принять в соответствующем языке-эталоне [30]; в то же время случаи несоблюдения этих отношений в том или ином языке не менее важны для характеристики типологической специфики данного языка.

Следует отметить, что указанные отношения имеют определенное таксономическое значение, которое заключается в том, что в тех случаях, когда лингвист имеет свободу того или иного решения при анализе и описании конкретного языка, он нередко выбирает такое решение, т. е. такое распределение языкового материала, которое в наибольшей степени соответствует вышеприведенным общим отношениям.

Так, например, обращаясь к сформулированной в § 3.1 закономерности относительно того, что всякое падежное противопоставление у прилагательного имеется и у существительного, следует сказать, что данная закономерность не будет соблюдаться, если рассматривать наречие в тех языках, где оно регулярно образуется от прилагательного, как специальную падежную форму прилагательного. Можно предположить в то же время, что традиционная точка зрения (рассматривающая наречие в этих случаях как особую часть речи) в известной мере основывается на интуитивном осознании приведенной закономерности и стремлении производить анализ языка так, чтобы не нарушать данного соответствия.

С другой стороны, мы можем считать формы вежливости в повелительном наклонении формами специального наклонения (см. § 3.5) — исходя

[29] Заметим, что общая программа исследования и описания языка может мыслиться именно подобной учебнику программированного обучения.

[30] См.: Б. А. Успенский, Структурная типология языков.

из некоторого интуитивного представления о том, что система изъявительного наклонения должна доминировать над системой повелительного наклонения; можем, далее, выделять формы рода в имени в том случае, когда они выражаются не в самом имени, а в прилагательном или глаголе (см. § 3.1) — исходя из имплицитного представления о том, что имя должно доминировать над другими частями речи в отношении категории рода. Представление о иерархии языковых явлений выступает в этих случаях как таксономический критерий.

5. Выше отношения подсистем в языке характеризовались по признакам их плана содержания. Далее будут предложены некоторые результаты, относящиеся к сравнению подсистем по признакам плана выражения. Заметим, что признаки плана выражения в большинстве случаев трудно сопоставимы; поэтому особенное значение при подобном сравнении приобретают такие обобщенные признаки плана выражения, как нулевой элемент, синкретизм и омонимия флексий, принцип образования парадигмы и т. д.

Универсалии в этих случаях обычно сводятся к утверждению о том, что если в определенной системе имеется такое-то явление плана выражения, то ему соответствует то или иное значение, т. е. та или иная подсистема данной системы.

5.1. Так, в отношении нулевого элемента можно предложить следующие универсалии.

В системе повелительного наклонения: **если одна из форм повелительного наклонения совпадает с чистым (неоформленным) корнем (т. е., иначе говоря, оформлена нулевым образом), то в числе значений этой формы имеется значение 2-го лица ед. числа.**

В системе изъявительного наклонения: **если имеется нулевое выражение формы какого-то лица в изъявительном наклонении, то в числе значений, выражающихся таким образом (т. е. нулевым показателем), имеется значение 3-го лица или значение 1-го лица.**

Для абсолютного большинства языков, если имеется нулевой элемент в выражении лица (в изъявительном наклонении), в числе значений нулевого показателя имеется значение 3-го лица. Этому могут не соответствовать, однако, германские языки: если в немецком и голландском нулевой показатель имеет значение 1-го (а не 3-го) лица в определенной подсистеме — настоящего времени (но имеет значение как 1, так и 3-го лица в системе прошедшего времени),то в английском нулевой показатель оформляет 1 и 2-е лицо, тогда как 3-е лицо оформляется специальным показателем.

5.2. В отношении значения синкретизма форм можно предложить следующую универсалию (тесно связанную с вышеприведенной универсалией об относительной простоте системы среднего рода).

Если в языке имеется специальное различение по одушевленности или личности и имеет место регулярный синкретизм (неразличение каких-то форм), то выражение неодушевленного (неличного) связано с синкретизмом форм.

Ср. выражение неодушевленности или неличности в склонении целого ряда индоевропейских языков, причем характерно неразличение вин. и им. падежей у неодушевленных (неличных) имен — например, во всех славянских, цыганском, древне- и средневерхненемецком, армянском, тохарском; ср. также редуцированную парадигму склонения в ср. роде в самых разных языках, в частности отсутствие показателей мн. числа (всех или некоторых) [31]. Ср., наконец, неразличение числа в ср. роде в дравидских языках, в неодушевленном классе — в алгонкинских.

[31] Представляется недоразумением утверждение Гринберга о том, что нейтрализация числа в каком-то определенном роде — редкое явление в языках мира (см.: J. H. Greenberg, Some universals of grammar..., стр. 81).

Вообще, указанный синкретизм особенно часто проявляется именно в формах мн. числа. Ср. в этой связи регулярное отсутствие согласования по числу с именами ср. рода в различных языках: сочетание формы ед. числа глагола с формой мн. числа имени ср. рода в кетском, в старых индоевропейских языках (так в древнегреческом, в авестийском, в хеттском); сочетание формы прилагательного ед. числа с формой существительного мн. числа, обозначающего неличные объекты в классическом арабском языке; неразличение форм ед. и мн. чисел у глагола, согласующегося с классом неодушевленных имен или с классом неличных имен, в лакском.

э.3. Наконец, в плане исследования случаев, когда некоторое выражение с обязательностью предполагает некоторое содержание в языке, можно предложить универсалии, касающиеся значения редупликации.

Если в языке имеется редупликация (полная или частичная) как продуктивный грамматический способ (слово- или формообразования), то в числе значений, выражаемых способом редупликации, есть значение изменения количества или степени. (Возможным исключением здесь может явиться тибетский.) Заметим, что редупликация может выражать как увеличение, так и уменьшение количества или степени.

Ср., например, в индонезийском *orang* «человек», *orang-orang* «люди», *baik* «хороший», *baik-baik* «очень хороший», где способом редупликации выражается увеличение количества или усиление степени качества.

Ср., с другой стороны, в хауса *ja* «красный», *ja-ja* «красноватый», в индонезийском *sakit* «больной», *sakit-sakit* «хворый», где тот же способ выражает, напротив, ослабление степени качества [32].

При этом может быть предложена следующая закономерность. **Если способом редупликации может выражаться в языке уменьшение количества или степени, то имеются случаи в этом языке, когда редупликация выражает увеличение количества или степени.** (Иначе говоря, предполагается, что нет языка, где редупликация выражала бы исключительно уменьшение количества или степени [33].)

Значение уменьшения количества или степени, выражаемое способом редупликации, по крайней мере в ряде случаев может быть, по-видимому, связано с более общим значением подобия, похожести, т. е. значением наличия того или иного признака данного предмета или качества (так в хауса, индонезийском); однако имеющихся данных недостаточно пока, чтобы делать какие-либо обобщения универсального характера.

[32] В качестве любопытной параллели можно привести случаи, когда один и тот же словообразовательный аффикс может обозначать в языке как усиление, так и ослабление значения. Так, эстонский словообразовательный элемент *-kas*, присоединяясь к основе существительного, имеет усилительное значение (*vili* «плод», *viljakas* «урожайный»), но в случае присоединения к основе прилагательного тот же суффикс ослабляет значение признака (*punane* «красный», *punakas* «красноватый») (см. об этом, например; E. M u u k, M. F e d r e, Lühike eesti keelebpetus. II Tartu, 1933, стр. 24—25).

Точно так же и русский уменьшительный суффикс *-еньк-* может передавать не только меру малости, но и представление об усилении меры качества (*тяжелешенько*, *скорешенько*); см.: И. М а н д е л ь ш т а м, Об уменьшительных суффиксах в русском языке со стороны их значения, ЖМНП, ч. CCCXXXVIII, июль [№ 7—8], 1903 (при этом характерна противопоставленность в ударении слов с данным суффиксом при разных его значениях: ср. *мáленький — маленько*, *хорбшенький — хорошéнько*).

[33] Иначе можно было бы сказать, что среди значений, выражаемых редупликацией, значение уменьшения степени или качества — маркировано.

Любопытно, что обратное соотношение между данными значениями имеет место в системе словообразовательных элементов: здесь маркирована, напротив, увеличительность, т. е. если среди них имеются показатели увеличительности, то имеются и показатели уменьшительности (см.: J. H. G r e e n b e r g, Language universals, стр.82).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1968

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Г. А. КЛИМОВ

О ГИПОТЕЗЕ ВНУТРЕННЕГО РОДСТВА КАВКАЗСКИХ ЯЗЫКОВ

Среди кавказоведов, по-видимому, общепризнано, что исследование проблемы генетических взаимоотношений трех групп автохтонных кавказских языков — абхазско-адыгских, картвельских и нахско-дагестанских — составляет один из основных и наиболее интересных аспектов единства кавказского языкознания на современном этапе его развития. Несмотря на то, что интуитивное мнение об отдаленном генетическом родстве этих языков между собой было выдвинуто еще на раннем этапе их изучения, прогресс этой гипотезы до последнего времени остается очень скромным, вследствие чего совокупность кавказских языков иногда характеризуется в терминах структурно-типологического понятия языкового союза [1]. Хотя в течение очень длительного периода самое знакомство с фактическим материалом этих языков оставалось весьма фрагментарным, основную и по своему существу субъективную причину сложившейся к настоящему времени в этом отношении ситуации следует искать в серьезном отставании методической стороны исследования, сопутствовавшем кавказскому языкознанию на протяжении большей части его развития. Об этом свидетельствует уже то, что длительное время некоторые исследователи ожидали обоснования гипотезы внутреннего родства кавказских языков от бездоказательных в генетическом плане типологических (в частности, от историко-типологических) исследований; другие кавказоведы в этой связи возлагали надежды на дальнейшее накопление материальных соположений, объем которых, как известно, также не зависит сколько-нибудь необходимым образом от характера генетических взаимоотношений языков. Наиболее широкое направление соответствующих работ, которое в прошлом представлено трудами Н. Я. Марра, П. Чарая и И. А. Джавахишвили (оно продолжает в определенной мере давать о себе знать и в настоящее время), предполагало разрешить поставленную проблему накоплением типологических и материальных параллелизмов между кавказскими языками [2]. Даже Н. С. Трубецкой, впрочем только в период

[1] См., например, работы В. Полака, В. Пизани, Э. Локера и многих других. Возможность исторической конвергенции групп кавказских языков в рамках языкового союза допускают такие кавказоведы, как А. Дирр, Г. Деетерс, А. Г. Шанидзе, Г. В. Церетели, Т. В. Гамкрелидзе. По некоторым признакам картвельские языки иногда включаются в иные языковые союзы (Э. А. Макаев, Передвижение согласных в армянском языке, ВЯ, 1961, 6, стр. 26).

[2] См.: П. Чарая, Об отношении абхазского языка к яфетическим, СПб., 1912, особенно стр. 5—8; Н. Марр, К вопросу о положении абхазского языка среди яфетических, СПб., 1912; И. А. Джавахишвили, Первоначальный строй и родство грузинского и кавказских языков. Введение в историю грузинского народа. II, Тбилиси, 1937 (на груз. яз.), особенно стр. 91 и 97—104. По словам И. А. Джавахишвили, имевшего в виду своих предшественников в разработке вопроса, «на современном этапе изучения кавказских языков мысль об их тождестве (генетическом.— *Г. К.*) не может быть выдвинута даже в виде рабочей гипотезы» (указ. соч., стр. 91).

своего увлечения идеей структурного определения языковых семей, высказался в пользу родства абхазско-адыгских и нахско-дагестанских языков на основании всего таких трех общих для них структурных параллелизмов, какими, по его мнению, являются а) богатство согласными фонемами, б) различение активного и пассивного падежей, в) историческая моноконсонантность глагольного корня, а также целого ряда общих элементов в словарном фонде [3]. Естественно, что в этих условиях обоснование гипотезы внутреннего родства кавказских языков и по сей день остается актуальной задачей кавказоведения.

Наиболее существенный шаг в методическом прогрессе рассматриваемой гипотезы оказался связанным с постепенным распространением среди кавказоведов убеждения в том, что типологические штудии, даже будучи дополнены материальными соположениями, в лучшем случае способны лишь определить некоторый ориентир [4] для последующего сравнительно-генетического исследования [5] и что генетическое доказательство должно быть связано исключительно со сравнительно-историческим исследованием и в первую очередь — с установлением в исконном материале системы регулярных звукосоответствий [6].

Как уже неоднократно подчеркивалось в специальной литературе, сравнительно-генетическое изучение кавказских языков сопряжено с серьезными трудностями объективного порядка, заставляющими настаивать на максимальной строгости процедуры соответствующего доказательства. Обращают на себя внимание не только существующие между этими языками значительные расхождения структурно-типологического порядка [7], но и (если, конечно, оставить в стороне многочисленные совместные заимствования, а также весьма значительную в кавказских языках категорию звукоподражательных и звукосимволических слов) резко очерченная материальная специфика их отдельных групп. Так, согласно подсчетам Г. Деетерса, из ста словарных (точнее — корневых) сопоставлений, предложенных в свое время Н. С. Трубецким с целью иллюстрации родства обеих севернокавказских групп, ныне едва ли половина сохраняет свою силу; лишь около двадцати общекавказских лексических изоглосс способны претендовать на исконный характер [8].

---

[3] См.: N. Troubetzkoy, Langues caucasiques septentrionales, «Les langues du monde», Paris, 1924, стр. 327, 328.

[4] Одним из первых кавказоведов, признавших недостаточность для генетического доказательства наличия структурных и словарных параллелизмов, был Р. Лафон (см.: R. Lafon, Quelques rapprochements entre les langues caucasiques septentrionales et les langues kartvèles, BSLP, 29, 3 (№ 88), 1929, стр. 141).

[5] Ср., например, подобную роль ранних классификаций Э. Сепира и Дж. Гринберга для изучения генетических взаимоотношений соответственно североамериканских и африканских языков.

[6] Подобно тому, как именно регулярными звукосоответствиями демонстрируется генетическая целостность каждой из отдельных групп кавказских языков; см., например; Г. И. Мачавариани, Общекартвельская консонантная система, Тбилиси, 1965 (на груз. яз.); Е. А. Бокарев, Введение в сравнительно-историческое изучение дагестанских языков, Махачкала, 1961; A. Sommerfelt, Études comparatives sur le caucasique du Nord-Est, NTS, VII, 1934; IX, 1938; XIV, 1947; К. В. Ломтатидзе, К генезису одного ряда троечных спирантов в адыгских языках, «Доклады и сообщения [Ин-та языкознания АН СССР]», IV, М., 1953, и мн. др.

[7] См., например: R. Bleichsteiner, Die kaukasische Sprachgruppe, «Aptropos», XXXII,1—2, 1937, 4; G. Deeters, Die Stellung der Kharthwelsprachen unter den kaukasischen Sprachen, «Bedi Karthlisa», 23 (N. S.), 1957.

[8] См.: N. Trubetzkoy, Nordkaukasische Wortgleichungen, «Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes», XXXVII, 1—2, Wien, 1930, стр.79—89; ср.: G. Deeters, [рец. на кн.:] K. Bouda, Baskisch-kaukasische Etymologien, «Deutsche Literaturzeitung», Jg. 73, 4, 1952, стлб. 209; см. также: A. H. Kuipers, Phoneme and morpheme in Kabardian (Eastern adyghe), 's-Gravenhage, 1960, стр. 109—112. Скептическую оценку попытки Н. С. Трубецкого дает В. Пизани, см.: V. Pisani, Sulla «Introduzio-

Вследствие того, что в кавказском языкознании ныне общепризнан так называемый «моновокалический» тип общеабхазскоадыгской фонологической системы, от которого очень недалеко ушли и ее современные продолжения, сравнение материала приобретает здесь по преимуществу консонантный характер: учет вокализма остается возможным лишь при сопоставлении картвельских фактов с нахско-дагестанскими. Другая трудность, делающая возможные сопоставления менее надежными и замеченная еще А. Мейе, обусловлена малоконсонантной структурой не только аффиксов, но и многих основ в современных кавказских языках[9]. Наконец, ввиду относительно ограниченного развития словообразовательной аффиксации в обеих севернокавказских группах — абхазско-адыгской и нахско-дагестанской — лексическое сравнение носит здесь почти исключительно корневой характер, соотносясь таким образом с дальней этимологией со всеми присущими ей слабыми сторонами. Не благоприятствует подобным исследованиям и то, что за исключением грузинского языка, засвидетельствованного письменными памятниками начиная с V в. н. э. (и возможным исключением удинского, фиксацию которого обычно усматривают в фрагментах агванского письма из Мингечаура), кавказские языки не располагают сколько-нибудь древней традицией письменной литературы.

Вследствие существенных расхождений между исторически засвидетельствованными представителями отдельных групп кавказских языков их непосредственное сопоставление оказывается очень малоэффективным. Так, выполненные на базе методики М. Сводеша опыты лексико-статистического анализа обнаружили весьма низкий уровень процента схождений в так называемом «основном словаре» (basic vocabulary) между отдельными представителями групп. Процент схождений между грузинским и адыгейским языками составляет от 5,14 до 7,52, между грузинским и аварским — от 5,60 до 3,22 и между адыгейским и аварским — от 9,76 до 12,60 [10]. Не случайно Ж. Дюмезиль, считающий генетическое родство между картвельской группой и обеими севернокавказскими вероятным, но не доказанным, обращает при этом внимание на большие различия в их словаре [11]. Не приходится удивляться тому, что вследствие очень низкого статистического уровня подкрепления иллюстративными примерами оказались малорезультативными и предпринятые в нескольких случаях попытки выявления фонетических корреспонденций между этими языками [12] (кавказоведам до сих пор, например, не удалось обнаружить ни одной фонетической закономерности, сравнимой по своей значимости хотя бы с той ролью, которую играет в алтайской гипотезе закон Рамстедта — Пеллио). Малочисленность непосредственно сопоставляющихся корневых морфем привела Ж. Дюмезиля еще в 30-х годах к мысли о целесообразности

---

ne allo studio della lingue caucasiche» di Adolfo Dirr, в его сб. «Linguistica generale e indoeuropea», Milano, 1947, стр. 214; Х. Фугт указывает, что общекавказские лексические параллелизмы «могут быть пересчитаны на пальцах» (см.: H. V o g t, Le basque et les langues caucasiques, BSLP, 51, 1, 1955, стр. 134).

[9] См.: A. M [e i l l e t], [рец. на кн.:] A. Dirr, Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen, BSLP, 29, 2, 1929, стр. 243.

[10] См.: A. T o v a r, El metodo lexico-estadistico y su aplicacion a las relaciones del vascuence, San Sebastiano, 1961, стр. 13.

[11] G. D u m é z i l, Langues caucasiennes, «Les langues du Monde», Paris, 1952, стр. 228.

[12] См.: R. L a f o n, указ.соч.; G. D u m é z i l, Introduction à la grammaire comparée des langues caucasiennes du Nord, Paris, 1933, стр. 46—48; Т. Е. Г у д а в а, К вопросу о генезисе латерального звука *t'* в языках аварско-андийско-дидойской группы и его фонетическом соответствии в картвельских языках, «Иберийско-кавказское языкознание», VI, Тбилиси, 1954.

поисков межгрупповых звукосоответствий только в более стабильном, по его мнению, материале аффиксальных морфем [13]. Сложившаяся в определенный период ситуация, по-видимому, внушала отдельным кавказоведам мысль об отсутствии в кавказских языках регулярных звуковых соотношений и даже об экзотичности строя этих языков, к которым будто бы не применимы некоторые классические процедуры компаративистики (например, универсальный алгоритм определения родства), выработанные до этого времени на материале других языковых групп.

Между тем единственный методически выдержанный путь соответствующего доказательства был достаточно четко сформулирован еще в работах таких выдающихся компаративистов прошлого, как А. Мейе и Н. С. Трубецкой, подчеркнувших, что обоснование рассматриваемой гипотезы возможно только через построение сравнительно-исторических грамматик отдельных групп кавказских языков [14] (ибо предлагающиеся в конкретных работах формулы звукосоответствий будут тем более убедительными, чем более развитому состоянию внутригрупповых сравнительных грамматик они будут соответствовать). Нетрудно видеть, однако, что состояние разработки сравнительной грамматики нахско-дагестанских языков, а особенно — в силу ряда обстоятельств как объективного, так и субъективного порядка — абхазско-адыгских, не только резко отстает от уровня, достигнутого сравнительной грамматикой картвельских языков [15], но и вообще не очень далеко ушло от начальной стадии.

Из вышеизложенного ясно, что в пределах каждой из групп кавказских языков предстоит выполнить глубокие «внутренние» реконструкции с тем, чтобы перейти к сопоставлению их материала уже на уровне соответствующих праязыков, стоящих во всяком случае в хронологическом плане значительно ближе друг к другу, чем их современные представители. Исследовательская практика показывает, что именно в итоге подобных реконструкций становится возможным выдвижение таких соблазнительных с точки зрения установления межгрупповых звукосоответствий соположений, какими являются, например: картв. **mz̮₁e-* «солнце» ~ абх.-адыг. **m(a)za-* «луна» (это малоудовлетворительное в семантическом отношении сближение допустимо при условии, если обе праформы интерпретируются как исторические отглагольные атрибутивы со словообразовательным префиксом типа **mV-*), картв. **pxa-* или **pqa-* «остов змеи, ость злака» ~ абх.-адыг. **(pq(a)-* «остов, скелет», картв. **tqu-* «два» ~ абх.-адыг. **tqʷ(a)-* «два», картв. **c₁abl-* «черешня» ~ нах.-даг. **c₁ubul-* «виноград» и т. п.

Для иллюстрации сложной ситуации, возникающей при попытках межгруппового сравнения материала даже на уровне соответствующих праязыков, целесообразно привести краткий анализ нижеследующих наиболее перспективных, на наш взгляд, общекавказских соположений (см. стр. 21).

Помимо общей оговорки о некоторой условности приводимых здесь и алее реконструкций абхазско-адыгских и нахско-дагестанских форм, предложенная таблица нуждается в нижеследующем конкретном комментарии

[13] G. D u m é z i l, Morphologie comparée et phonétique comparée. A propos des langues caucasiennes du nord, BSLP, 38, 2 (№ 113), 1937.

[14] Например: N. T r o u b e t z k o y, Les consonnes laterales des langues caucasiques septentrionales, BSLP, 23, 3, 1922, стр. 184—185. См. также: R. L a f o n, указ. соч., стр. 152; H. V o g t, La parenté des langues caucasiques, NTS, XII, 1942, стр. 247; Е. А. Б о к а р е в, Задачи сравнительно-исторического изучения кавказских языков, ВЯ, 1954, 3, стр. 43.

[15] Встречающееся в кавказоведческой литературе мнение о том, что сравнительной грамматики картвельских языков до сих пор не существует, основано на смешении понятия соответствующей научной дисциплины и публикации под аналогичным названием.

Абхазско-адыгский	Картвельский	Нахско-дагестанский
1. * $g^w(a)$- «сердце»	* $g^w l$- «сердце»	* $r/\delta a\dot{k}w$- «сердце»
2. * $ps(a)$ «душа»	* $s_1 u\dot{l}$- «душа»	* $s_\gamma wa(n)$- «душа; запах»
3. * $\underline{t}a\gamma^w$- «локоть»	* $daqw$- «локоть»	* $r/\delta alw$- «локоть»
4. * $cc(a)$- «зуб»	* $ca(l)_4$ «штука»	* cal- «зуб»
5. * $\dot{t}q^w(a)$- «два»	* $\dot{t}qu$- «два»	* $\dot{t}qwa$- «двадцать»
6. * $x(a)$- «три»	* sam- «три»	* $l'ab$- «три»
7. * $tx^w(a)$- «пять»	* $xu(s_1)t$- «пять»	* xw- «пять»
8. * $h^w(a)$- «собака»	* $xwad$- «самец» (собаки и некоторых других животных)	* $xwar$- «собака»
9. * $cc\partial\gamma^w(a)$- «мышь»	* $ciqw$- «белка»	* $ci\dot{t}\dot{t}''u$- «куница»
10. * $q^w(a)$- «свинья»	* γor- «свинья»	* $qwar$- «свинья»
11. * $m(a)za$- «луна»	* $\dot{m}z_1e$- «солнце»	* $\delta a\check{z}$- «луна»
12. * $\check{z}a\check{z}(\partial)$- «шило»	* $\check{z}e\check{z}(w)$- «колючка; шип»	* $\check{z}a\check{z}a$- «колючка; шип»
13. * $c^w(a)$- «воск»	* c_1wil- «воск»	* $c_\gamma ir$- «воск»
14. * $\check{\jmath}\widetilde{\jmath}$- «соль»	* $\check{z}_1\dot{m}$- «соль»	* $\check{z}am$- «соль»
15. * $\gamma^w(a)$-«сухой; желтый»	* $\dot{q}w$- «желтый»	* qur- «сухой»
16. * $px(a)$- «теплый»	* px- «теплый»	* px- «теплый»
17. * $\check{c}^w$- «жечь»	* $\dot{c}_1w$- «жечь; болеть»	* $\dot{c}_\gamma w$- «болеть»
18. * $\dot{z}$- «цедить»	* $\check{z}_1$-«доить»	* $\check{z}w$- «доить»
19. * ta-s- «сеять»	* te-s- «сеять»	* ta-s- «бросать»
20. * $m(a)$- «тот; он»	* ma- «тот; он»	* ma- «тот; он»
21. * ma запретительная частица	* ma запретительная частица	* ma запретительная частица

(дальнейшая нумерация соотнесена с порядковыми номерами самих сопоставлений).

1. Привлечение сюда нах.-даг. *$ra\dot{k}w$- (*$\delta a\dot{k}w$-) «сердце», связанное еще с именем П. К. Услара, проблематично ввиду недоказанности в нем исторически префиксального характера начального *ra-* (префиксы грамматического класса характеризовали, по-видимому, существительные только отглагольного происхождения) [16].

2. Нахско-дагестанский архетип строится лишь на основе показаний нахской и аварско-андийско-цезской подгрупп. Согласно Н. Я. Марру, абх.-адыг. *$ps(a)$- в свою очередь восходит к *$swə$- [17].

3. Нахско-дагестанская праформа, в которой $\underline{l}$ обозначает звонкий (так называемый «седьмой») латеральный согласный, опирается только на факты нахской и аварско-андийско-цезской подгрупп: ср. чеч.-ингуш. *$d\widehat{uol}$-: dal-*, авар. *$ru\dot{t}\dot{t}''$ - «локоть». Возможность привлечения сюда нах.-даг. *$da\dot{t}''$ - (*$na\dot{t}''$-) «локоть (мера длины)» более сомнительна.

4—5. По мнению Г. Деетерса, обе картвельские формы могут быть обязаны воздействию древнего абхазско-адыгского субстрата [18].

6. Согласно новому взгляду Р. Лафона, к сравнению может быть привлечено не нах.-даг. *$l'ab$- «три», а только табас. *sim- в составе *sim-$i\dot{c}u$ «тридцать» [19].

---

[16] См., например: Б. Б. Талибов, К вопросу о структуре именных и глагольных основ в лезгинских языках, «Тезисы докладов на научной сессии по сравнительно-историческому изучению иберийско-кавказских языков Северного Кавказа (14—17 июня 1965)», Махачкала, 1965, стр. 48.

[17] См.: Н. Марр, указ. соч., стр. 6.

[18] Ср.: G. Deeters, Die kaukasische Sprachen, «Handbuch der Orientalistik», 1. Abt., VII, Leiden — Köln, 1963, стр. 41.

[19] См.: R. Lafon, Quelques rapprochements entre les langues caucasiques du Nord et les langues kartvèles, в кн.: «Études basques et caucasiques», Salamanca, 1952, стр. 64.

8. Абхазско-адыгская праформа реконструируется на основании соображений Г. Деетерса и Г. В. Рогава [20].

9. Нахско-дагестанский архетип основан лишь на свидетельстве аварского *cit̡'u*, *cat̡'u* «куница» (кистинск. *ciqo*, удин. *ciq* и цахур. *ciqij* «белка» — грузинизмы). Исключительно на грузинском *ciqw-* «белка» базируется и картвельская праформа. Важно и то, что абх.-адыг. **ccəγʷ(a)* может рассматриваться как сложение «зубом + грызущий» [21].

10. Реконструкция нахско-дагестанского архетипа опирается лишь на нахские факты (имеет ли сюда отношение рутул. *xwar-* «кабан»?).

11. Привлечение сюда нах.-даг. **ƀaʒ-* значительно более проблематично не только ввиду начального согласного [22], но и вследствие того, что в нахско-дагестанских языках не прослеживается словообразовательный префикс **m-*.

13. Нах.-даг. **c̣ir* «воск» пока свидетельствуется исключительно фактами аварско-андийско-цезских языков.

15. Картв. **qw(i)* «желтый» предположительно вычленяется из картв. *qwiʒ*$_1$- «печень» и груз. *qwit-el-* «желтый».

16. Архетип нахско-дагестанской группы строится на основе фактов только нахских и аварско-андийско-цезских языков. Картв. **px-* усматривается в картв. **me-px-e* «ясная (о погоде)» и груз. *za-pxul-*, сван. *lu-pxw* «лето» [23].

17. Абх.-адыг. **c̣ʷ (a)-* гипотетически вычленяется из адыг. **mac̣ʷ a-* «огонь».

18. Картв. **ʒ*$_1$- может быть усмотрено в картвельском названии молока; ср. сван. *lə-ǯ-e*, которое допускает трактовку его в качестве причастия прошедшего времени.

19. Привлечение картвельской формы возможно лишь при условии, если начальный слог *te-* в ней исторически был префиксом [24]. Не исключено, что картв. **tes-* является древним культурным заимствованием из абхазско-адыгского источника. Весьма проблематично отношение сюда нахско-дагестанской формы, опирающейся к тому же только на факты нахских языков.

20—21. Поскольку аналогичные формы встречаются в самых различных языковых семьях, ценность этих соположений относительна.

Уже самый поверхностный анализ рассмотренного здесь материала показывает, что в нем особенно неудовлетворительно представлены глагольные корни, а привлечение нахско-дагестанского материала относительно более проблематично; последнее обстоятельство обусловлено как узкой ареальной соотнесенностью фактов, на которой обычно базируется реконструкция нахско-дагестанских лексем, так и большей удаленностью общего звукотипа реконструкций.

---

[20] См.: G. D e e t e r s, Der abchasische Sprachbau. «Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen». Philol.-hist. Kl., 111, № 2. 1931, стр. 290: Г. В. Р о г а в а, З. И. К е р а ш е в а, Грамматика адыгейского языка, Краснодар — Майкоп, 1966, стр. 42.

[21] См.: Т. Е. Г у д а в а, указ. соч., стр. 58; K. B o u d a, Baskisch-kaukasische Etymologien, Heidelberg, 1949, стр. 51.

[22] Реконструкция принадлежит Н. С. Трубецкому, см. N. T r o u b e t z k o y, Notes sur les désinences du verbe dans les langues tchétchénolesghiennes (caucasiques-orientales), BSLP, 29, 3, 1929, стр. 165, примеч. 2.

[23] Ср.: П. Ч а р а я, указ. соч., стр. 35—37; А. С. Ч и к о б а в а, Чанско-мегрельско-грузинский сравнительный словарь, Тбилиси, 1938, стр. 188—189 (на груз. яз.); Э. А. Л о м т а д з е, Некоторые общие корневые элементы в иберийско-кавказских языках, «Иберийско-кавказское языкознание», VII, Тбилиси, 1955, стр. 417—421 (на груз. яз.).

[24] См., например: Г. В. Р о г а в а, К вопросу о строении грузинской основы *tes-* (*tesavs* «сеет»), «Иберийско-кавказское языкознание», VI, стр. 51—53 (на груз. яз.)

В настоящее время гипотеза внутреннего родства кавказских языков вступает в свою наиболее ответственную фазу — фазу поисков межгрупповых звукосоответствий. Насколько зачаточным является состояние, в котором она находится, видно уже из того, что немногочисленными исследователями, занимавшимися поисками таких соответствий, до сих пор не была отмечена даже наиболее выдержанная (по сравнению с другими как будто намечающимися соответствиями) межгрупповая фонетическая корреспонденция, а именно соответствие картв. *l (/$ɬ$/) исхода именной основы ~ абх.-адыг. *0 (ноль звука), иллюстрирующаяся примерно пятнадцатью словарными соположениями [25] (это соответствие интересно в связи с известной точкой зрения ряда кавказоведов об историческом наличии суффиксов-детерминантов в морфологической структуре древнейших абхазско-адыгских основ). Сейчас трудно говорить о слабо подкрепленных статистически, но тем не менее — в силу своей системной соотнесенности — регулярных межгрупповых звукосоответствиях; не исключено, что в будущем на подобную роль смогут претендовать намечающиеся соответствия общекартвельских спирантов и аффрикат, по-видимому, свистяще-шипящего ряда (*s_1, *$ç_1$ и др.) нахско-дагестанским «усиленным» спирантам и аффрикатам (s_Y, $ç_Y$ и др.).

Затруднения в установлении межгрупповых фонетических соответствий обусловлены прежде всего неудовлетворительным уровнем этимологической разработки отдельных групп кавказских языков, особенно их нахско-дагестанской группы, вследствие чего их материальный состав лишь в очень ограниченной мере сведен к праязыковым знаменателям. Думается поэтому, что плодотворное развитие рассматриваемой гипотезы возможно только при условии активизации внутригрупповых этимологических исследований. Целесообразно отметить, что гипотеза внутреннего родства кавказских языков существенно отстает в последнем отношении от некоторых других построений, имеющих дело со сравнением языков, отдаленное родство которых гипотетично. Так, например, в рамках алтайской гипотезы уже выявлен целый ряд межгрупповых соответствий, и задача состоит в том, чтобы убедительно показать, что они охватывают не только контактно сложившийся фонд «культурного» словаря, но и исконный материал [26]. Так называемая «ностратическая» гипотеза, предполагающая наличие отдаленного генетического родства между несколькими большими семьями языков Старого света, и лишь совсем недавно вовлекшая в орбиту своего исследования картвельский материал, хотя и не достигла сколько-нибудь очевидного успеха, уже привела некоторую совокупность формул межгрупповых звукосоответствий на относительно большем материале (см. работы В. М. Иллича-Свитича, Г. Б. Джаукяна, А. Б. Долгопольского), позволив тем самым отдельным картвелистам более оптимистично смотреть на возможность генетических связей между картвельскими и во всяком случае индоевропейскими языками.

Если отвлечься от некоторых черт картвельской языковой структуры, по-видимому, обязанных вхождению общекартвельского языка-основы на позднем этапе его развития в единый языковой союз с индоевропейским [27], то картвельский структурный тип может быть охарактеризован

---

[25] См.: Г. А. Климов, Абхазскоадыгско-картвельские лексические параллелизмы, «Этимология. 1967» (в печати). Там же приводится семь примеров на соответствие «идентичности» *m* в обеих языковых группах. Ср. словарные соположения на стр. 25.

[26] Ср.: А. М. Щербак, О характере лексических взаимосвязей тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, ВЯ, 1966, 3.

[27] См.: Г. И. Мачавариани, К вопросу об индоевропейско-картвельских (южнокавказских) типологических параллелях, М., 1964 («VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук» [Доклады]); Т. В. Гамкрели-

в своей основе как промежуточный между абхазско-адыгским, с одной стороны, и нахско-дагестанским, с другой. Через картвельскую языковую территорию с запада на восток прослеживается, например, постепенное нарастание черт флективности, уменьшение удельного веса синтетизма, а также префиксального строя, усложнение именного склонения и упрощение глагольного спряжения. Думается, что такая характеристика способна придать ведущемуся сравнительно-генетическому исследованию некоторый ориентир, направив его в русло так называемого «цепного» доказательства родства между отдельными группами кавказских языков [28].

В свете целой серии работ, опубликованных за два — три последних десятилетия грузинскими кавказоведами и ожидающих своего обобщения, с достаточной определенностью выяснилось, что, как правило, наиболее интересные структурные и материальные параллелизмы принадлежат картвельским и абхазско-адыгским языкам (не случаен, конечно, и факт, что именно абхазский язык оказался объектом настойчивого сопоставления с картвельскими еще у таких пионеров кавказоведения как Г. Розен, П. Чарая и Н. Я. Марр). Так, например, между обеими группами установлены довольно далеко идущие сходства в древней структуре глагола (в этом отношении показательны категориальный состав и аранжировка его грамматических морфем) и некоторых производных от него имен [29], отмечен весьма значительный удельный вес префиксального строя в словоизменении и словообразовании[30], нередко предполагается бóльшая близость древнейшей общекартвельской фонологической структуры (состав и пути преобразования вокализма, функционирование аблаута, наличие так называемых «гармоничных» комплексов согласных, рядов свистяще-шипящих и, возможно, лабиализованных согласных и т. п.) к абхазско-адыгской, чем к нахско-дагестанской [31]. Особенное внимание обращает на себя тот факт, что некоторые структурные черты, постулируемые с большей или меньшей вероятностью для отдаленного прошлого картвельского языкового типа, находят свои аналогии в современном состоянии абхазско-адыгских языков.

Несомненно, более эффектны в силу своей соотнесенности с фундаментальными ингредиентами словаря и материальные изоглоссы, объединяющие картвельские и абхазско-адыгские языки; в настоящее время выявлено около сорока таких лексических параллелизмов, заслуживающих внимания в свете рассматриваемой здесь гипотезы. Последнее обстоятельство тем примечательнее, что значительно гетерогенен материал самих абхазско-адыгских языков, между двумя основными подгруппами которых — абхазско-абазинской и адыгской — до сих пор удалось провести

дзе, Г. И. Мачавариани, Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Типология общекартвельской структуры, Тбилиси, 1965, стр. 365—379.

[28] См.: Г. А. Климов, К типологической характеристике картвельских языков (в сопоставлении с другими иберийско-кавказскими языками), М., 1960 («XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР»).

[29] См., например: П. Чарая, указ. соч., стр. 63—70; Н. Марр, указ. соч., стр. 24—27; А. Шанидзе, Показатель лица у склоняемых имен в картвельских языках, «Труды ТГУ», I, 1936 (на груз. яз.); И. А. Джавахишвили, указ. соч., стр. 586—591; К. Ломтатидзе, О категории «версия» в абхазском глаголе, «Труды ТГУ», XXX—XXXI, 1947 (на груз. яз.); Г. В. Рогава, К вопросу об истории полиперсонализма в иберийско-кавказских языках, «Иберийско-кавказское языкознание», XIII, Тбилиси, 1962 (на груз. яз.) и мн. др.

[30] См.: А. С. Чикобава, Иберийско-кавказское языкознание, его общелингвистические установки и основные достижения, ИАН ОЛЯ, 1958, 2, стр. 126—127 и др.

[31] См.: С. Жгенти, К вопросу о лабиализованных согласных в картвельских языках, «Известия ИЯИМК [АН ГрузССР]», X, Тбилиси, 1941 (на груз. яз.); Г. И. Мачавариани, К типологической характеристике общекартвельского языка-основы, ВЯ, 1966, 1, стр. 8 и др.

Картвельский	Абхазско-адыгский
* $g^w\underset{\cdot}{l}$- сердце»	* $g^w(a)$- «сердце»
* *qel-* «рука»	* *q (a)-* «рука»
* *pxa (* pqa-)* «остов»	* *pq (a)-* «остов; скелет»
* $(\check{z}_1)\check{z}_1$*wal-* «кость»	* $\check{z}^w(a)$ «ребро; бок»
* *qorq-* «горло»	* *qərq-* «горло»
* *muql-* «колено»	* *maq (a)-* «колено»
* *baqw-* «бедро»	* baq^w- «бедро»
* *qaml-* «шкура»	* *txam-* «шкура»
* *dγe-* ° «день»	* *tərγ (a)-* «солнце»
* ms_1xwil- «крупный»	* mcx^w *(a)-* «большой»
* *ttxel-* «редкий; жидкий»	*tx (a)-* «редкий; жидкий»
* $\check{z}_1wel$- «старый»	* $\hat{z}^w$- «старый»

лишь около двухсот пятидесяти достоверных лексических параллелей. Выше приводятся некоторые картвельско-абхазскоадыгские соположения.

В словообразовательной системе наиболее яркий параллелизм картвельских и абхазско-адыгских языков составляет общий префикс *$m(V)$-, образующий имена с широкой атрибутивной семантикой [32]. Несколько менее перспективными представляются попытки сближения абхазско-адыгского префикса каузатива *r- (ср. фонетически закономерно соотносящиеся абх., абаз. r- и убых. d-) с анлаутным элементом r некоторых картвельских глагольных корней [33].

Конечно, можно указать и на некоторые специфические материальные встречи картвельских и нахско-дагестанских языков. Ср., например, картв. *$ç_1abl$- «черешня» ~ нах.-даг. *$ç_\gamma ubul$- «виноград», картв. *$noqo$- «низменное место» ~ нах.-даг. *$noqqwa$- «земля», картв. *qin- «холод» ~ нах.-даг. *$qqin$-. Можно упомянуть и такие сходства в грамматических морфемах, как общекартвельские окончания эргативно-обстоятельственного падежа *$-d$, дательного — *$-s$ и родительного — *$-is_1$ при нахско-дагестанских показателях эргатива *$-d$, датива — *$-s$ и генитива и так называемых «полных» форм прилагательных — *$-(i)s_\gamma$ [34]. Обнаружено и некоторое число лексических параллелей в абхазско-адыгских и нахско-дагестанских языках; ср. абх.-адыг, *$ç^w$ (a)- «звезда» ~ нах.-даг. *$ç_\gamma wa$-, абх.-адыг. *x^w (a)- «жила» ~ нах.-даг.* xwa-, абх.-адыг. *$laγa$- «высокий» ~ нах.-даг. *$laqe$-. Однако в целом в обоих последних случаях число удовлетворительных сопоставлений, по-видимому, меньше; к тому же они охватывают преимущественно более периферийные в семантическом отношении единицы. Если принять во внимание изложенные выше соображения, то распространенное в кавказском языкознании (а особенно за его пределами) мнение о большей структурной и материальной близости обеих северокавказских групп в лучшем случае следует признать спорным. В свете изложенных фактов, представляется, что по крайней мере в настоящее время более перспективным направлением разработки гипотезы внутреннего родства кавказских языков является сравнительно-генетическое исследование картвельской и абхазско-адыгской групп.

[32] См.: Н. Я. Марр, указ. соч., стр. 31; Н. Ф. Яковлев, Грамматика литературного кабардино-черкесского языка, М.— Л., 1948, стр. 273.

[33] См.: G. Dumézil, Recherches comparatives sur le verbe caucasien, «Bibliothèque de l'Institut Français de Léningrad», XV, Paris, 1938, стр. 88; см. также: В. Топурия, Заметки по словообразованию в картвельских языках. II, «Известия ИЯИМК [Груз. ФАН СССР]», V—VI, Тбилиси, 1940, стр. 539—540 (на груз. яз.).

[34] См.: К. Дондуа, Морфологическое выражение активного (эргативного) строя в адыгейской и картвельской группах кавказских языков, ИАН ОЛЯ, 1948, 3, стр. 219; Г. А. Климов, Склонение в картвельских языках в сравнительно-историческом аспекте, М., 1962, стр. 68.

Ни в коей мере не пытаясь предвосхитить результаты ведущихся исследований, трудно отказаться от впечатления, что общественно-исторические условия кавказской действительности, особенно на более ранних этапах, должны были скорее стимулировать глубокие языковые расхождения, чем то или иное конвергентное развитие. Едва ли, однако, есть основания сколько-нибудь переоценивать имеющиеся перспективы соответствующего доказательства, предполагающего в лучшем случае сравнение отдаленно родственных языковых групп. Так, судя по некоторым соображениям сугубо предварительного характера, уже к III тысячелетию до н. э. можно отнести существование трех четким образом взаимно отграниченных праязыковых единств: абхазско-адыгского, картвельского и нахско-дагестанского [35]. Крайняя малочисленность соположений, представляющих интерес в свете рассматриваемой здесь гипотезы, приводит к мысли, что a priori допустимое внутреннее родство кавказских языков может восходить к настолько отдаленному периоду, от которого по целому ряду причин не могло сохраниться сколько-нибудь обширного наследия. Мы не останавливаемся специально на получающей в последнее время распространение точке зрения об отношениях лишь так называемого «частичного» родства картвельских языков с абхазско-адыгскими и нахско-дагестанскими [36].

---

[35] См., например: Е. А. Бокарев, Введение..., стр. 17—18.

[36] Так, Г. В. Церетели подчеркивает, что «при значительных различиях между абхазско-адыгейской и южнокавказской (картвельской) группой языков одновременно существуют такие совпадения как в структуре, так и в материальной части даже глагола, что иначе, как аллогенетическими связями, это трудно объяснить» (Г. В. Церетели, О языковом родстве и языковых союзах, ВЯ, 1968, 3, стр. 17). См. также: J. Knobloch, Concetto storico di protolingua e possibilità e limiti di applicazione ad esso dei principi strutturalistici, «Atti del IV Convegno internazionale di linguisti (2—6 settembre. 1963)», Milano, 1956, стр. 161.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1968

Б. С. ХАЙМОВИЧ

О ЕДИНИЦАХ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

Традиционным критерием выделения грамматических элементов является в основном их подчиненная, служебная, формальная роль по отношению к лексическим элементам. Отсюда и соответствующая терминология: служебное слово, вспомогательный глагол, формальная принадлежность, форма слова и т. п. Однако принцип субординации широко используется во всем строе языка. Поэтому он вряд ли может служить надежным критерием отграничения одной сферы языка от другой.

Учитывая сложные взаимоотношения между лексикой и грамматикой в таких, например, языках, как индоевропейские, трудно вообще предположить, чтобы эти сферы можно было разграничить с помощью одного единственного критерия. Не подлежит сомнению, что одним из важнейших критериев должна быть внутренняя структура каждой сферы, и совершенно непонятно, почему этот критерий не занял достойного места в арсенале средств лингвистического анализа.

В дальнейшем мы будем исходить из достаточно широко распространенного мнения, что в грамматику не входит ни фонематика, ни лексика, но будем считать, что грамматика связана и с той, и с другой, и эти связи таковы, что определяют качественное своеобразие грамматической сферы и определяются им. Несколько забегая вперед, скажем, что существенными для грамматики являются ее связи по смежности с лексикой и связи по сходству с фонематикой. Или иначе, от лексики грамматика отличается одноструктурностью с фонематикой, а от последней — одноплановостью с лексикой.

Исключив фонематику и лексику из сферы грамматики, мы тем самым определили, какие языковые единицы не могут быть признаны единицами грамматической сферы, поскольку единица — это «величина, принятая для измерения однородных с нею величин» [1] (разрядка наша. — *Б. Х.*). Не являются грамматическими единицами ни фонема, ни морфема, ни слово, ни словосочетание, ни предложение. Фонема — не только потому, что она единица фонематической сферы, но и потому, что она нейтральна к лексическому и грамматическому. Замена, скажем, фонемы /о/ фонемой /у/ может в равной мере сигнализировать изменение в лексике и грамматике (ср. *стол — стул* и *окно — окну*). Слово не может быть признано единицей грамматической сферы, потому что это нарушило бы принцип однородности. Ведь слово, помимо грамматического, содержит в себе и лексическое. По той же причине не могут быть грамматическими единицами вне образования, содержащие слова, т. е. словосочетания и предложения. Остается морфема. Из двух морфем слова *рука* одна, корневая, связана с лексической сферой, а другая, флексия, с грамматической. Так, может быть, «грамматические морфемы», подобные *-а*, и есть единицы грамматической сферы? Не думаем. Морфема *-а* — двуплановая

[1] «Словарь современного русского литературного языка», III, М.— Л., 1954, стр. 1231.

единица. В плане выражения — это фонема /а/, в плане содержания — это значения «именительный падеж», «единственное число», «женский род». Такие же значения мы находим, скажем, в слове *ночь*, но здесь нет фонемы /а/. Таким образом, если исходить из плана содержания, мы имеем одну и ту же грамматическую морфему в словах *рука* и *ночь*. Если же исходить из плана выражения, у слова *ночь* нет морфемы *-а*. Это противоречие до сих пор никому не удалось преодолеть. Ч. Хоккет называет его противоречием между принципом слышимости (audibility) и принципом постоянства (constancy) и считает, что «большая часть истории фонологических теорий представляет собой поиск мотивированного (а не произвольного) компромисса» [2]. Вся морфонология с ее, по выражению того же Ч. Хоккета, «псевдо-фонемами» или «псевдо-морфемами» создана в этих целях. Названное противоречие пытаются прикрыть термином «алломорф». Считается, что (возьмем наиболее часто приводимый пример) в английских словах *boys*, *oxen*, *feet*, *children* содержатся алломорфы или варианты одной и той же морфемы «множественное число». Но никакими терминами нельзя прикрыть того факта, что варьирует не морфема как двуплановая единица, а лишь одна ее сторона, ее форма. Содержание же инвариантно. Значит элемент алло- относится не к морфеме, а только к ее звуковой или графической форме, т. е. следует говорить об а л л о ф о р м а х морфемы «множественное число». И эти различия в форме могут быть как угодно велики, вплоть до случаев типа *человек — люди*, которые не могут быть истолкованы с помощью морфофонем. Инвариантным остается в системе (а не в тексте) только содержание грамматической морфемы, и только оно может быть принято в качестве единицы грамматической сферы. Роль формы лишь различительная, и относится она к фонематической сфере. Вообще соссюровская аналогия со сторонами листа бумаги упрощает и искажает картину взаимоотношений между звуком и значением в системе языка. Связь между ними более свободная и противоречивая. Поэтому все попытки выделить единицы, у которых точно подогнаны обе стороны, оказались тщетными. Становится очевидным, что нужно рассматривать структуру каждой стороны отдельно, так, чтобы элементы противоположной стороны выполняли только различительную функцию. Тогда нас не будет смущать то, что, например, в одном случае внесение значения прошедшего времени сигнализируется лишь одним дифференциальным признаком [ср. (*we*) *send* — *sent* «посылаем —посылали»], а в другом — целой серией фонем [ср. (*we*) *go* — *went* «идем — шли»], как не смущает нас обратное, что в *send* — *sent* отсутствие звонкости сигнализирует только одно значение, а в *game* «игра» — *came* «пришел» — множество значений.

Могут сказать, что изоморфизм плана выражения и плана содержания является одним из краеугольных камней глоссематики Л. Ельмслева, что симметрично фигурам плана выражения он постулирует фигуры плана содержания. Но Л. Ельмслев, как и К. Эбелинг, не разграничивает грамматики и лексики. По Ельмслеву, содержание латинской морфемы *-ibus* состоит из фигур «падеж» и «число», а содержание английской морфемы *stallion* «жеребец» состоит из фигур *horse* «лошадь» и *he* «он» [3]. Характерна критика этой концепции в работе Х. Сёренсена [4]. В отношении лексической морфемы *stallion* Х. Сёренсен пишет: «Трудно понять, как можно содержание „лошадь" назвать фигурой, если оно имеет соответствующее выражение [hɔ: s]», и делает вывод обо всех подобных, т. е. лексических, значениях: «По-видимому, нет таких единиц содержания, которые не имели бы соотносительного выражения, т. е., по-видимому, нет фигур

[2] C h. H o c k e t t, Sound change, «Language», XLI, 1965, стр. 196.
[3] Сб. «Новое в лингвистике», I, 1960, стр. 302, 328.
[4] H. S ø r e n s e n, Word-classes in modern English, Copenhagen, 1958, стр. 44.

плана содержания» [5]. Что касается *-ibus*, Сёренсен вынужден признать, что значение падежа и значение числа не имеют отдельных материальных означающих.

Ни попытки соединить грамматические значения с фонологическими единицами в морфеме, ни попытки объединить грамматические значения с лексическими в общем плане содержания, не свободны от противоречий, ибо грамматические значения представляют собой особую сферу со своими закономерностями. Разберем их на примере.

В предложении *He runs fast* «Он быстро бегает» слово *runs* содержит две морфемы. Лексическая морфема *run-* в данном предложении имеет одно значение, ассоциируемое с действием бега. Но в предложении *He runs a hotel* «Он держит гостиницу» значение морфемы другое, и таких разных значений морфемы *run-* словари насчитывают несколько десятков. У грамматической морфемы *-s* также целый пучок значений: «настоящее время», «изъявительное наклонение», «третье лицо» и т. д. Таким образом, с формальными сегментами [rʌn-] и [-z] соотносятся не элементарные единицы плана содержания, а целые пучки значений. Однако лексический пучок и грамматический пучок обладают разными свойствами. Прежде всего, они по-разному относятся к языку и речи. Лексический пучок существует только в системе языка. В речи он распадается, и в каждом случае употребления морфемы используется только одно значение, так что все значения лексического пучка находятся в отношениях дополнительной или, во всяком случае, не контрастной дистрибуции и могут быть представлены как речевые варианты языкового инварианта. Другое дело грамматический пучок. Он сохраняется как пучок и в языке и в речи, подобно пучку дифференциальных признаков фонемы. Поэтому, когда авторы книги «Опыт описания русского языка в его письменной форме» взяли в качестве единицы отдельное грамматическое значение, назвав его граммемой, они были вынуждены тут же сделать существенную оговорку: «морф *-ому* выражает одновременно граммемы дательного падежа, мужского/среднего рода и единственного числа прилагательных, причем эти граммемы в русском языке не могут быть выражены по отдельности. Такие сочетания граммем мы называем с в я з н ы м и. В дальнейшем мы будем говорить только о связных сочетаниях граммем, частным случаем которых может являться граммема, выражаемая изолированно» [6].

Но если речь будет идти т о л ь к о о п у ч к а х грамматических значений, почему же не принять эти пучки в качестве единиц грамматической сферы? Почему не использовать термин «граммема» для этих пучков, а не их составляющих? Если нам возразят, что нужно в качестве единиц брать простейшие элементы и что пучки, о которых идет речь, всего лишь совокупности этих простейших элементов, стоит обратиться к фонеме. Ведь «фонемы представляют собой не простейшие элементы, которые не могут быть подвергнуты дальнейшему дроблению, а совокупности определенных различительных признаков, на которые они могут быть разложены и посредством которых они отличаются друг от друга» [7]. Соответственно, в качестве единиц грамматической сферы, граммем, мы принимаем не элементарные грамматические значения, а реально существующие в языке и речи инвариантные пучки грамматических значений, соотносимые с более или менее варьирующими комплексами плана выражения. Подобно фонемам граммемы представляют собой точки пересечения диф-

[5] Там же.

[6] З. М. В о л о ц к а я, Г. Н. М о л о ш н а я, Т. М. Н и к о л а е в а, Опыт описания русского языка в его письменной форме, М., 1965, стр. 39.

[7] См.: Й. В. В а х е к, Лингвистический словарь пражской школы, М., 1964, стр. 233.

ференциальных признаков, в данном случае — элементарных грамматических значений. Будучи одноплановыми, граммемы, как и фонемы, тесно связаны с противоположным планом: граммемы — единицы плана содержания — связаны с планом выражения, а фонемы — единицы плана выражения — с планом содержания. Если у фонемы это проявляется в смыслоразличении, то у граммемы, соответственно, в форморазличении, или, по К. Эбелингу, «если субституция фонем приводит к различным словозначениям (word-meanings), то семантическая субституция дает разные словоформы (word-forms)» [8].

При таком понимании граммемы она изоморфна фонеме. «Сама фонема, — пишет Р. Якобсон, — не является членом оппозиции. Например, фонема /b/ не требует однозначно, взаимно и обязательно определенного противочлена, в то время как любой дифференциальный признак требует» [9]. Это справедливо и в отношении граммемы. Например, граммема, соответствующая формальному сегменту *-ый* в *светлый*, не требует однозначно, взаимно и обязательно определенного противочлена, в то время как каждое из составляющих ее значений обязательно является членом определенной оппозиции:

единственное число	— множественное
мужской род	— женский — средний
именительный падеж	— родительный — дательный — ..
положительная степень	— сравнительная — превосходная.

Лексические значения и в этом отношении принципиально отличаются от грамматических. Их структура характеризуется понятием семантического поля, дискретные элементы которого совокупно отражают экстралингвистический континуум. Поэтому они не обязательно требуют определенных противочленов. Лексическое значение числительного *один* в такой же мере противопоставлено значению «3», как и значениям «5», «10», «100», а вот грамматическое значение единственного числа существует только как член определенной оппозиции. Среди лексических значений поля найдется, конечно, немало антонимических, полярных пар, типа *белый — черный*, но между ними окажутся промежуточные значения поля, разные серые и иные тона.

Эти качественные, структурные особенности, сближающие грамматическую сферу с фонематической и отделяющие ее от лексической, связаны также с количественными признаками, о которых говорит А. Мартине [10]. Нужно лишь заметить, что изоморфизм граммемы и фонемы делает список грамматических единиц не «относительно закрытым», как полагает А. Мартине, а действительно закрытым, в такой же мере, как и список фонологических единиц, хотя число граммем в языке (см. ниже) обычно больше числа фонем.

Из факторов, ограничивающих изоморфизм грамматической и фонематической сфер, важнейшими являются следующие.

1. В плане выражения фонема — основная единица, в то время как в плане содержания граммема не только соседствует с лексическими значениями, но, в известной мере, подчинена им, так как существует только при них. Отсюда возможность сплетения грамматических значений с лексическими и образования промежуточной лексико-грамматической зоны. Отсюда также необходимость исключать влияние лексических значений

[8] C. E b e l i n g, Linguistic units, 's-Gravenhage, 1960, стр. 87.
[9] R. J a k o b s o n, On the identification of phonemic entities, TCLC, V, 1949, стр. 208.
[10] См. «Новое в лингвистике», III, 1963, стр. 471.

при сопоставлении граммем, т. е. оперировать граммемами, сочетающимися с тождественными лексическими значениями.

2. Абсолютизированная Ф. де Соссюром линейность языка относится (с известными ограничениями) только к единицам плана выражения. Вряд ли можно сказать, что, например, в слове *hands* «руки» значение «множественное число» идет после значения «рука», а в слове *feet* «ноги» оно вставлено внутрь значения «нога». Понятия позиции — перед, после, внутри — относятся только к соответствующим фонематическим комплексам. Значения же могут либо сочетаться, либо не сочетаться. Поэтому фактически безразлично, выражен ли пучок грамматических значений одним экспонентом, как в слове *рук-а*, или несколькими, как в словах *писа-л-а*, или *ох-еп-'в*, что типично для агглютинативных языков. Эту особенность единиц плана содержания необходимо учитывать при сопоставлении нейтрализации фонологических и грамматических оппозиций. Первые нейтрализуются в определенных п о з и ц и я х, последние — в определенных с о ч е т а н и я х.

С учетом сказанного можно говорить о действительно непротиворечивом изоморфизме грамматической и фонематической сфер многих (прежде всего, флективных) языков, хотя мы будем опираться на факты только двух: русского и английского.

Сейчас уже не приходится доказывать, что вся так называемая логическая классификация оппозиций, так тщательно разработанная Н. С. Трубецким в отношении различительных признаков фонем, может быть целиком перенесена на различительные признаки граммем. И в том, и в другом случае для системы языка наиболее важны одномерные пропорциональные оппозиции. Примером может служить оппозиция граммем, соответствующих формальным сегментам (*рук*)*ой* — (*рук*)*ами*. Основанием для сравнения членов этой оппозиции являются (при тождественности лексических значений) значения «творительный падеж» и «женский род». В системе граммем русского языка нет третьего члена, которому были бы присущи те же общие признаки. Единственные признаки, которыми отличаются члены оппозиции, это значения числа. Естественно, в случаях (*ног*)*ой* — (*ног*)*ами*, (*песн*)*ей* — (*песн*)*ями*, (*печ*)*ью* — (*печ*)*ами* мы имеем ту же самую оппозицию, с теми же самыми членами, ибо здесь варьируют не сами граммемы, а лексические значения, с которыми они связаны, и комплексы плана выражения, соотносительные с граммемами. Рассматриваемая оппозиция пропорциональна. Хотя у членов оппозиции (*рук*)*е* — (*рук*)*ам* другое основание для сравнения («дательный падеж» вместо «творительного»), отношения между ними тождественны отношениям между членами первой оппозиции. То же самое можно сказать о членах оппозиций (*рук*)*и́* — (*рук*)-, (*рук*)*а* — (*ру́к*)*и*.

Условимся одномерную, пропорциональную оппозицию считать коррелятивной. Н. С. Трубецкой говорит о коррелятивной паре, образующей не только одномерную и пропорциональную, но и логически привативную оппозицию. Конечно, при желании, можно оппозицию «единственное число» — «множественное число» объявить логически привативной, приняв, скажем, «множественное число» в качестве маркированного члена [11]. Но нам ограничение «парой» кажется излишним, как по отношению к фонологическим, так и по отношению к грамматическим оппозициям. Мы не собираемся включаться в спор относительно универсальности принципа бинарных оппозиций, но попытка Р. Якобсона представить падежную систему русского языка как построенную по дихотомическому принципу достаточно ясно показала, к каким ухищрениям приходится прибегать, чтобы

[11] См., например: А. В. И с а ч е н к о, О грамматическом значении, ВЯ, 1961, 1.

во что бы то ни стало проводить этот принцип. Если даже оставить в стороне критику бинаризма со стороны А. Мартине, М. Докулила, Е. Кржижковой [12] и других лингвистов, то ведь и М. Халле, который вместе с Р. Якобсоном разрабатывал теорию бинарности, в статье, специально посвященной защите этого принципа [13], вынужден признать, что замена тернарной оппозиции локальности двумя бинарными, «диффузный — недиффузный» и «компактный — некомпактный», является серьезным усложнением. Поэтому нельзя не согласиться с выводом К. Горалка в докладе на IX съезде лингвистов, что хотя «бинарные отношения составляют основу в каждой лингвистической системе, но надо считаться и с другими отношениями, особенно тернарными» [14]. Мы полагаем, что в русской фонологической системе коррелятивны не только одномерные пропорциональные двучленные привативные оппозиции звонкости (*б* — *п*), (*д* — *т*), (*г* — *к*), но и одномерные пропорциональные трехчленные эквиполентные оппозиции локальности (*б* — *д* — *г*), (*п* — *т* — *к*). Соответственно, в русской морфологической системе коррелятивны не только одномерные пропорциональные двучленные логически привативные оппозиции числа (*пиш*)*у* — (*пиш*)*ем*, (*пиш*)*ешь* — (*пиш*)*ете*, (*пиш*)*ет* — (*пиш*)*ут*, но и одномерные пропорциональные трехчленные эквиполентные оппозиции лица (*пиш*)*у* — (*пиш*)*ешь* — (*пиш*)*ет*, (*пиш*)*ем* — (*пиш*)*ете* — (*пиш*)*ут*.

Приняв эту оговорку, мы вместе с Н. С. Трубецким будем считать к о р р е л я ц и е й совокупность всех коррелятивных оппозиций, обладающих одним и тем же коррелятивным признаком. Этот последний является тем родовым признаком, по отношению к которому признаки, различающие члены оппозиции, являются видовыми, безразлично будет ли это «локализация» («лабиальная», «дентальная» и «гуттуральная») или «лицо» («первое», «второе» и «третье»). Изоморфизм грамматических и фонологических корреляций, естественно, нисколько не страдает от того, что грамматические корреляции издавна называются грамматическими к а т е г о р и я м и. Однако в связи с этим нужно заметить следующее. Некоторые коррелятивные оппозиции, например назальности, локализации, имеются у гласных и согласных. Но Н. С. Трубецкой не включает их в корреляции, общие для обоих классов фонем. Отдельно рассматривается, скажем, корреляция назальности гласных и корреляция назальности согласных. Такое разделение этих классов фонем и их корреляций основывается, главным образом, не на фонологических, а на акустических и артикуляторных особенностях гласных и согласных. Но оно поддерживается также значительным расхождением в наборе фонологических признаков, которые служат основанием для сравнения. Нечто аналогичное мы имеем в грамматической сфере. Коррелятивные оппозиции числа имеются, например, у существительных и глаголов, но мы обычно рассматриваем отдельно категорию числа существительных и категорию числа глаголов. Такое разделение этих классов и их корреляций основывается, главным образом, на различной семантической природе существительных и глаголов, но поддерживается также значительным расхождением в наборе грамматических значений, которые служат основанием для сравнения.

---

[12] А. М а р т и н е, Принцип экономии в фонетических изменениях, М., 1960, стр. 102—103; M. D o k u l i l, K otazce morfologických protikladu, SaS,2, 1958, стр. 100; H. K ř i ž k o v a. Привативные оппозиции и некоторые проблемы анализа многочленных категорий, «Travaux linguistiques de Prague. L'école de Prague d'aujourd'hui», I, 1964, стр. 203.

[13] M. H á l l e, In defence of the number two, сб. «Studies presented to J. Whatmough» 's-Gravenhage, 1957.

[14] K. H o r á l e k, A propos de la théorie des oppositions binaires, «Proceedings of the IX International congress of linguists», The Hague, 1964, стр. 417.

Следовательно, грамматическую категорию какой-нибудь части речи можно определить как совокупность всех коррелятивных оппозиций граммем этой части речи, имеющих в качестве коррелятивного признака общее значение данной категории и в качестве различительных признаков своих членов частные значения категории. Подобно тому, как любая молекула вещества обладает всеми его свойствами, каждая оппозиция категории обладает всеми свойствами этой категории. Но, помимо качественной характеристики, каждая корреляция или категория имеет количественный признак, объем, который зависит, не в последнюю очередь, от степени нейтрализуемости ее оппозиций.

Мы уже говорили о том, что, в отличие от фонологических оппозиций, нейтрализуемых в определенных позициях, грамматические оппозиции нейтрализуются в определенных сочетаниях значений. Так, например, оппозиция числа существительных в русском языке нейтрализуется в сочетаниях с такими лексическими значениями, как «молоко», «воздух», «молва» и под. Могут возразить, что слова *молоко*, *воздух*, *молва* представляют собой такие единства лексического и грамматического, которые целиком входят в систему языка, а нейтрализация — явление синтагматического порядка, возникающее при столкновении в потоке речи дискретных единиц. На этом основании ищут условия нейтрализации морфологических оппозиций вне слова, в более широком контексте [15]. Но нельзя забывать, что ищем-то мы условия нейтрализации различительных признаков не слова, а граммемы, которая сочетается иногда со многими тысячами лексических значений, и по отношению к ней это синтагматические сочетания.

Как и при фонологической нейтрализации, один из членов оппозиции обычно становится представителем «архичлена» этой оппозиции, т. е. совокупности различительных признаков, общих для членов оппозиции. Возражения против такого «архичлена» морфологической оппозиции связаны обычно с представлениями о двуплановости грамматической единицы и вытекающими отсюда противоречиями. Если же речь идет о граммеме, одноплановой единице, симметричной фонеме, этих трудностей нет. Граммема слов *рука*, *нога*, *стена* и под. содержит три значения: «единственное число», «именительный падеж» и «женский род». В слове *молва*, благодаря нейтрализации оппозиции числа, у граммемы остаются только «именительный падеж» и «женский род», которые являются общими для обеих граммем оппозиции числа *рука* — *ру́ки*, *нога* — *но́ги*, *стена* — *сте́ны*, т. е. являются их архиграммемой.

Хотя граммемы слов *молоко*, *воздух*, *молва* не имеют прямых значений единственного числа, поскольку у них нет противочленов множественного числа, мы все же можем говорить об их сходстве с тем членом оппозиции числа, который содержит значение единственного числа; сходство в форме, соответствующей граммеме, и в сочетаемости.

Ср. *То* (*молоко*, *окно*, *село*) *находится*...
Те (— , *окна*, *села*) *находятся*...

Аналогично, у граммем слов типа *сани*, *сени* нет прямого значения множественного числа, но по форме и сочетаемости [16] они схожи с членами

[15] См.: И. Б. Хлебникова, О нейтрализации оппозиций в морфологии, сб. «Иностранные языки в высшей школе», III, М., 1964.

[16] В английском языке член нейтрализации может по форме напоминать один член оппозиции, а по сочетаемости другой.

Ср. *This* (*news*, *book*) *is*...
These (—, *books*) *are*...

В таком случае решающим является сочетаемость, так как она представляет собой связь самих граммем, в то время как форма указывает на связь между граммемой и соответствующим сегментом плана выражения.

оппозиции числа, имеющими значение множественного числа.

Ср. *Те (сени, тени, песни) были...*
Та (—, тень, песнь) была...

Таким образом, следует различать прямые и косвенные грамматические значения. Первые являются членами оппозиции. Вторые лишь схожи с членами оппозиции. Аналогично, можно говорить о прямых и косвенных фонологических признаках. Скажем, в слове *тесть* глухость первой фонемы — прямой признак, потому что он является членом оппозиции /т — д/, ср. *десть*, а глухость конечной фонемы — косвенный признак по сходству, потому что в этой позиции у него не может быть звонкого противочлена.

Естественно, косвенными могут быть только те признаки, аналоги которых являются прямыми признаками в данной системе. Не может быть косвенного значения перфекта в системе, где нет такого прямого значения. Но можно говорить о косвенном значении «положительной степени» у прилагательного *азотный* или «действительного залога» у глагола *сохнуть*. Граница между прямым и косвенным значениями не слишком резка. Во-первых, косвенные значения — это потенциально прямые, и потенция эта может иногда реализоваться.Например, в прилагательном *каменный* вследствие нейтрализации оппозиции степеней сравнения нормально имеется лишь косвенное значение положительной степени, но пушкинское *все каменней ступени* превращает его в прямое. Во-вторых, прямое и косвенное значения очень часто находятся рядом, в пределах одного многозначного слова. Ведь нейтрализация грамматической оппозиции происходит не в определенном слове, а в сочетании с определенным лексическим значением. Поэтому слово *дерево* с лексическим значением «растение» имеет прямое значение единственного числа (ср. *деревья*), а с лексическим значением «материал» — косвенное.

Если учитывать не только прямые, но и косвенные грамматические значения, то все существительные или глаголы данного языка окажутся объединенными ограниченным числом граммем. У английских существительных, например, число граммем равно 13. Ниже приводится табл. 1, в которой граммемы английских существительных представлены соответствующими словами. Пустые клетки означают отсутствие соответствующих граммем в языке.

Таблица 1

Падеж		Число			
		Единственное		Множественное	
		прямое значение	косвенное значение	прямое значение	косвенное значение
Общий	прямое значение	*boy*	*England*	*boys*	*cattle*
	косвенное значение	*book*	*milk*	*books*	*tongs*
Притяжательный	прямое значение	*boy's*	*England's*	*boys'*	*cattle's*
	косвенное значение		*St. Paul's*		

Аналогичную таблицу можно составить и для фонологической системы с двумя корреляциями. Большее число корреляций, естественно, увеличивает число фонем или граммем и усложняет таблицу.

К сожалению, в рамках данной статьи нет возможности остановиться на совершенно еще не разработанной проблеме синтаксических корреляций, но почти все сказанное о граммемах морфологии справедливо и для синтаксиса, где в качестве дифференциальных признаков выступают, конечно, синтаксические значения, свойственные предложению, которые нужно отличать от морфологических и лексических, свойственных слову. Поэтому членами коррелятивной синтаксической оппозиции могут быть лишь предложения с тождественными лексическими и морфологическими значениями, имеющие общее основание из синтаксических значений (архиграмму) и различающиеся только признаками одной синтаксической корреляции. В качестве примера можно взять синтаксическую систему из трех корреляций — вопросительной, отрицательной и эмфатической — в английском языке. В рамках этой системы граммема предложения *He is a student* «Он студент» входит в такие оппозиции:

	Is he a student?	Оппозиция вопроса
He is a student	*He isn't a student.*	» отрицания
	He is a student!	» эмфазы
	Does he smoke?	» вопроса
Аналогично, *He smokes*	*He doesn't smoke.*	» отрицания
	He dóes smoke! [17]	» эмфазы

Нейтрализация синтаксических (как и морфологических) оппозиций происходит в сочетаниях с определенными значениями. Так, нейтрализация оппозиций «вопрос — не вопрос» происходит в сочетании со значениями побуждения и восклицания. Член нейтрализации побудительных предложений в большинстве случаев похож на немаркированный член оппозиции. Ср. (*You*) *go to your place!* «(Вы) идите на свое место» и *You go to your place* «Вы идете на свое место». Но нередко он принимает форму маркированного члена: *Will you go to your place?* «Пожалуйста, идите на свое место» («Не пойдете ли вы на свое место?»).

Еще на VI съезде лингвистов в 1948 г. Г. Велтен говорил: «Число фонемных различительных признаков в языках мира удивительно мало, в среднем язык использует не более дюжины для построения системы фонем. Соответствующая цифра для морфологических признаков явно больше, но не на очень много. Поэтому не слишком трудно, должно быть, достигнуть той же степени договоренности в отношении терминов и дефиниций, что и в фонологии. Регистрация морфологических различительных признаков каждого языка (и относительной частотности и важности каждого признака в морфологической системе данного языка) должно, очевидно, быть первой предпосылкой для любой структурной классификации языков» [18].

Если до сих пор в указанном направлении сделано очень мало, то это объясняется не в последнюю очередь тем, что львиная доля усилий лингвистов тратится (а) на сооружение хитроумных многоэтажных конструкций из морфов, алломорфов, морфофонем, фонемоидов, морфоидов и под. для сплетения единиц плана выражения с единицами плана содержания так, чтобы трещины и противоречия стали менее заметными; (б) на попытки доказать с помощью фигур, семантических минимумов, семантических

[17] О синтаксических словах-морфемах *do*, *does*, *did* см.: Б. С. Хаймович, Слова-морфеми як основа аналітичності англійської мови, сб. «Вісник Харківського університету», Серія іноземних мов, I, Харків, 1966, стр. 51.

[18] «Actes du sixième congrès international des linguistes», Paris, 1949, стр. 213–214.

множителей, сем, семем и пр., что, в сущности, нет различий между структурами грамматической и лексической сфер.

Между тем становится очевидным, что развитие грамматики как науки связано не с интеграцией ее объекта с объектами фонологии и лексикологии, а с их дифференциацией, вернее, с установлением релевантных структурных взаимоотношений между тремя объектами. Грубо говоря, объект фонологии (Ф) образует с другими объектами (Л и Г) оппозицию материальности, а объект лексикологии (Л) с другими объектами (Ф и Г) оппозицию коррелятивности, что представлено на табл. 2.

Таблица 2

Объекты	Признаки	
	Выраженная материальность	Выраженная коррелятивность
Ф	+	+
Г	−	+
Л	−	−

Достижения фонологии объясняются тем, что структура плана выражения рассматривалась о т д е л ь н о, с привлечением элементов противоположного плана т о л ь к о в р а з л и ч и т е л ь н ы х ц е л я х. Аналогичное рассмотрение структуры плана содержания (с его двумя основными сферами—лексикой и грамматикой) — задача, поставленная, но не доведенная до конца.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1968

Ю. С. СТЕПАНОВ

ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ПАДЕЖЕЙ

(Совмещение классификаций и его следствия)

I. Описание грамматической категории в современной лингвистике складывается из двух основных частей — сначала, чаще всего на основе дистрибуции, устанавливаются формальные классы морфем, образующих данную категорию в плане выражения; затем тем или иным способом эти классы приводятся в соответствие с планом содержания — это семантическое описание, оно в зависимости от широты и конкретности может доходить и до стилистических оттенков и даже переходить в стилистику. Но между этими двумя частями лежит и третья, срединная область, существования которой иногда не замечают и предмет которой заключается в расчленении данного класса форм на различные подклассы и в установлении отношений между ними, и все это проделывается еще до детального описания семантики.

Опыт описания этой срединной области в применении к падежам (именно опыт, на ограниченном материале) и является предметом настоящей статьи; в традиционном наименовании она соответствует проблеме классификации.

Как непременная область грамматического описания она не замечалась, по-видимому, потому, что у разных занимавшихся ею исследователей тесно соприкасалась и даже сливалась то с семантикой и стилистикой (как в известной работе Р. Якобсона о падежах, 1936 г.[1]), то с синтаксисом (как у Е. Куриловича, в его столь же известной работе 1949 г. [2]). Две эти работы, к которым в той или иной степени восходят последующие советские исследования, относящиеся к проблеме классификации падежей [3], противопоставлены друг другу сразу по нескольким основаниям. Во-первых, они противопоставлены как морфологическое, или парадигматическое, описание (у Р. Якобсона) синтаксическому, или синтагматическому (у Е. Куриловича). «Брендаль правильно указывал, — писал Р. О. Якобсон, — что падеж имеет морфологическую, а не синтаксическую природу, и каждый падеж имеет свою дефиницию или „функцию"; но нет никакой необходимой связи между падежной функцией и функцией в предложении; учение о падежах и морфология — это не есть синтаксис» [4]. Е. Курилович основывается на прямо противоположном утверждении: «Нам кажется, что правильный метод — определять семантические различия, если они есть, исходя из синтаксических различий, но не наоборот» [5]. Во-вторых, они противопоставлены как классификация весьма конкретная, классификация по н а б л ю д а е м ы м отношениям падежей, с многочисленными

[1] R. J a k o b s o n, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, TCLP, 6, 1936. Здесь пользуемся переводом этой работы на русский язык, сделанным О. Г. Ревзиной [сб. «Материалы к спецкурсу по структурной типологии языков, М., 1965 (литограф.)].

[2] Е. К у р и л о в и ч, Проблема классификации падежей, сб.: Е. К у р и л о в и ч, Очерки по лингвистике, М., 1962.

[3] См.: Е. В. Ч е ш к о, К вопросу о падежных корреляциях, ВЯ, 1960, 2

[4] Р. Я к о б с о н, указ. соч., стр. 135.

[5] Е. К у р и л о в и ч, указ. соч., стр. 191.

стилистическими различиями (у Р. Якобсона), и более абстрактная классификация, по непосредственно не наблюдаемым, но п р е д с т а в л я е м ы м отношениям (у Е. Куриловича).

От указанной работы Р. Якобсона данная значительно отличается тем, что в логическом порядке предшествует ей как этап описания; детальное описание семантики падежей будет затронуто в конце как логическое продолжение данного этапа. От работы Е. Куриловича настоящая работа отличается меньше, составляя тот же логический этап, но на существенно иной основе. От обеих работ данная отличается и по методу, а именно совмещением парадигматического и синтагматического подходов на основе единого с е м и о т и ч е с к о г о принципа. Что касается формального установления падежей, то, как уже было сказано, эта работа в логическом порядке предшествует данной области и предполагается сделанной, количество падежей и их формы установленными.

Итак, совместить два подхода к классификации — это значит, в сущности, не что иное, как разбить известный нам парадигматический столбец падежей — И, Р, Д, В, Т, П на группы с точки зрения синтагматических функций падежей, а затем установить отношения между группами на основе семиотического принципа.

Группировке падежей по синтагматическому принципу должно предшествовать уточнение понятия «синтагматика». Как и многие другие явления языка, синтагматика двухъярусна. С одной стороны, синтагматика — это реально наблюдаемая во времени в речевой цепи последовательность звуков, слов, высказываний; назовем ее к о н к р е т н о й, или н а б л ю д а е м о й, синтагматикой. С другой стороны, синтагматика — это внутренние зависимости и взаиморасположение фонем, морфем, конструкций или слов, словосочетаний и предложений,— взаиморасположение, часто не совпадающее с последовательностью в потоке речи; назовем эту синтагматику а б с т р а к т н о й, или п р е д с т а в л я е м о й синтагматикой. Например, в высказывании *Слона видели* внутренняя зависимость в представляемой синтагматике распространяется от глагола на имя существительное, а речевая последовательность в наблюдаемой синтагматике строится в обратном направлении. В дальнейшем будем понимать здесь синтагматику как абстрактную, или представляемую.

При характеристике связей в абстрактной синтагматике для нашей задачи достаточно обозначения трех видов зависимостей, или функций: двусторонней зависимости $\leftrightarrow$, односторонней зависимости $\rightarrow$, двусторонней независимости $\rangle\!-\!\langle$.

1. Функцию $\leftrightarrow$ можно иллюстрировать согласованием; в общем случае мы имеем право поставить знак этой функции там, где изменение какого-либо (релевантного для синтагматической связи) грамматического признака (категории) в одном слове влечет за собой одновременное изменение грамматического признака (категории) в другом, и обратно: *мальчик* $\leftrightarrow$ *прыгал*, *девочка* $\leftrightarrow$ *прыгала*; *поэт* $\leftrightarrow$ *агитатор*, *поэту* $\leftrightarrow$ $\leftrightarrow$ *агитатору*; *гости* $\leftrightarrow$ *понаехали*, *гостей* $\leftrightarrow$ *понаехало* (в последнем случае знак этой функции ставится потому, что изменение числа глагола требует изменения падежа и обратно, ср.: *гости понаехали*).

2. Функция $\rightarrow$ иллюстрируется управлением; в общем случае этот знак ставится там, где падеж не меняется при изменении грамматических признаков управляющего слова: *сказать* $\rightarrow$ *брату*, *высказать* $\rightarrow$ *брату*, *подсказать* $\rightarrow$ *брату*; *сказать* $\rightarrow$ *брату*, *не рассказать* $\rightarrow$ *брату*; *рассказать* $\rightarrow$ *брату*, *рассказ брату*. В случае винительного падежа поставить знак $\rightarrow$ можно только для части категорий: *читал* $\rightarrow$ *книгу*, *прочитал* $\rightarrow$ *книгу*, *дочитал* $\rightarrow$ *книгу*; транспозиция же глагола в имя, а также отрицание требуют замены падежа *читал — книгу*, *чтение — книги*, *не чи-*

тал — книги. Поэтому винительный падеж по отношению к функции → характеризуется как +/—, или, с некоторым упрощением, просто минусом.

3. Функция >—< ставится там, где падеж не меняется при изменении управляющего слова, а управляющее слово не меняется при изменении падежа; это соответствует примыканию, но только такому его полному виду, когда и примыкание, и примыкающее слово сохраняются и при глаголе и при соответствующем отглагольном существительном: *гулять* >—< *вечерами*, *прогулки* >—< *вечерами*; *чашка* >—< *чаю*, *выпить* >—< *чаю*. Винительный падеж и здесь характеризуется, как и в предыдущем случае, отрицательно, так как при транспозиции глагола в имя он не сохраняется: *гулять час*, но невозможно *прогулки час*, и необходимо или заменить примыкание согласованием *часовые прогулки*, или, оставив примыкание, изменить примыкающее слово *прогулки продолжительностью в час*.

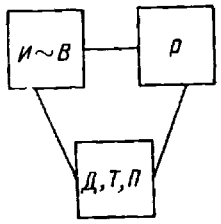


Рис. 1

Обозначенные здесь функции представляют собой упрощенный вариант функций Ельмслева [6]. Все зависимости понимаются здесь только как ближайшие, непосредственные зависимости между изучаемым падежом и ближайшим к нему — в абстрактной синтагматике — словом. Конечно, теоретически такой анализ предполагает умение отличать ближайшие связи слов от дальнейших в предложении, но практически чистота анализа достигается тем, что вовсе не рассматриваются предложения, а только словосочетания, притом по возможности двусловные.

II. Русские падежи в беспредложном употреблении так характеризуются наличием или отсутствием при них указанных отношений:

Таблица 1

Падеж	Функция 1 ⟷	Функция 2 →	Функция 3 >—<
И	+	—	—
В	—	—(+/—)	—
Р	+	+	+
Д	—	+	+
Т	—	+	+
П[1]	—	+	+

[1] Предложный падеж берется здесь как аналог беспредложного «местного», без учета значений и форм предлога.

С этой точки зрения русские падежи образуют следующие группировки, подсистемы (см. рис. 1): а) И и В, противопоставленные друг другу; б) Р; в) Д, Т, П, с синтагматической точки зрения не противопоставленные и не различающиеся.

Эти группировки не содержатся в парадигматической классификации, ни в традиционной, ни в якобсоновской. В последней, как известно, даются иные группировки: а) И, В; б) Т, Д; в) Р, П. Подобные группы можно найти в синтагматической классификации Е. Куриловича. От нее предложенная здесь отличается тем, что в работе Е. Куриловича разделение падежей на грамматические (номинатив, аккузатив, гени-

[6] Л. Ельмслев, Пролегомены к теории языка, сб. «Новое в лингвистике», I, М., 1960, стр. 300, примеч. стр. 383, определения 12—16.

тив) и конкретные (инструменталь, датив, аблатив, локатив) предполагается с самого начала известным, данным, а здесь вытекает из единного синтагматического основания. Поэтому различие классификаций Е. Куриловича и данной углубляется при переходе ко второму этапу, к классификации падежей в предложном употреблении (см. ниже).

То, что Р образует в русском языке особую подсистему, подтверждается различными наблюдениями, в частности тем, что из всех падежных форм множественного числа только Р может служить опознавательным падежом для различения родов и типов склонений. Наличие всех трех выделенных подсистем, реальность их подтверждается также системой ударений, причем особенно отчетливо в парадигматическом ряде множественного числа. «С формальной точки зрения, — отмечает Т. Г. Хазагеров, — тут имеются отношения, которые обычно характеризуются как взаимозависимость или интердепенденция. Эта взаимозависимость проявляется в данном случае в том, что словоформы дательного, творительного и предложного падежей ни в одном типе склонения и ни в одном типе ударения не отличаются по месту акцента друг от друга. Иные отношения существуют между акцентуацией словоформ, обуслуживающих словесную форму именительного падежа, и акцентуацией словоформ, обслуживающих словесные формы упомянутых косвенных падежей. Ударение словоформы именительного падежа, например, на основе (или на флексии) не исключает, но и не предполагает ударения на основе (или на флексии) в словоформах упомянутых косвенных падежей. Mutatis mutandis, это верно и в отношении словоформ указанных косвенных падежей. Здесь имеется, таким образом, тип связи, называемый констелляцией» [7]. Хорошо подтверждается акцентными данными и автономность Р: «Акцентуация этой словоформы (во множественном числе. — *Ю. С.*) в подавляющем большинстве случаев тождественна акцентуации словоформ косвенных падежей. Поскольку, однако, словесная форма родительного падежа множественного числа в сочетании с словесной формой именительного падежа числительных может обслуживать подлежащее, возможно и противопоставление по месту ударения словоформ родительного — словоформам косвенных падежей» [8].

Хорошее совпадение с данными акцентологии объясняется здесь, повидимому, тем, что акцентные парадигмы, будучи менее связаны с материальной формой, чем парадигмы флексий, являются более пластичными и легче поддаются новым изгибам под давлением общих семиотических принципов, регулирующих устройство языка.

III. Рассмотрим теперь подробнее общую картину, наметившуюся в результате проведенной классификации падежей в беспредложном употреблении. При этом выяснится отчетливее, что эта классификация представляет собой совмещение парадигматического и синтагматического критериев на основе общего с е м и о т и ч е с к о г о принципа.

Предварительно заметим еще раз, что падежи, составляя отчетливый парадигматический ряд, образуют его не только в силу того, что запечатлевают синтагматические отношения, но и в силу разного материального фонетического и морфемного состава своих флексий, т. е. в силу своей морфологии, не зависимой от синтагматики (ср. приведенное уже замечание Р. Якобсона).

После этого не покажется простой тавтологией следующее положение, резюмирующее классификацию: п р о т и в о п о с т а в л е н н о с т ь в п а р а д и г м а т и к е (или морфологическая противопоставленность словоформ и флексий) с т о и т в о б р а т н о м о т н о ш е н и и к

[7] Т. Г. Х а з а г е р о в, Развитие типов ударения в системе русского именного склонения. Автореф. канд. диссерт., Ростов-на-Дону, 1967, стр. 7.
[8] Там же, стр. 8.

противопоставленности в синтагматике (или противопоставленности функций), но эта обратность не прямая, а как бы градуированная, асимметричная.

Конечно, это лишь общая и грубая формулировка, уточнить которую и является целью настоящего раздела. Если взять обычную схему языкового знака, представляющую его в виде круга, разрезанного пополам, причем одна половина символизирует означаемое, а другая означающее, то совпадения падежей внутри групп в беспредложном употреблении (см. рис. 1) можно, для общего случая, представить в виде рис. 2 («означающее» здесь — морфологическая форма падежа, а «означаемое» — его функция в синтагматике; семантическое содержание падежей на этом этапе классификации не характеризуется).

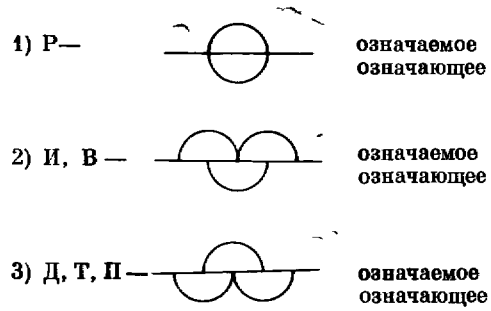


Рис. 2

Р остается тождественным самому себе. И и В в случае совпадения вступают в отношения омонимии (одно означающее при двух означаемых). Это полная омонимия (*стол* И, В, ед. число, муж. род.), или омонимия первого порядка. Что касается Д и П (так как Т в русском никогда не вступает в отношения совпадения форм), то в случае их совпадения имеет место синонимия.

Отношения между падежами различных групп существенно иные, отношения синонимии, совпадения означаемых, т. е. функций, здесь не могут иметь места. Между Д, П с одной стороны и Р с другой также могут быть совпадения в единственном числе (*армии*, *печи*), которые являются омонимией, но омонимией второго порядка: совпадение морфологического строения из-за разницы в ударении редко бывает полным, ср. *на двери́* (П) — *ручка две́ри* (Р), и, кроме того, остается четкое синтагматическое различие.

Между В, с одной стороны, и Д, П, с другой, может иметь место еще более слабая омонимия третьего порядка: омонимия только флексий — *руку* В, ед. число, жен. род. — *шка́фу* Д, ед. число, муж. род. Существует также и вовсе слабая, расплывчатая, но все же довольно характерная для русского языка омонимия самого дальнего порядка: *столо́м* Т, ед. число, муж. род — *слало́м* М, ед. число, муж. род; *за́лом* Т, ед число, муж. род — *зало́м* И, ед. число, муж. род, *гений* И, ед. число, муж. род — *армий* Р, мн. число, жен. род и т. п. Таким явлениям отводил важное место в описании языка С. О. Карцевский, но, не подразделяя их, он называл их общим термином «омофония» [9].

[9] См., в частности: С. Карцевский, Об асимметричном дуализме языкового знака, в кн.: В. А. Звегинцев, История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях, 2-е изд., ч. II, М., 1965, стр. 85 (с неточным переводом в заголовке: «лингвистического» вместо «языкового»). Ср.: Р. О. Якобсон, Морфологические наблюдения над славянским склонением, «American Contributions to the IV International congress of slavicists», 's-Gravenhague, 1958.

Наиболее сложные и интересные отношения, в общем лежащие в пределах морфологической омонимии второго порядка, но которые разумным образом нельзя, по-видимому, просто свести к известным понятиям синонимии или омонимии, вскрываются между И, В, с одной стороны, и Р, с другой. Эти отношения далеко не исчерпываются тем, что совпадение Р то с И, то с В является важнейшей формой категории одушевленности. Существует также отчетливая тенденция дифференцировать Р мн. числа и И ед. числа противопоставлением нулевой и ненулевой флексий. Существительные, имеющие ненулевое окончание в И ед. числа (*жена*, *воевода*, *окно*), имеют нулевое окончание в Р мн. числа (*жен*, *воевод*, *окон*), и наоборот, существительные, имеющие нулевую флексию в И ед. числа (*мышь*, *мать*, *стол*), имеют ненулевую флексию в Р мн. числа (*мышей*, *матерей*, *столов*). Имеются также пары разных слов, различающихся внешне только этим противопоставлением: И ед. числа *прищепка* — *прищепок*; Р мн. числа *прищепок* — *прищепков*, ср. далее *жучка* — *жу́чек*, *жучо́к* — *жучков* (в этом случае с разницей в ударении), *прикладка* — *прикладок*, *прикладок* — *прикладков* и др.[10]. Существует и иное совпадение: Р ед. числа совпадает с И мн. числа во всех словах жен. рода (за исключением места ударения): *лампы*, *печи*, *армии* и в некоторых типах муж. и ср. родов (за исключением места ударения): *до́ма* Р — *дома́* И, *окна́* Р — *о́кна* И.

Все такие совпадения падежей, составляющие особый тип совпадений, назовем а с и м м е т р и ч н о й и л и з е р к а л ь н о й о м о н и м и е й.

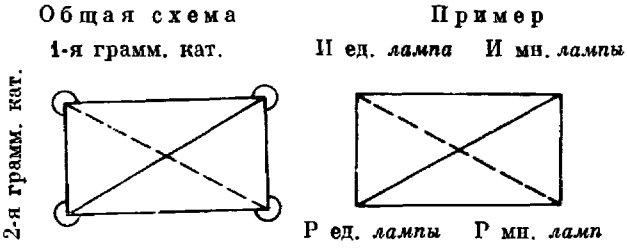


Рис. 3

На примере рассмотренных выше случаев можно представить общую схему зеркальной, или асимметричной, омонимии. На рис. 3 горизонтальные линии символизируют те противопоставления, которые образуют одну грамматическую категорию, например числа; вертикальные противопоставления символизируют другую грамматическую категорию, например падежа; косые линии символизируют зеркальную асимметрию, причем косая сплошная линия — ее выраженные формы, как, например, в форме *-ы* —Р, ед. числа *лампы* — И мн. числа *лампы*, а косая пунктирная линия ее невыраженные формы, как И ед. числа *лампа* — Р мн. числа *ламп* — общая морфема отсутствует.

Асимметричная омонимия по самому своему характеру легко может стать формой какой-либо грамматической категории, так как она содержит в себе все необходимые знаковые противопоставления — уже готовые материальные корреляции. Так, на схеме видно, что косая сплошная линия будет в таком случае соответствовать признаковому, маркированному члену новой грамматической оппозиции, а косая пунктирная — беспризнаковому. Наличие асимметричной омонимии должно поэтому побуждать исследователя искать грамматическую нагрузку такой корреляции,

[10] См.: «Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка», М., 1968, стр. 68.

во всяком случае, проверять, нет ли такой нагрузки. В некоторых случаях она может обнаружиться в качестве в разной степени «скрытых» грамматических категорий [11].

Так, в русском языке в этой форме существует в именном склонении категория одушевленности — неодушевленности. Другой пример: в разговорной разновидности современного русского языка постоянная асимметричная корреляция в жен. роде:

	Ед. число	Мн. число
И	*картошка* (1)	*картошки* (3)
Р	*картошки* (2)	*картошек* (4),

когда совпадают формы 2 и 3, дополняется аналогичным совпадением в муж. роде:

	Ед. число	Мн. число
И	*помидор* (1)	*помидоры* (3)
Р	*помидора* (2)	*помидор* (4) (вместо лит. *помидоров*),

когда совпадают формы 1 и 4.

В таком случае возникает двойная асимметричная корреляция — одна асимметричная по падежу — числу, вторая — по роду (форма 4 совпадает в обоих родах): муж. род *кило помидор* (нулевое окончание) — *пять помидоров* (ненулевое окончание); жен. род *кило картошки* (ненулевое окончание) — *пять картошек* (нулевое окончание). Эта корреляция является, по-видимому, формой грамматической категории счетности — несчетности (или исчисляемости — неисчисляемости).

Не было, кажется, обращено внимания и на то, что две формы Р и две формы П (так называемые $Р_1$, $Р_2$, $П_1$, $П_2$), хорошо объединяющиеся, как это показал Р. Якобсон в упомянутой работе, в четкую четырехчленную корреляцию по семантике, содержат в своем составе и ясную асимметричную омонимию форм $Р_2$ и $П_2$: *$Р_1$ леса* — *$Р_2$ лесу* — *$П_1$ в лесе* — *$П_2$ в лесу*, которая, может быть, причастна и к семантической их корреляции. В таком случае налицо оказалась бы еще одна скрытая частная грамматическая категория.

Изучение подобных вопросов имеет определенное значение и для сопоставительной грамматики. Например, можно было бы показать — за неимением места приходится сейчас от этого отказаться, — что, если отдельное сопоставление падежей с иными, непадежными формами аналитических языков не приносит результата, то сопоставление по скрытым категориям, часто основанным на зеркальной омонимии, может оказаться более плодотворным.

Асимметричная омонимия весьма характерна не только для разных случаев в других славянских языках, например, в польском, но и для литовского. Ср. в литовском двойную асимметричную корреляцию — полную — по наличию флексии *-os-* по падежам и числам в ж. р. и частичную — по наличию флексии *-s-* — по родам:

		Ед. ч.	Мн. ч.
Ж. р.	И. п.	*jūra*	*jūros*
	Р. п.	*jūros*	*jūrų*
М. р.	И. п.	*vyras*	*vyrai*
	Р. п.	*vyro*	*vyrų*

Ср. также (выше) похожие отношения в русских парах *прищепка* — *прищепок*; *прищепок* — *прищепков*, с той только важнейшей разницей.

[11] Или «метаграмматических», см.: Ю. С. Степанов, Метаописание в исторической грамматике, «Вестник МГУ», Серия VII. Филология, журналистика, 1962, 2.

что в русском Р мн. числа является единственной показательной формой для различия родов и типов склонения во мн. числе, тогда как в литовском Р мн. числа является как раз единственной полностью обобщенной формой. Здесь, может быть, проступает своеобразное отношение литовского и русского (также балтийских и славянских вообще) друг к другу: при общем сходстве их структур — асимметричное, зеркальное расположение структурных черт (ср. понятие контрастности финно-угорского языкового типа в его отношении к индоевропейскому).

Зеркальная омонимия пронизывает всю сферу грамматики, и ее значение вырисовывается перед лингвистом тем отчетливее, чем шире круг сравниваемых с этой точки зрения категорий. Так, в английском языке этот род омонимии соединяет склонение имени и спряжение глагола общностью флексии *-s-*. Ср:

	Имя	Глагол
Ед. число	*The bird* (ø)	*flies*
Мн. число	*The birds*	*flie* (ø).

Явление зеркальной омонимии позволяет уточнить и общее понятие омонимии в грамматике. Очевидно, что для этого понятия нельзя ограничиваться только абсолютной, морфологической характеристикой — степенью материального совпадения морфем, но необходимо ввести и характеристику относительную, самый показатель асимметричности, каковым и будет степень грамматической противопоставленности омонимичных форм. По этому показателю, например, асимметричность омонимии у форм *армии* Р, жен. род, ед. число — *армии* И, жен. род, мн. число больше, чем у форм *армии* Р, жен. род, ед. число — *армии* Д, жен. род, ед. число, так как в первой паре омонимичные формы различаются по двум грамматическим категориям — падежа и числа, а во второй паре только по категории падежа; что же касается морфологического порядка омонимии, то он в обоих случаях один и тот же.

В пределах одного морфологического порядка омонимии можно установить таким образом разные относительные порядки. В приведенном выше примере со словами *помидор* и *картошка* существует пять омонимических пар одного и того же (второго) порядка морфологической омонимии: 1—8; 2—3; 4—7; 5—7; 6—8, ср.:

		Ед. число	Мн. число
Муж. род	И	*помидор-* (1)	*помидор-ы* (5)
	Р	*помидор-а* (2)	*помидор-* (6), *помидор-ов* (6а)
Жен. род	И	*картошк-а* (3)	*картошк-и* (7)
	Р	*картошк-и* (4)	*картош(е)к-* (8)

Однако по относительному признаку они разбиваются далее на пять различных порядков: омонимия 1-го порядка: формы 5 и 7; омонимия 2-го порядка: формы 6 и 8; омонимия 3-го порядка: формы 4 и 7; омонимия 4-го порядка: формы 2 и 3; омонимия 5-го порядка: формы 1 и 8.

В 3-м порядке омонимичные формы различаются по числу и падежу, а в 4-м порядке — по роду и падежу, т. е. в каждом случае по двум грамматическим категориям. Поэтому, говоря вообще, номера этих порядков можно было бы поменять местами. Но так как рассуждать об омонимии целесообразно не вообще, а всегда по отношению к данной грамматической категории, здесь — категории падежа, то эти два порядка следует расположить именно в такой последовательности: сначала (3 порядок) — омонимия форм в пределах одного типа склонения, а затем (4 порядок) — в пределах разных типов склонения.

IV. Русские падежи в употреблении с предлогами должны быть, при требовании единства классификации, харак-

теризованы по тому же основанию, что и в беспредложном употреблении, т. е. по признаку тех же трех функций. Но тут сразу же возникает вопрос, в какой части словосочетания «глагол — предлог — падеж» (или «имя — предлог — падеж») помещать функцию. Этот вопрос равносилен тому, чтобы спросить, характеризуем ли мы 1) сочетание «предлог — падеж» в его отношении к глаголу, т. е. «глагол — (предлог + падеж)», или 2) сочетание «глагол — предлог» в его отношении к падежу, т. е. «(глагол + + предлог) — падеж» (тире означает место помещения функции). Возможны, по-видимому, оба пути. Е. Курилович выбирает второй путь, мы — первый. Основания для такого решения следующие. Во-первых, чисто формальное требование единства классификации: если при классификации падежей в беспредложном употреблении точкой отсчета для функции служит глагол (или имя, от которого зависит падеж), то и здесь эта точка отсчета должна быть сохранена. Во-вторых, в сочетании «предлог — падеж» в русском языке не видно разумного формального основания для установления различных функций между членами: все падежи кажутся одинаковым образом связанными со всеми предлогами, с которыми они сочетаются. Такое отношение между падежом и предлогом не универсально, сравним немецкий язык, где, например, предлог *in* имеет три формы: *in* — *ins* — *im*, или древнегреческий, где имеется предлог ἐν и предлог εἰς, причем εἰς может рассматриваться как ἐν + ς. Предпочтительно поэтому найти более общий способ характеристики предложно-падежных сочетаний, опирающийся на более универсальные формальные показатели, а это и есть их отношение к глаголу. Выбор второго решения был бы возможен в одном из двух случаев. Во-первых, если бы считать формальным показателем — своего рода «длинной, прерывистой морфемой» — самое сочетание предлога с флексией падежа, например, *у — дом — а*, что и делает Е. Курилович (его латинский пример *extra — urb — em*). Но такое понимание, в общем возможное, сильно усложнило бы теорию, потребовав пересмотра понятия морфемы и составления нового, неизвестного доселе, списка морфем, состоящих в левой части из предлога, а в правой из флексии падежа, например: *под — ом*; *у — а*; *за — 0*; *по — у* и т. п. Во-вторых, второй путь был бы возможен, если предварительно провести семантическое описание падежей и отдельно предлогов, а затем установить функции между ними в сочетаниях «предлог — падеж», оценивая признаки значения. Такое решение не только возможно, но его действительно разработал Ю. Н. Караулов, причем выяснилось весьма интересное обстоятельство, заключающееся в том, что одни сочетания предлога с падежом в русском языке должны расцениваться как согласование (например, *на* + В; *под* + В, Т), а другие как управление (например, *в* + П; *с* + Р, В, Т). Но такое разделение требует очень большого предварительного семантического исследования [12]. По всем этим причинам мы предпочитаем первый путь, т. е. на этом этапе классификации рассматриваем сочетание «предлог — падеж» как единство и оцениваем его функцию к глаголу или управляющему имени.

При этом функция двусторонней независимости (⟩—⟨) будет соответствовать такому, например, случаю, когда падеж употреблен с предлогом, но все это сочетание не зависит от глагола или имени: *гулять* ⟩—⟨ *по вечерам*, *дорога* ⟩—⟨ *под гору*; *шкаф* ⟩—⟨*под орех*, *разделать* ⟩—⟨ *под орех*. Функция односторонней зависимости (→) соответствует тому случаю, когда глагол управляет падежом посредством предлога: *сосредоточиться на работе*, но за исключением случаев, относящихся к следующей группе.

[12] См.: Ю. Н. Караулов, Таксономия падежей и предлогов (семантика) Автореф. канд. диссерт., М., 1967, стр. 25—26.

Функцией двусторонней зависимости (←→), соответствующей в беспредложном употреблении согласованию: *мальчик прыгал*, *девочка прыгала*, здесь естественно будет назвать такое управление, когда предлог повторяет приставку глагола: *въехать в город*; *вдаваться в подробности*; *отступить от принципа*; *соскочить с лошади*; *наткнуться на сучок*; *зацепиться за крюк*; *зайти за товарищем*; *подскочить под потолок* и т. п. В самом деле, здесь один формальный показатель распространяется путем повторения его на связанную группу слов, как это всегда имеет место при согласовании. Сначала кажется странным, что на основе этой классификации словосочетания *въехать в город* и *ехать в город* попадают в разные группы. Но в сущности здесь нет ничего странного, так как у этих сочетаний сходная синонимичная семантика, но разная форма с точки зрения связей в абстрактной синтагматике. Не следует удивляться также и тому, что здесь в одной группе оказываются такие случаи, как *соскочить с* (*лошади*), полностью соответствующие нашему утвердившемуся представлению о согласовании как о свободном сочетании элементов, а с другой стороны, такие случаи, как *вдаваться в подробности*, где согласование почти не мотивировано смыслом. Ведь функции установлены на основании чисто синтагматических зависимостей без учета значения соединяющихся слов и элементов и сами по себе не являются знаком какого-либо значения. Функции, являющиеся знаком отчетливого значения, составляют всего лишь частный случай в этой группе [13] и потому, если и должны быть выделены, то лишь на одном из следующих этапов классификации. (Такое дальнейшее разделение согласования, действительно, возможно, например, на подгруппы «немотивированного — мотивированного согласования», что аналогично разделению управления на немотивированное и мотивированное [14].)

Результаты такой классификации по основным предлогам представлены в табл. 2 (опущены по соображениям места менее интересные для общих выводов предлоги, употребляющиеся с одним каким-либо падежом: *к* с Д, *от* с Р и предлоги, не имеющие параллели в глагольных приставках: *между*). Примеры в таблице не являются подбором ни словосочетаний как лексических единств, ни синтагм как групп слов в предложении, они могут оказаться и тем и другим, они взяты лишь для иллюстрации интересующего нас здесь вопроса и поэтому обозначены как «тип контекста».

Как видно из табл. 2, и в предложном употреблении падежей синтагматический принцип вскрывает четкие группировки, самое общее свойство которых заключается в том, что, если предлог употребляется в данном типе контекста только с одним каким-нибудь падежом, то сочетание имеет к глаголу только функцию ↔ или только функцию → (все примеры 1 и 2 в первых четырех классах), и таким образом эти сочетания образуют один класс с отчетливым разбиением внутри него; если же предлог употребляется в данном типе контекста с двумя падежами, то этому соответствует

[13] А. М. Пешковский распространял особенности этого частного случая на все случаи функций. Он писал: «Не следует также себе представлять, что... в самую связь не вкладывается никакого смысла. Такое предположение легко опровергается т е м и случаями (разрядка наша.— *Ю. С.*), когда одни и те же слова могут п о - р а з н о м у связываться между собой: *ударяю палкой* и *ударяю палку*, *обещаю тебе* и *обещаю тебя*... А если это так, то это значение может заключаться здесь только в установлении связи между теми реальными п р е д с т а в л е н и я м и, которые обозначаются данными словами, или, как говорят в грамматике, в установлении известных отношений между этими представлениями» («Русский синтаксис в научном освещении», М., 1956, стр. 53). Здесь хорошо видно, как за последние десятилетия изменился общий взгляд на язык — от психологического к семиотическому.

[14] Подробное изучение последнего в одном из его видов на польском материале см. в работе: М. В В с е в о л о д о в а. Временные конструкции современного польского языка. Автореф. канд. диссерт., М., 1966.

Таблица 2

Класс	Сочетание «предлог + падеж» и тип контекста	Функция к глаголу		
		⟷	→	>—<
I	1) *в* + В, *войти в город*	+	—	—
	2) *в* + П, *быть в городе*	—	+	—
	3) *в* + В, П, *жить в эту эпоху, в этой стране*	—	—	+
II	1) *на* + В, *надеть на голову*	+	—	—
	2) *на* + П, *держать на голове*	—	+	—
	3) *на* + В, П, *на свежую голову, на моих глазах, на бегу*	—	—	+
III	1) *за* + В, *зайти за угол*	+	—	—
	2) *за* + Т, *стоять за углом*[1]	—	+	—
	3) *за* + В, Т, *за проступок, за молодостью лет*	—	—	+
IV	1) *под* + В, *подъехать под крышу, подойти под правило*	+	—	—
	2) *под* + Т, *стоять под окном*	—	+	—
	3) *под* + В, Т, *под орех, под хреном*	—	—	+
V	1) *с* + Р, *сбросить с плеч, списать с дяди*	+	—	—
	2) *с* + Т, *соединить с кем-чем, списаться с дядей*	+	—	—
	3) *с* + Р, Т, *рисование с натуры, с большой буквы, пирог с капустой*	—	—	+
VI	1) *по* + Д, *ходить по полю, соревнование по лыжам*	—	—	+
	2) *по* + В, *ходить по ягоды, стоять по пояс в воде*	—	+	—
	3) *по* + П, Д, В, *по истечении срока, по желанию, по горло*	—	—	+
VII	1) *о* + В, *удариться о камень*	—	+	—
	2) *о* + П, *говорить об этом*	—	+	—
	3) *о* + В, П, *бок о бок, палка о двух концах*	—	—	+

[1] Оборот *зайти за кем-чем* здесь не учитывается, потому что он слишком частный — только при подлежащем, означающем лицо.

всегда функция >—<(все примеры 3 во всех семи классах), и, следовательно, с синтагматической точки зрения эти сочетания образуют другой класс, отчетливо противопоставленный первому, но внутри себя с синтагматической точки зрения не имеющий отчетливых разбиений (ср. параллелизм с табл. 1 по группе Д, Т, П); при необходимости установить группировки внутри последнего класса придется обратиться к иным, уже морфологическим и семантическим критериям (с помощью чего только и можно будет различить *шкаф под орех — ящик под сливу; ходить под валета — ходить под богом* и т. п.) [15].

Основная черта, выявляющаяся во второй, предложной части падежной системы (см. табл. 2) при сравнении с первой (см. рис. 1), заключается в появлении иной корреляции — противопоставлении — движения (В) — покоя (П, Т, но также, хотя и в меньшей степени, Д) (примеры 1, 2 всех классов за исключением VII). В остальном же установленные выше беспредложные отношения падежей во второй части системы поддерживаются,

[15] Об этом следующем этапе классификации и его принципах см.: Ю. С. Степанов, Структурно-семантическое описание языка, М., 1966, особенно стр. 8 и сл.

а местами и усугубляются: Т становится обусловленным синонимом П (местного), а именно, обусловленным положением после предлогов *за*, *под* (примеры 2 первых четырех классов). В этой позиции и П и Т, обозначающие местонахождение, равно противопоставляются В, обозначающему при тех же предлогах движение (примеры 1 тех же классов). Все падежи попарно образуют обусловленные синонимичные пары вне контекстов с противопоставлением движения — покоя (примеры 3 всех классов), причем Д и П в одном случае достигают полного синкретизма: *скучать по нем — по нему*. Новым по сравнению с первым этапом классификации является там участие В во всех синонимических отношениях с другими падежами. Р и Т сохраняют отношения омонимии (примеры 1, 2 из V класса).

По соображениям места мы вынуждены оставить дальнейшее развитие самой классификации, далеко не исчерпав и тех данных, которые можно извлечь из полученных рубрик, и перейти к некоторым ее следствиям.

V. Может быть, наиболее интересный вывод, который получается в результате совмещения классификаций, заключается в следующем: при классификации парадигматических форм с точки зрения синтагматики мы получаем не что иное, как диахронические ряды, могущие быть довольно отчетливо расположенными в последовательности их появления в языке.

Система И — В, наиболее отчетливо противопоставленная двум другим, уходит в своем генезисе за временные рамки балто-славянских языков в прошлое, быть может, в пору образования индоевропейской языковой общности и соответствует системе двуосновного склонения с активным и пассивным падежами, привнесенной одним из компонентов складывающейся в V—VI тысячелетиях индоевропейской общности [16].

Система Р относится, несомненно, к более позднему этапу, уже внутри сложившейся индоевропейской общности, где и переживает еще известные преобразования форм, общих балтийскому и славянскому, как об этом свидетельствуют расхождения между славянским, с одной стороны, и балтийским, с другой (в частности, в слав. Р мн. числа $ŭ < *ŏn$, $ŏm$, в балт. Р мн. числа $ū < *uon < *ōn$, $ōm$ и др.).

Что касается системы пространственных падежей Д, Т, П (местного), то в свете последних данных ей следует отвести даже еще более позднее место в относительной хронологии балто-славянских языков. Предполагается, например, что прусский язык, не имеющий инструментального и местного падежей, не утратил их, а, напротив, представляет более древнюю парадигму склонения, чем литовский и латышский, и что, например, прусское наречие *bītai* или литовское *namiẽ*, *oriẽ* никогда не были падежными формами [17].

В предложной подсистеме падежей ряды появляются в том порядке 1—2—3, в каком они стоят в каждом из классов табл. 2. Ограничимся только несколькими примерами:

Эпоха 1: *Иде Кыевъ*
Эпоха 2: *Иде Кыеву, вьниде Кыевъ*
Эпоха 3: *Иде Кыеву, вьниде въ Кыевъ* [18].

---

[16] См., например: Б. В. Горнунг, К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности, М., 1964.

[17] J. Kazlauskas, Lietuvių kalbos istorinė gramatika, Vilnius, 1968, стр. 136.

[18] См., например: Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, М., 1953, стр. 175.

Опредложивание местного падежа, начавшееся и далеко продвинувшееся в общеславянскую эпоху, завершается после утверждения типа *вьниде въ Кыевъ* [19], т. е. в эпоху 4.

Синонимия падежей в предложных словосочетаниях, включая В, широко развивается лишь со становлением национального и позднее литературного русского языка, в эпоху 5, т. е. в новое время.

Когда кульминационный момент в развитии падежной системы пройден, то в общем по тем же группам, но в обратном порядке, происходит в индоевропейских языках и постепенная утрата падежей,например, от латыни к романским или в английском. Так, в современном английском функции И и В передаются порядком слов; функции Р во многих случаях так называемым саксонским родительным с флексией *-s-*; Д, Т и П (местный) — различными сочетаниями предлога с именем, т. е. эти три группы функций передаются трем различным грамматическим подсистемам. Причем то, что, по предположению, оформилось позднее всего,—группа Д,Т, П (местный), — то быстрее всего и исчезло; средняя группа — Р в современном английском существует в виде флексии, но с тенденцией к ограничению сферы употребления, И и В воплотились в неизменяемой м а т е р и а л ь н о й ф о р м е современных английских (также романских) существительных, закрепившись таким образом прочнее всего.

Эти положения сам автор не считает доказанными и высказывает их в порядке гипотезы.С той же оговоркой можно обратить внимание и на то, что поскольку каждая группа характеризуется одной из синтагматических функций, то появление последних в соответствии с данными классификации также может быть представлено в исторической последовательности (ср. особенно строки 1—2—3 в классах I, II, III, табл. 2): функция ↔ вероятно, предшествует генетически функции →, а эта последняя функции >—<. Тем самым мог бы, возможно, получить и более определенную формулировку уже высказывавшийся тезис о стадиальности развития предложения [20].

Таким образом, подводя итог всему сказанному здесь, можно предполагать, что совмещение парадигматического и синтагматического описаний само собой приводит, по крайней мере в некоторых случаях, к совмещению синхронического и диахронического описаний. Если это положение подтвердится на более широком материале, то оно заставит, вероятно, ввести постулат, обратный знаменитому постулату де Соссюра о противопоставлении последних.

[19] Там же, стр. 181; В. И. Б о р к о в с к и й, П. С. К у з н е ц о в, Историческая грамматика русского языка, М., 1965, стр. 479 и сл.

[20] Ср.: В. В. В и н о г р а д о в, Учение А. А. Потебни о стадиальности развития синтаксического строя в славянских языках, «Вестник МГУ», 1946, 3—4.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1968

Т. М. НИКОЛАЕВА

О СООТНОШЕНИИ СЕГМЕНТНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ И СУПЕРСЕГМЕНТНЫХ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ

(Выбор интонемы при чтении)

1. Описать сегментные средства письменного текста, которые побуждают читающего выбирать при чтении тот или иной тип интонации, — это значит перечислить их, указав на их иерархию, если таковая существует, и, в конечном результате, предсказать чтение нового текста. Под предсказанием при этом понимается не только точное указание на то, какой суперсегментный (интонационный) показатель будет выбран, но и указание на свободу выбора (в случае отсутствия опорных точек в тексте).

Речь идет только о чтении, т. е. о звуковом представлении заданного отрезка. Поэтому выводы нашего исследования нельзя механически переносить на свободное речеговорение — процесс абсолютно не изученный и относящийся к самым сложным сторонам речевой деятельности человека: в этом случае изучение соотношения уровня интонирования фразы и собственно строевого уровня требует специального экспериментального анализа [1].

Материалом исследования служили русские сложные предложения, состоящие из двух простых. Такой выбор объясняется тем, что при устном произнесении граница между предложениями, составляющими сложное предложение, обычно фиксируется и синтагматическое членение совпадает таким образом с синтаксическим и смысловым [2].

В простом предложении членение на синтагмы более свободно и непредсказуемо. Кроме того, хотя и принято считать, что отношения между группами, составляющими простое предложение, аналогичны отношениям между членами сложного предложения, эта ситуация далеко не аналогична, поскольку наличие союза, почти всегда лексически значащего, является маркированным показателем отношений внутри сложного предложения. Более того, простое предложение часто бывает эллиптировано по далеко еще не изученным в настоящее время законам [3]. В этом смысле простое предложение может, как это ни парадоксально, считаться вырож-

[1] Попытку найти место интонации при порождении текста методами так называемой генеративной грамматики см.: R. P. Stockwell, The place of intonation in a generative grammar of English, «Language», XXXVI, 3, 1960.

[2] Ср. у А. М. Пешковского: «...границы между предложениями при нормально-выразительном чтении почти всегда отмечаются теми или иными ритмико-мелодическими признаками» (А. М. Пешковский, Знаки препинания и научная грамматика, в кн.: А. М. Пешковский, Школьная и научная грамматика, М., 1918, стр. 100). О стабильности членения сложных предложений писали неоднократно (см., например: Е. А. Брызгунова, Практическая фонетика и интонация русского языка, М., 1963, стр. 170).

[3] Сложность механизма «обратного процесса» восстановления исходных конструкций из эллиптированных показывается, в частности, И. П. Белецкой-Севбо (И. П. Севбо, Об изучении структуры связного текста, сб. «Лингвистические исследования по общей и славянской типологии», М., 1966).

денной структурой по отношению к сложному, в котором смысловые отношения выражены, а синтаксические — более просты.

Не рассматривались и многосоставные сложные предложения, поскольку заранее очевидно, что интонационная структура сложного предложения, состоящего более чем из двух частей, не количественно, но качественно отлична — она представляет собой не перечень, но иерархию отношений [4].

Таким образом, изучались сложные двусоставные предложения, рассмотренные по одному на каждый принятый в существующей традиции синтаксический тип. Эти предложения подвергались нижеследующим проверочным преобразованиям: 1) менялись места главного и придаточного предложений (ср. *Если вы навестите меня, я буду рад* и *Я буду рад, если вы навестите меня*); 2) в полученных таким образом двух предложениях опускался союз (*Как мне говорили, отец ее уже умер* → *Мне говорили, отец ее уже умер*; *Мы пошли домой, потому что пошел дождь* → → *Мы пошли домой, пошел дождь* и т. д.); 3) между главным и придаточным предложениями вставлялись разные пунктуационные знаки (запятая, тире, двоеточие и скобки). Исходные предложения, а также предложения, полученные в результате описанных преобразований, читались дикторами — носителями русского языка; чтение записывалось на магнитофонную пленку. Магнитофонная запись переводилась затем в осциллографическую. Полученные осциллограммы обрабатывались в виде графиков в соответствии с принципами, изложенными в книге Л. В. Бондарко [5]. Полученные данные электроакустического анализа, а также слуховые наблюдения служили исходным материалом анализа [6].

2. При выборе единиц, в которых будет отмечаться специфика просодической передачи письменного текста, разумеется, речь не может идти о собственно физических величинах, выражающих интонацию (гц, мсек и т. п.). Такими единицами должны быть некоторые абстрактные величины просодического уровня, для которых нужно определить их лингвистический статус [7].

Существующее разнообразие в классификации таких единиц определяется самой спецификой звукового функционирования интонации. Наиболее ранняя точка зрения на этот вопрос покоится на следующем силлогизме: фонология есть наука о смыслоразличительной функции звуков, единицы интонации есть звучащие смыслоразличители, следовательно, единицы интонации есть фонемы [8]. Принято называть их надлинейными, или суперсегментными, фонемами [9]. Если же принять знаковый характер

[4] Об иерархии отношений для таких предложений в письменной форме языка, см.: Е. В. Падучева, О структуре многосоставных сложных предложений в русском языке, сб. «Лингвистические исследования по общей и славянской типологии», М., 1966 (по существу, здесь дается грамматика таких предложений).

[5] Л. В. Бондарко, Осциллографический анализ речи, Л., 1965.

[6] Вопросы техники и методики получения просодических данных, а также разного рода проблемы, связанные с конкретным изучением просодического уровня, в настоящей работе опускаются. Они подробно рассматриваются в работе автора «Интонация предложения в славянских языках» (в печати).

[7] Из того, что интонационные факты признаются фактами лингвистическими, не следует, что этим отрицается возможность интонации передавать экстралингвистические явления: интонационными средствами они передаются так же, как и средствами других языковых уровней.

[8] Традиция эта восходит к Л. Блумфильду, назвавшему интонационные единицы вторичными фонемами. См.: Л. Блумфильд, Язык, М., 1968, стр. 89; см. также: B. Bloch, G. L. Trager, Outline of linguistic analysis, Baltimore, 1942, стр. 42—52; B. Malmberg, Structural linguistics and human communication, Berlin — Göttingen — Heidelberg, 1963, стр. 110.

[9] З. Харрис предлагает различать два способа деления звукового потока — сукцессивный, при котором выделяются сегментные и суперсегментные элементы, и си-

просодических единиц (что признается далеко не всеми лингвистами [10]), то интонация выводится из фонологии, и интонационные единицы считаются морфемами, т. е. наименьшими значимыми единицами [11]. Тогда единицами просодии — фонемами окажутся минимальные единицы, формирующие интонационную морфему, но сами значения не имеющие [12]. Однако и на этом последнем пути возникает немало трудностей. Так, сами понятия «морф», «морфема» часто (особенно в русской традиции) связываются только с определенным языковым уровнем со своим специфическим набором содержательных категорий. Тогда интонационные единицы, будучи значимыми сами по себе, окажутся вне соотнесенности с языковыми категориями, обычно закрепляемыми за морфологией. Так возникает мысль об отнесении интонационных единиц к специфически функционирующему языковому уровню — просодематике [13].

Известны два различных подхода к интонации. При комплексном понимании интонация есть пересечение (комбинация) гетерогенных просодических явлений — основного тона, темпа, типа стыка, интенсивности, ритмической структуры, причем каждый из этих параметров обладает своими специфическими единицами со своим значением — тонемами, хронемами, акцентемами и под. [14]. При более узком понимании интонации — это только мелодика, и таким образом существуют только тонемы. В настоящей работе единица интонации — интонема — понимается как связанный пучок просодических значений [15]. Такой взгляд на интонему явился результатом экспериментальной работы, данные которой показали: а) величины, формирующие интонацию, есть носители самостоятельного грамматического значения — связанности/несвязанности (мелоди-

мультанный, при котором звучащая речь как бы «разрезается» и все просодические явления — тон,тембр, сила, длительность—приписываются тому звуку, в течение фонации которого они осуществляются (Z. Harris, Simultaneous components on phonology, «Language», XX, 4, 1944). В последнее время против идеи «суперсегментности» выступили А. В. Исаченко и Х.-Й. Шэдлих, подчеркивающие, что все просодические явления осуществляются на конкретном участке звуковой цепи (A. V. Isačenko, H.-J. Schädlich, Untersuchungen über die deutsche Satzintonation, Berlin, 1964, стр. 35—36).

[10] Так, например, Б. Сиртсема полагает, что интонационные единицы самостоятельного значения не имеют (B. Siertsema, Timbre pitch and intonation, «Lingua», XI, 1962, стр. 395—396).

[11] См., в частности: D. Bolinger, Interrogative structure of American English, Indiana, 1957, стр. 14; K. Pike, The ierarchical and social matrix of suprasegmentals, «Prace filologiczne»,18, Warszawa, 1965; Г. Глиссон, Введение в дескриптивную лингвистику, М., 1959, стр. 88; R. S. Wells, The pitch phonemes of English, «Language», XXI, 1, 1945; P. Roberts, Intonation, «Essays on language and usage», New York, 1963, стр. 180; Z. Harris, Simultaneous components on phonology.

[12] Однако при определении соотношения фонем и морфем в просодии возникает ряд трудностей. Так, ударение — фонема или морфема? В слове, очевидно, фонема т. е. компонент морфемы, но если это слово несет фразовое ударение, то морфема. Разбирая такие случаи, К. Пайк предлагает употреблять эти термины более осторожно или не употреблять совсем (K. Pike, The intonation of American English, Ann Arbor, 1947, стр. 177). В. Тводл считает, что противоречивость суперсегментных терминов обусловлена принципиальной противоречивостью самого явления (W. F. Twadell, Stetson's model and the «suprasegmental» phonemes, «Language», XXIX, 4, 1953, стр. 417).

[13] См.: A. Rigault, Réflexions sur le statut phonologique de l'intonation, «Proceedings of the IX International congress of linguists», The Hague, 1964, стр. 856.

[14] D. Jones, Chronemes and tonemes, «Acta linguistica», IV, Copenhagen, 1, 1944; E. Haugen, Phoneme or prosodeme, «Language», XXV, 3, 1949.

[15] Понимание интонемы как обусловленного и несвободного сочетания просодических единиц не является новым; сходный подход уже предлагался неоднократно. См , например: С. М. Гайдучик, Интонационные модели немецкого языка, «Пытання мовознаўства методыкі выкладання моў»,Мінск,1965; V. A. Vasiliev, Sintaksičeskaja rol intonacii.«Phonetica», 12,№3—4,1965;I. Mahnken, Studien zur serbokroatischen Satzmelodie, Göttingen, 1964, стр. 21; M. Romportl, Zum Wesen der Intonation, «Proceedings of IV Congress of phonetic sciences», The Hague, 1962.

ка), важного/неважного (темп) и под. [16] Разумеется, это условные определения, они приводятся с чисто иллюстративной целью (увлечение поиском дефиниций таит в себе опасность замены таких общих значений значениями другого, собственно синтаксического уровня). Единицы этих величин образуют парадигматические ряды [17]; б) эти единицы не сочетаются в любых произвольных комбинациях, а образуют связанные пучки — интонемы; без этой связанности интонема не существовала бы как самостоятельная языковая единица. Таким образом, предлагаемое понимание интонемы аналогично предложенному некоторыми авторами пониманию морфемы [18], или элементарной грамматической категории (по И. И. Ревзину) [19]. Признаки, составляющие интонему, таким образом, совместимы и неоднородны [20].

Постараемся показать, как можно пользоваться предложенным понятием интонемы в качестве рабочего понятия просодического описания. Интонемы создаются связанными корреляциями парадигматических значений, входящих, например, в такие парадигмы [21]: трехчленная парадигма соотношений темпа: 1) равновесный темп обеих синтагм, 2) темп второй синтагмы более медленный, 3) темп второй синтагмы более быстрый; трехчленная парадигма паузальных величин: 1) минимальная, 2) средняя, 3) максимальная; трехчленная парадигма мелодических отношений: 1) мелодика первой синтагмы восходящая, обе синтагмы расположены на одной высоте, 2) мелодика первой синтагмы нисходящая, обе синтагмы расположены на одной высоте, 3) мелодика первой синтагмы нисходящая, синтагмы расположены на разных тональных уровнях. Например: интонема 1—1—1 [22] (т. е.: темп равновесный, пауза минимальная, мелодика первой синтагмы восходящая). Эта интонема реализуется в большинстве повествовательных предложений (как простых, так и сложных) — ср. *На окраине большого города вырос новый квартал*; *Если ты не забыл, принеси книгу завтра*; *Я читаю, а он пишет* и т. д. Интонема 1—2—1 (темп равновесный, пауза средняя, мелодика первой синтагмы восходящая). Реализуется в предложениях типа *Назвался груздем — полезай в кузов*; *Ближе к городу, меньше деревьев*; *Стоило ему войти, как все притихли* и т. д. Интонема 3—3—3 (темп второй части более быстрый, пауза максимальная, мелодика разновысотная, в первой синтагме нисходящая). Реализуется в основном в предложениях с поясняющим значением второй синтагмы типа *Мы быстро вернулись домой* (*встречаться с учителем не хотелось*).

На основании сказанного может создаться впечатление, что число интонем принципиально равно общему числу возможных комбинаций реализующихся членов парадигмы (т. е. в нашем случае $3^3 = 27$ возможностей). Однако это не так. Более того, именно речевая связанность одних комбинаций и принципиальная нереализуемость других и создают статус лингвистической единицы для интонемы. Так, в частности, уже давно указывалось на необходимую связь пауз разного типа и предваряющих их видов мелодического рисунка [23].

---

[16] О том, что фразоразличительные средства есть сами по себе «знаки», писал еще Н. С. Трубецкой («Основы фонологии», М., 1960, стр. 254).

[17] Неясной в нашем исследовании осталась роль интенсивности как самостоятельного просодического параметра. Интересно, что Д. Джоунс («Chronemes and tonemes») писал, что ударение (сила) не может быть организовано в ряды, поскольку важно место, а не количество. Однако введение/невведение акцентем принципиально ничего не изменит в предлагаемой трактовке интонемы.

[18] См.: В. В. Иванов, В. Н. Топоров, Санскрит, М., 1960, стр. 80; З. М. Волоцкая, Т. Н. Молошная, Т. М. Николаева, Опыт описания русского языка в его письменной форме, М., 1965, стр 39.

[19] И. И. Ревзин, Модели языка, М., 1962, стр. 74.

[20] Там же, стр. 75—76.

[21] Такого типа парадигмы использовались автором при работе по описанию фразовой интонации славянских языков.

[22] Необходимо еще раз подчеркнуть абсолютную условность приводимых цифровых номенклатур.

[23] Отмечалось совпадение повышающейся мелодики и небольшой паузы, с одной стороны, и длительной паузы и понижающейся мелодики — с другой (см.: H. Richter, Kolloquium Rothenberge 10/11 Juni 1963. Thema: auditive Erfassung der Intonation, «Phonetica», 12, №1—2, 1965, стр. 109; K. L. Pike, The intonation of American English, стр. 152. А. М. Пешковский подчеркивал, что в понятие синтаксической паузы необходимо включать и связанную с данной паузой интонацию (А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, 7-е изд., М., 1956, стр. 458).

Интонема — это различаемая в речевом употреблении единица, передающая тип отношений между звуковыми единицами — синтагмами и представляющая собой связанный пучок значений отдельных просодических величин. Реализуется и определяется интонема лишь в контрастном сопоставлении синтагм в потоке речи. За акцентами, тонемами, хронемами целесообразно сохранить общее название просодем.

Существенным в приведенном определении является оговорка о необходимости контрастного сопоставления синтагм при реализации интонемы. При разного рода идентификациях и описаниях интонационных единиц и «интонационных фигур», как представляется, камнем преткновения было одно обстоятельство, не лежащее на поверхности, но ведшее к пестроте интонационных определений. Речь шла по существу о несопоставимых явлениях. Так, при комплексном понимании интонации оказываются несопоставимыми по ряду признаков односинтагменные и многосинтагменные высказывания. Действительно, при описании интонационных свойств односинтагменного высказывания (или конца многосинтагменного высказывания, которое в этом смысле идентично односинтагменному) ряд перечисленных просодических параметров практически не имеет смысла. А именно — показатели темпа становятся нерелевантными, так как они относительны — медленное произнесение является таковым лишь по отношению к быстрому. Понятие паузы теряет смысл как таковое, так как, произнося отдельное высказывание, мы как бы вырываем его из «вечного молчания». И только один просодический параметр — мелодика — ведет себя одинаково в односинтагменных и многосинтагменных высказываниях, подвергаясь лишь различной интерпретации (незавершенность иногда приравнивается к вопросу и т. д.). Таким образом, в единичных односинтагменных высказываниях реализуются только тонемы. Недаром при узко мелодическом понимании интонации изучение любого корпуса синтаксических данных было теоретически более ясным и представляло возможность единообразно описать и приравнять друг другу большое число интонационных фактов.

3. Принятое определение интонемы позволило сопоставлять чтение отрезков текста разными дикторами с разными индивидуальными просодическими характеристиками. Система интонем явилась таким образом эталоном для сравнения — данные сравнивались в относительных, а не в абсолютных величинах. Интерпретация материала производилась двояким образом.

Во-первых, определялось чтение примеров в соответствии с показателями сегментации письменного текста — например, тип чтения при запятой, при тире и т. д.. При этом выводились среднеарифметические данные по отдельным показателям и строились кривые статистического распределения случаев, показывающие уточненные данные, наиболее характерные для каждого сегментного показателя. При этом кривые статистического распределения случаев указывали и на отклонение от наиболее характерных данных. Эти отклонения специально изучались с целью найти в них рефлексы иной системы, не представленной количественно более яркими показателями. Такого рода анализ проводился для четырех просодических величин — паузы (отсутствие реальной паузы фиксировалось как нулевая пауза [24]), темпа, мелодики и интенсивности.

Во-вторых, все примеры, независимо от факта наличия или отсутствия союза, типа союза и типа пунктуационного знака, компоновались по группам, объединенным тождеством чтения. Тождественное чтение в дан-

[24] См. об этом: Fr. D a n e š, Intonace a věta ve spisovné češtině, Praha, 1957, стр. 131—132.

ном случае — это произнесение с одной и той же интонемой, передающей отношения между синтагмами. Состав каждой полученной таким образом группы анализировался.

Этот двоякий анализ привел к следующей гипотезе:

I. В письменном тексте (принятой степени сложности) существует три вида указателей его сегментации: 1) союзы (или другие служебные слова), 2) указатели лексического характера, 3) знаки препинания.

II. Внутри каждого типа сегментных указателей различаются маркированные и немаркированные члены.

III. Типы сегментных указателей неравноправны по силе воздействия на выбор интонемы. Они организованы по следующей иерархической шкале: союзы важнее лексических указателей, лексические указатели важнее знаков препинания (С > Л > ЗП).

IV. При чтении одних и тех же текстов разными дикторами наибольший «разнобой» в выборе интонемы должен проявляться там, где ни один из сегментных указателей не представлен маркированным членом; степень возможного совпадения в интонировании предложений с маркированными членами должна определяться иерархией указателей.

Остановимся на сказанном подробнее. Понятие маркированного и немаркированного членов оппозиции имеет смысл при введении некоторой заданной отличительной черты, в соответствии с которой происходит деление на маркированные и немаркированные члены. Во многих случаях маркированность находит поддержку в плане выражения, когда содержательная маркированность подкрепляется субстанциальной выраженностью (такие ряды отмечаются, например, в морфологии). Однако в ряде случаев выбор маркированного и немаркированного члена принципиально не обусловлен.

В нашей работе распределение маркированности / немаркированности членов рядов сегментных указателей определялось по отношению к некоторой внешней по отношению к ним совокупности фактов. Так, одна из интонем, выбираемых при чтении, была объявлена исходной. Статистически она представлена самой большой группой примеров [25]. Это реально наиболее распространенный тип чтения двучленных высказываний типа *Я знаю, что ты придешь*; *Когда он пришел, было уже поздно*; *Я читаю, а он пишет* и т. п. На просодическом уровне эта интонема раскрывается как состоящая из нулевой или минимальной паузы, равновесного (или почти равновесного) темпа обеих частей и восходящей мелодики в первой синтагме (см. выше 1—1—1).

Распределение маркированности / немаркированности сегментных указателей осуществлялось по отношению к этой интонеме: те указатели, при наличии которых выбиралась эта исходная интонема, считались немаркированными; те же указатели, наличие которых диктовало выбор иной интонемы, отличной от исходной, считались маркированными. Так, например, оказались маркированными присоединительные союзы типа *отчего*, *причем*, *и* (в присоединительном значении [26]). Из знаков препинания не маркирована запятая и маркировано двоеточие и т. д.

---

[25] Л. В. Бондарко показывает также, анализируя функционирование на фонологическом уровне твердых и мягких коррелятов, принципиальное преобладание по числу употреблений твердых согласных — немаркированных, в противовес мягким — маркированным и менее часто представленным (Л. В. Бондарко, Некоторые замечания по поводу маркированности — немаркированности членов фонетических противопоставлений, сб. «Исследования по фонологии», М., 1966). Ср. также: «Из двух членов привативной оппозиции немаркированный член в связной речи встречается чаще, чем маркированный» (Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, стр. 292).

[26] Регулярную специфичность прочтения предложения с придаточным присоединительным отмечает для русского языка В. Ф. Мильк, для английского языка —

Наиболее сложно в конструктивном отношении оказалось определение маркированности лексических указателей[27]. Интуитивно лексическая обусловленность типа связей между частями сложного предложения ощущается каждым носителем языка; на уровне же лингвистического описания формальных определений не существует. Обратимся к некоторому набору пар простых предложений:

Начнется война / король утратит мужество;
Стало душно / я вышел;
Он понял / узнали правду;
Уйти незаметно было нельзя / он вышел открыто;
Не успел он войти / все притихли.

Попробуем подставлять возможные союзы — экспликаторы отношений внутри сложного предложения — в приведенные ряды. Очевидно, что в первом случае число возможных союзов окажется очень большим (*Если начнется война, король утратит мужество*; *Начнется война, потому что король утратит мужество*; *Начнется война, когда король утратит мужество*; *Так как начнется война, король утратит мужество*; *Когда начнется война, король утратит мужество* и т. д.). Во втором случае число возможных союзов явно уменьшается (*Стало душно, и я вышел*; *Поскольку стало душно, я вышел* и т. д., но не *Если стало душно, я вышел*). Двигаясь по приведенному ряду далее, мы видим, что для последней пары предложений оказывается возможным вставить лишь союз *как* [28]. Это допустимое количество вставляемых союзов при соединении двух частей есть мера маркированности лексических указателей в предложении (число, взятое с обратным знаком — чем меньше это число, тем больше оснований считать лексический состав двух соединяемых предложений маркированными).

При более детальном подходе проблема маркированности лексических указателей оказывается сложнее, поскольку на выбор возможного подставляемого союза оказывает влияние не только состав лексем, но и словоизменительные категории, например, сказуемого, т. е. изменения «синтаксической парадигмы» [29].

Предложенная иерархия указателей была выведена эмпирически. Так, при изучении просодических характеристик отдельных примеров (напоминаем, что все они в равной степени подвергались указанным выше модификациям) было обнаружено, что предложения с ощущаемым маркированным лексическим составом не изменяли просодических характеристик при подстановке (замене) знака препинания — при всех возможных подстановках. Так, например, произносилось предложение *Уйти незаметно было нельзя, он вышел открыто.* Кроме того, при анализе от-

---

Б. Блох и М. Коуэн (В. Ф. Мильк, Интонация присоединения в современном русском языке, «Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», XVIII, 1960, стр. 244; M. Cowan, B. Bloch, An experimental study of pause in English grammar, «American speech», XXIII, 2, 1948, стр. 96).

[27] Между тем именно лексический план выдвигался на первое место С. И. Карцевским при определении функционирования интонации предложения (S. Karcevski, La phonologie de la phrase, TCLP, 4, 1931).

[28] Из советских исследователей на необходимость специального изучения лексического состава соединяемых простых отрезков указала В. А. Белошапкова, выдвинувшая требование включения сведений об особенностях лексического наполнения предикативных единиц, составляющих части сложного предложения, в понятие «формулы предложения» (В. А. Белошапкова, О понятии «формула предложения» на уровне синтаксиса сложного предложения, в кн. «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. Советско-чехословацкий симпозиум 18—22 апреля 1967 г.», М., 1967, стр. 127—129).

[29] См.: Н. Ю. Шведова, Парадигматика простого предложения в современном русском языке, в кн.: «Русский язык. Грамматические исследования», М., 1967.

клонений от количественно преобладающего чтения пунктуационного знака обнаруживалось, что эти отклонения обычно бывают в предложениях с маркированным лексическим составом. Таково происхождение большой паузы в предложении *Он с ужасом увидел, они заехали в лес* (обычно при запятой выбирается минимальная или нулевая пауза). Из примеров обоих приведенных типов был сделан вывод, что лексический состав подчиняет себе пунктуационный знак (Л > ЗП). В то же время при введении союза (или,иначе,восстановлении его) оказывалось,что чтение примера меняется; так, примеры *Он с ужасом увидел, что они заехали в лес*; *Мы пошли домой, потому что пошел дождь*; *Он так покраснел, что его уличили во лжи* и т. д. читаются с исходной интонемой. Отсюда был сделан вывод, что союз может перечеркнуть силу воздействия лексических указателей и предопределить чтение предложения — т. е. С > Л [30].

Таким образом, в двусоставном сложном предложении могут быть представлены следующие ряды сегментных указателей:

	С	Л	ЗП		С	Л	ЗП
1.	+	+	+	6.	—	—	+
2.	+	+	—	7.	—	—	—
3.	—	+	+	8.	0	+	+
4.	+	—	—	9.	0	+	—
5.	—	+	—	10.	0	—	+
				11.	0	—	—

(Л — лексика, С — союз, ЗП — знак препинания, + маркирован, — немаркирован; 0 в графе С означает, что союза нет, так как бессоюзные предложения не есть предложения с немаркированным союзом).

Таким образом, если в предложении оказывается более одного маркированного сегментного показателя, то они могут находиться в следующих соотношениях: 1) указатели действуют «в разных направлениях» — тогда один из них побеждает (по принципу С > Л > ЗП); 2) указатели действуют в «одном направлении» — тогда выбирается интонема, указанная этим «направлением».

Принятие принципа трех видов сегментных указателей, иерархически организованных, объясняет возможность совпадения интонем при чтении предложений, внешне различных по составу. Так, в нашем эксперименте одинаковым было чтение предложений *Стоило ему войти, все притихли* и *Я читаю — он пишет* (в первом случае маркирован лексический состав, во втором — пунктуационный знак) или примеров *Его сильно обидели, и это было очень несправедливо* и *Завод получил новые заказы: началась война* (в первом случае маркирован союз, во втором — знак препинания). Подобные совпадения не могут быть объяснены с точки зрения теории единого произношения предложений с данным типом прида-

[30] Взаимодействие союза и лексического состава сложного предложения не учитывалось в должной степени А. М. Пешковским, когда он говорил о компенсирующей роли интонации при опущении союза, которая «становится более яркой» (А. М. Пешковский, Интонация и грамматика, в кн.: А. М. Пешковский, Избр. труды, М., 1959, стр. 181, а также «Русский синтаксис в научном освещении», М., 1956, стр. 49—52). Этот принцип может «работать» лишь в том случае, если лексический состав предложения, ставшего бессоюзным, маркирован и выражает тот же тип отношений, который ранее эксплицитно выражал союз. В противном случае предложение, ставшее бессоюзным, может быть прочитано абсолютно по-иному и закон Пешковского останется несоблюденным. В таких случаях на помощь приходит пунктуационный знак. Несомненно, что в примерах самого А. М. Пешковского знак меняется — из немаркированного делается маркированным (*Назвался груздем — полезай в кузов*). Признание предложенной иерархии сегментных указателей, как представляется, может объяснить случаи, когда при опущении союза пишущий меняет знак, интуитивно основываясь на принципе компенсации, выступающем при устном воспроизведении.

точного или единого произношения при данном знаке препинания (так в последнем случае полагал А. М. Пешковский).

Уже говорилось, что описание интонемы как связанного пучка просодических значений не предполагает обязательного называния или осмысленного перечня интонем, подобно тому, как не имеют собственного названия морфемы. Однако несомненно, что над интонемным уровнем существует некий высший по отношению к нему уровень, на котором следует говорить о значениях интонем, так, как это принято, скажем, в отношении падежных категорий [31]. В пределах этого уровня возможно функциональное совпадение на первичном уровне отличных интонем, их нейтрализация. Употребляемые иногда термины «интонация пояснения», интонация противопоставления» и т. д. есть попытка найти единицы высшего уровня интонационной семантики.Однако трудность выделения этих семантических единиц, как кажется, часто объясняется принципиальным неразличением сегментных и суперсегментных средств, когда некоторые выражаемые текстом значения (пояснительный или противительный союз и т. д.) приписываются интонационным характеристикам.

При увеличении объема исследуемых отрезков текста по сравнению с описанными в настоящей работе, несомненно, станет важным детальное изучение такой просодической характеристики, как ритм. Окажется важным также учитывать действие актуального членения (в наших примерах — небольших по объему и с заданным членением — эта область исключалась). Несомненно также, что дополнительным сегментным фактором явится линейное расположение элементов текста. При этом идея поисков опорных точек в тексте в их иерархии должна оказаться полезной и в этом случае.

[31] В последнее время высказывалось предположение, что этим высшим уровнем интонации является «метасемиотический ярус», на котором рассматривается использование данных средств для выражения различных эмоциональных оттенков речи (О. С. Ахманова, Э. А. Афонов, М. В. Давыдов, К вопросу о сущности и метаязыке синтаксической фонетики, сб. «Исследования по фонологии», М., 1966, стр. 221—223). Представляется, однако, что эмоциональная сфера есть особая сторона просодических характеристик, параллельная собственно синтаксической.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1968

Р. Р. ГЕЛЬГАРДТ

О СТИЛИСТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЯХ

ПОСВЯЩАЕТСЯ
БОРИСУ ГЕНРИХОВИЧУ УНБЕРГАУНУ

1. При сопоставлениях литературно нормализованных и внелитературных лексических средств по данным словарей вырисовываются отношения оппозиции. Словари современного русского языка, демонстрирующие литературную норму в ее лексическом проявлении, отграничивают слова, у которых есть качество литературности, от лексических единиц, этим качеством не обладающих. Идея оппозиционных отношений между ними формулируется стилистическими пометами; ремарка, которая причисляет то или другое явление к разряду просторечия, показывает, что «одни формы противополагаются другим, вполне литературным» (СУ, I, стлб. 26 [1]).

Уже само это определение несколько настораживает. Означает ли оно, что у просторечных слов и форм есть некоторая, хотя бы небольшая степень «литературности»?

Категория просторечия, как и некоторые другие понятия стилистики, трактуется разными источниками неоднозначно, нередко противоречиво, а широко бытующие определения стилистических окрасок лишены строгой точности научных дефиниций. Отношение просторечных слов к литературной лексике представляется довольно туманным, когда просторечие ставят «на границу литературного словоупотребления» (САН4, СО). Конечно, пребывание «на границе» не выводит явление за пределы литературного ареала. Просторечным словам отводят сферу устной разговорной речи, где они призваны быть средством эмоциональной выразительности (САН4, I, 6). Предполагается, что этот вид речевой деятельности «не связан с нормами литературного языка» (СУ, I, стлб. XXVI). Но ведь отсутствие связи с нормами литературного языка означает исключение устной разговорной речи из его пределов. Помета «просторечие» лишь предостерегает «от употребления слова в книжном языке» (СУ), а не закрывает ему сюда доступ. Ведь «запретительный характер» у нее бывает только при наличии синонимического типа дублетов в виде форм, полностью удовлетворяющих нормам литературного языка, и форм, «не вполне» обладающих этим качеством (СУ, I, стлб. 26).

Прямой смысл последнего замечания заключается в том, что просторечие допустимо в «книжном языке» тогда, когда у него нет «вполне литературных эквивалентов», которым оно могло бы быть противопоставлено. Неточность формулировок приводит к серьезному недоразумению.

---

[1] В статье приняты следующие сокращения: СУ — Д. Н. Ушаков, Толковый словарь русского языка, I—IV, М., 1935—1940; САН4 — «Словарь русского языка в четырех томах», I—IV, М., 1957—1961; СО — С. И. Ожегов, Словарь русского языка, 2-е изд., М., 1952; САН17 — «Словарь современного русского литературного языка», I—XVII, М.— Л., 1950—1965.

К разряду просторечия в лексикографии причисляют весьма различные явления лексики, далеко не всегда, как это утверждают, обладающие «некоторой грубостью содержания или резкостью его» (САН4, I, X), а также способностью быть «стилистическим средством для придания речи шутливого, пренебрежительного, иронического и т. п. оттенка» (СО, 6). Так, к просторечию отнесены слова типа *взгорок* (СНА4) наряду со *шлять-ся*, *вдрызг*, а также *намедни*, *давеча*, *желтая вода* (САН17), *чахотка* — последние два как обиходно-бытовые дублеты терминологических названий *глаукома*, *туберкулез* и др.

Представляется, что лексическое просторечие может быть уяснено как фонд лексики, образующий своего рода койне, общее для областных диалектов и для бытовой устной формы литературного языка, находящейся в его периферийной, пограничной зоне. Дифференцированный подход к письменной и устной формам языка, дальнейшая детализация отношений между литературно-нормализованной и некодифицированной лексикой приблизят к установлению инвентаря лексического просторечия. «Инвентарная опись», выполненная с точностью, достижимой в деле квалификации феноменов, связанных со стилистикой, позволит выявить лексику, пребывающую в зоне соприкосновения литературного языка с иносистемными языковыми структурами [2].

2. Областная окраска не входит в палитру стилистических средств, какими располагает литературный язык в каждом данном его синхронном состоянии. Включение местно-диалектной лексики в словарный состав литературного языка есть инкорпорация, подобная заимствованию слов из иноязычных источников. Подобные процессы уяснимы лишь в плане диахроническом и путем наблюдения над межъязыковыми связями и отношениями, когда раскрываются источники пополнения лексического инвентаря литературного языка. В пределах же одного его синхронного состояния у лексических единиц нет и не может быть областной окраски: как явление иносистемное, она сейчас же исчезает с переходом в литературный язык. В связи с этим вряд ли допустимо постулировать на лексико-стилистическом уровне литературного языка такие отношения, при которых одним из членов оппозиции выступала бы окраска локально-ограничительная.

В условиях сосуществования общелитературного нормализованного языка и территориальных диалектов стилистическая оценка может проецироваться сразу на всю языковую систему. Например, носители языка литературного воспринимают областную речь как стилистически сниженную, хотя для самих говорящих на местном диалекте она в целом совсем не представляется «монохроматической», «одноцветной». С другой стороны, носители местных говоров нередко считают, что литературная речь имеет «высокую» окраску (ср. выражение «говорить свысока», т. е. по-городски, пользоваться литературным языком; ср. нем. Hochsprache). Впрочем такое противопоставление, вероятно, существует и в аспекте национального языка, полисистемного по компонентам.

Противопоставление «литературный — нелитературный» (resp. просторечный и областной), отсутствующее в системе литературного языка, существует в речевой деятельности. Устно-разговорная речь носителей литературного языка позволяет выходить за пределы кодифицированных средств выражения. Установка высказывания на «простонародность», которая должна вызвать впечатление близкой связи говорящего с национальной средой, с народными массами, дает о себе знать в предпочтении

[2] Нечеткость определения понятия «просторечия» и различия его трактовок в разные исторические периоды отмечены в статье О. А. Лаптевой «О некодифицированных сферах русского литературного языка» (ВЯ, 1966, 2, стр. 44—45).

некоторых областных или просторечных форм их литературным соответствиям. (Ср. *туды-сюды* у Л. Толстого [3] или спорадические *пущай* вместо *пускай*, *пачпорт* вместо *паспорт*, произносимые с интонацией, которая бывает при цитировании или в шутливой передаче чужой речи, когда стремятся придать своему собственному высказыванию подчеркнуто эмоциональный, намеренно грубоватый оттенок [4].)

3. Различение степеней устарелости слов или градаций интенсивности их устарелой окраски настоятельно необходимо в опытах стилистических наблюдений. Одним из следствий недостаточной связи лексикографии и стилистики с некоторыми идеями общего языкознания явилось объединение разнородных лексических единиц в одной группе «устарелых» слов. К «устарелым» относят, например, слово *щепетильный* в значениях «галантерейный», «парфюмерный» (СУ, IV, стлб. 1385; САН4, IV, 1014), известных еще в классической литературе XIX в., но теперь никогда не используемых и вышедших из речевого обихода настолько, что большинство людей нашего времени ничего о них не знает. Поэтому современные значения прилагательного *щепетильный*, фиксированные в словарях русского языка, и значение «имеющий отношение к галантерее и парфюмерии» так сильно разошлись, что их уж нельзя рассматривать как разновидности значения одного полисемантического слова. Перед нами две разные лексемы, причем одна из них чужда современной лексике [5].

«Устарелыми» наряду с явными архаизмами называют живые лексические единицы типа *благонравие*, *ложе*, *медоточивый*, *откушать* и др., хорошо понятные всем говорящим на современном русском литературном языке, хотя и редко употребляемые, как, например, слово *ревнитель* в произведениях современной публицистики.

Субъективные представления об устарелости слова или какой-либо грамматической формы распространены значительно шире, чем принято думать [6]. Среди лингвистов, например, нет единодушия по поводу французского *subjonctif*, который одни считают живой формой, а другие называют пережитком, архаизмом, который может иметь в речи лишь ограниченное употребление (например, А. Сешеэ). Расходятся мнения и при оценке слов, когда их устарелость сравнительно невелика и не слишком очевидна. Применение количественного критерия может создать лишь иллюзию научной объективности, поскольку малая частотность употребления слова не есть верный показатель его устарелости. И лексикографы-стилисты, стремящиеся представить в исторической перспективе некоторую часть словарного состава, рассматриваемого как одно синхронное состояние, вынуждены (что, впрочем, бывает и в других случаях) исходить из своего «чувства языка».

Признание устарелости слова указывает на его тенденцию к выходу за пределы данного синхронного состояния словаря. Расхождения же мнений по поводу устарелости какой-либо лексической единицы сами по себе симптоматичны — они могут быть свидетельством еще не завершенной «оформленности» стилистического явления.

---

[3] См.: Р. Р. Гельгардт, Л. Н. Толстой о народности писательского языка, Сб. «Избранные статьи. Языкознание. Фольклористика», Калинин, 1966, стр. 214.

[4] Два последних примера взяты из моих записей обиходно-разговорной речи проф. Н. М. Каринского.

[5] Еще раньше Б. Трнка говорил, что погрешности при определениях омонимов бывают результатом смешения синхронного и диахронического планов (B. Trnka, Bemerkungen zur Homonymie, TCLP, 4, 1931).

[6] А. П. Чехов, например, считал «устарелыми» слова *пошлость*, *пошло* («Соч. в двадцати томах», XVIII, стр. 307). Встречаются и субъективно-публицистические мотивы определения слова-понятия как «устарелого». Об «устарелости слова» *деликатность* см.: Марина Цветаева, Пленный дух, «Москва», 1967, 4, стр. 132.

Окраска «устарелости» иногда соединяется не с лексемой как знаковой единицей языка, а с предметом, с явлением действительности, называемыми данным словом и исчезнувшими из современной жизни или осознаваемыми как несовместимые с основами культуры цивилизованного общества. Н. Тихонов вспоминал, что в начале Великой Отечественной войны «повеяло вдруг глухой древностью. Давно забытые слова вернулись к жизни: иго, рабство, неволя, высшая раса... истребление, массовые казни, нашествие» [7]. Если слово или лексикализованное сочетание, традиционно относимые в качестве названия к определенному явлению, событию далекого прошлого, начинают вновь входить в речевой обиход и получать другую предметную отнесенность, то они вначале воспринимаются как «неологизм», обладающий яркой выразительностью новизны, хотя новым является лишь объект номинации. Примером может служить лексикализованное «отечественная война». СУ дает при нем помету «историческое». Эта сопутствующая окраска соединялась с данной единицей «фразеологического типа» до июня 1941 г. К. Федин в романе «Костер» описывает поражающий эффект, вызванный употреблением названия «отечественная война» в 1941 г. [8].

Стилистическая квалификация слова в речи бывает зависимой от формы его манифестирования (звуковой или графической). Иногда один из произносительных вариантов бывает способен нейтрализовать устарелость лексемы. Так, форму глагола 3-го лица *грядет* с *é* ударным, не переходящим в *о* с мягкостью предшествующего согласного, СУ называет «устарелой», «книжной», «риторической»; эти качества не отмечаются для произносительного варианта *грядёт* (СУ, I, стлб. 634). САН4 отмечает «книжность» и «устарелость» этого глагола независимо от вариантов его произношения (I, 476). Нейтрализацию устарелой окраски этого слова наблюдал К. Чуковский, вспоминавший, как В. Маяковский декламировал свои стихи: «Это опять расстрелять мятежников / Грядет генерал Галифе! Пронзительным голосом выкрикивает он... „опять". И старославянское „грядет" произносит „грядёт", отчего оно становится современным и действенным» [9].

Речевая деятельность, реализуя синхронную систему языка, обычно не довольствуется ассортиментом тех единиц или моделей, какие современный язык предоставляет в распоряжение говорящих. Намерения речевой коммуникации иногда заставляют предпочитать слова, формы, модели, давно уже вышедшие из массового речевого обихода. Желая, например, придать своей речи несколько архаичный оттенок, соединяющийся с шутливой окраской, носитель современного литературного языка может сказать *споспешествовать* вместо общеупотребительного *содействовать* [10] и пр. Обращение к архаике, как и использование внелитератур-

---

[7] Н. Тихонов, Двойная радуга, М., 1964, стр. 654, 658.

[8] «Это слово — Отечественная война, услышанное впервые по радио, изумило пассажиров и повторялось всем поездом. Мало того, что, обладая историческим содержанием, оно казалось неприменимо к иному событию, чем 1812 год; но все привыкли думать, что история наименовала так войну с Наполеоном лишь после того, как она обнаружила себя именно отечественной. Теперь война, только что вспыхнувшая, называлась по имени которое могло бы быть ей присвоено разве лишь в будущем, и это было в первый момент так неожиданно, как если бы войну с Фридрихом объявили Семилетней, едва она началась. Но все чаще повторяясь, слово Отечественная война стало утрачивать тождество со своим прежним содержанием давнего исторического факта. Из старого оно делалось новым. Оно перебрасывало мысль от прошлого к предстоящему, заставляя думать о значении и небывалом объеме события» (К. Федин, Костер, М., 1962, стр. 112).

[9] К. Чуковский, Современники. Портреты и этюды, М., 1963, стр. 502.

[10] Разумеется, слова с архаическим «означаемым» остаются в фонде лексики прошлых периодов истории языка и совсем не пригодны для этих выразительных целей.

ных средств выражения, «заимствованных» из систем других «языков» или «диалектов», которые сосуществуют в литературном языке в данный отрезок времени, закономерно для стиля литературно-обиходной речи и для стиля публицистического, не говоря уже о так называемом «языке художественной литературы».

Не существует идентичности между «объемом инвентаря лексических единиц», составляющих словарный фонд языка в один из моментов его жизни, и объемом языкового сознания, объективируемого в речи и частично остающегося в резерве, всегда готовом к обслуживанию потребностей выражения и понимания [11]. Объем языкового сознания тем шире, а запас известных архаизмов тем богаче, чем больше начитанность человека, чем ближе его знакомство с памятниками старой и древней литературы [12]. Архаика как память о прошлом, оставаясь в языковом сознании, не всегда превращается в ненужный багаж [13]. И, например, та склонность французского языка к ревностному хранению «реликвий почти всех периодов своего развития», о которой писал Ш. Балли, есть не признак синхронной системы языка, а явление речи, которая реализует не только данную систему, но и объективирует хранимый языковым сознанием архивный фонд. Он и становится богатым источником средств «для выражения тончайших оттенков мысли» [14].

В статье «Общие принципы культуры языка» говорится о том, что «словарь литературного языка нельзя отождествлять со словарем одной из его функций, а также нельзя связывать его временно́й нормой» [15]. Действительно, отождествление словаря литературного языка со словарем одной из его функций недопустимо, потому что «словарь одной из... функций» литературного языка никогда не охватывает всего словаря литературного языка. Вместе с тем при многообразии видов и форм речевой деятельности набор лексики, используемый в речи, не бывает вполне идентичным словарному составу данной синхронной системы языка. Не нужно доказывать, что лексика в речи литературно образованных людей отражает не только наличное состояние инвентаря лексического уровня язы-

---

Последующее изменение «означаемого» превращает такие слова в омонимы, которые устанавливаются лишь при четком различении синхронии и диахронии (ср. архаизмы типа *строгий*, *доить*, *лупить* в утраченных значениях «острый»,«кормить грудью», «грабить» и под.).

[11] Ср. высказанное убеждение в необходимости «строго различать источники специального теоретического познания действительной современной нормы литературного языка и источники, из которых каждый говорящий на литературном языке может с успехом черпать свое знание языковых средств и различных языковых возможностей; к источникам индивидуальной речи может относиться также язык другой эпохи или же язык иной функции, чем та, которая была употреблена в высказывании». («Общие принципы культуры языка», сб. «Пражский лингвистический кружок». М., 1967, стр. 396).

[12] К обсуждаемому вопросу имеет прямое отношение следующее высказывание Б. Гавранка, который настоятельно указывает на желательность «отличать практические знания тех, кто пользуется литературным языком, от знаний теоретических» и справедливо заявляет, что способы приобретения этих знаний также различны: «Неспециалист, кроме школы, приобретает свои знания при чтении, в жизненной и писательской практике; при этом он опирается на свое языковое сознание. Знания теоретика не могут опираться только на языковое сознание. Но, с другой стороны, совершенно бесполезно удаляться от действительности, утверждая, что необходимо изучить норму всех писателей, частоту употребления отдельных явлений в их языке и т. д. и т. п.», (Б. Гавранек, Задачи литературного языка и его культура, сб. «Пражский лингвистический кружок», стр. 375).

[13] «Теперь, больше чем когда-либо, при обучении надо поддерживать сознание традиции и не бояться объяснять у классиков все те слова, которые нам кажутся понятными, но уже не ясны для младшего поколения» (А. Доза, История французского языка, М., 1956, стр. 225).

[14] Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка, М., 1955, стр. 29.

[15] «Общие принципы культуры языка», стр. 402.

ковой структуры в один из моментов ее исторического становления, но и многие другие элементы. В речи есть то, что можно было бы назвать «внеязыковым синхронно-системным остатком». Требование отказа от ограничения словаря временной нормой приложимо не к установлению хронологических пределов допустимого синхронного изучения лексического уровня литературного языка, а к сфере речевой деятельности.

Таким образом, лексические архаизмы, т.е. слова, сильная устарелость которых выводит их за пределы синхронной системы языка, не могут по этой причине находиться в отношениях оппозиции к неологизмам и ко всем другим живым единицам лексики. Понятие лексического архаизма в этом смысле «внесистемно». Оно оформляется лишь при сопоставлениях словарного состава разных периодов эволюционирующей системы языка.

4. Противопоставленность лексики высокого стиля и лексики стиля сниженного также есть прежде всего явление речевой деятельности, где стилистическая контрастность используется для создания выразительных эффектов, реализующих экспрессивные цели высказывания. В аспекте же языка отношения между названными стилистическими категориями более сложны.

На лексическом уровне структуры языка существует не оппозиция «высокий — низкий», а оппозиция между окрасками положительной («плюсовой»), отрицательной («минусовой»), с одной стороны, и нейтральной (нулевой) — с другой. Но и это обобщение оказывается слишком широким и не учитывающим всего реального многообразия соотношений лексико-стилистических групп и синонимических единиц в их пределах.

Примечательно, что еще в ломоносовской концепции трех стилей было «противопоставление высокого и низкого стилей среднему (а не противопоставление их друг другу)» [16]. В стилистике современного русского литературного языка слова высокого и разговорного (сниженного) стилей также «не соотносятся друг с другом непосредственно, а лишь через посредство связи с нейтральным. Это значит, что слова высокого стиля, как правило, имеют лексические синонимы в нейтральном, но далеко не всегда находят их в разговорном; с другой стороны, слова разговорного стиля обычно имеют соотносительные единицы в лексически нейтральном стиле и только изредка — в высоком» [17]. Подмечена закономерность, согласно которой «слова окрашенных стилей должны иметь синоним в нейтральном стиле; слово нейтрального стиля может иметь синоним в окрашенном стиле. Таким образом, та сеть значений, которая существует в совокупности слов нейтрального стиля (и определенным образом распределена по лексическим единицам), не находит совершенно параллельного выражения в окрашенных стилях...» [18].

Итак, лексика нейтральная и стилистически окрашенная, лексика высокая и сниженная пребывают в отношениях коррелятивной зависимости: экспрессия сниженности отчетливее всего выявляется при наличии синонимов с высокой окраской, а лексика нейтральная выступает общим фоном, на котором только и дает о себе знать стилистическая маркированность лексем. Но, как уже установлено, не каждый член (элемент) в одной из этих коррелятивных стилевых зон имеет синонимический дублет в единицах другой зоны. Сами же зоны не «однолинейны», вследствие чего единицы одного зонального ряда, соприкасаясь с единицами смежного ряда в той же зоне, оказываются настолько близкими по окраске, что

---

[16] В. Д. Левин, Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII—начала XIX века, М., 1964, стр. 12.

[17] М. В. Панов, О стилях произношения, сб. «Развитие современного русского языка», М., 1963, стр. 9.

[18] Там же.

лексикологи затрудняются дать им вполне определенную стилистическую характеристику и находят компромиссное решение, например, в ремарках типа «разговорно-просторечное»[19]. Вместе с тем ряды в пределах каждой стилистической зоны отличаются друг от друга по интенсивности окраски одного «стилистического регистра». Так, в зоне «сниженной» различимы окраски разговорная (с небольшой степенью сниженности), «разговорно-просторечная», «просторечная», «грубо-просторечная» (сниженность ее велика). И в зоне лексики возвышенной есть градации этого качества (от книжной к возвышенной, торжественной, патетической). В самых отдаленных друг от друга рядах разных стилистических зон оформляются их первичные (ярко выраженные) признаки. Они и осознаются как «антагонистические» (ср. лексику возвышенно-торжественную, патетическую и лексику грубо-вульгарную). Что касается слабо выраженных окрасок сниженности в словах разговорного стиля и возвышенности в словах книжных, то они расположены в наиболее близких друг другу рядах зон разных стилистических регистров или диапазонов. При этом принятые в лексиконах пометы «книжное», «разговорное», квалифицируя стилистическое качество лексем, связывают слова книжного стиля с письм нной формой манифестации языка, а слова стиля разговорного — с устной формой [20].

5. Идея «потенциальности языковых явлений», тщательно обоснованная В. Матезиусом и до него лишь намеченная другими авторами, представляется весьма продуктивной применительно к пониманию природы стилистической потенциальности лексем. Положительная (она бывает плюсовой и минусовой) или нулевая стилистическая окраска лексемы и ее семантических разновидностей (при полисемантизме) формируется в речевом опыте членов данного языкового коллектива и, став узуальной, переходит в язык. Отсюда она возвращается в речь, где получает различные рефлексы, когда становится компонентом высказывания (текста) различных жанрово-стилистических форм. Явно выраженные стилистические коннотации лексем (назовем их «стилемами») воздействуют на практику речевой деятельности. Но если бы их регламентирующая роль была строго императивной, то стилистические окраски лексем оставались бы неизменными, а проблема стилистической потенциальности оказалась бы исключенной. В действительности отношения между стилемой (аспект языка) и конкретными стилистическими качествами слов (аспект речи) не сводятся к простому репродуцированию речью того, что дано в языке.

Поскольку в речи воспроизводятся не только явно выраженные стилистические окраски лексем, но и проявляются потенциальные возможности их стилистических колебаний, вариаций или смещений, необходимо различать несколько видов функционирования стилем.

I. При прямом (не трансформированном или деформированном) отражении семантических категорий языка в речи стилема совпадает со стилистическим тоном употребляемого слова, подобно тому как значение лексемы бывает тождественным смыслу слова в тексте (высказывании). Отношения же данного стилистически маркированного слова к другим единицам текста оказываются различными.

А. Стилистическая окраска слова может: 1) вступать в состав однородных элементов отрезка речи или целостного текста (произведения),

[19] О. С. Ахманова, Очерки по общей и русской лексикологии, М., 1957, стр. 256.

[20] Ср. в СУ стилистические «пометы, указывающие на разновидности устной речи» (I, стлб. XXVI) и «пометы, указывающие на разновидности письменной речи» (там же, стлб. XXVII).

ансамбль которых образует его моностилистические жанрово-речевые признаки; 2) контактировать с иностилевыми элементами одного регистра — высокой или сниженной тональности, — что создает сочетание тонов с различной степенью интенсивности; 3) находиться в резко оппозиционных отношениях с другими стилистически маркированными единицами текста или данного его сегмента. Диссонансы, вызывающие впечатление несовместимости, бывают следствием разных причин: а) столкновение стилистических контрастов может быть намеренным и служить выразительным целям коммуникации. Тогда чуждая стилистическая среда становится актуализатором, усиливающим собственную стилистическую окраску слова в тексте; б) включение стилистически окрашенного слова в чуждую для него стилистическую среду может быть результатом незнания говорящим принципов «стилистической гармонизации» и показателем неполноценности высказывания. Тогда мы имеем дело с аномалией или стилистической патологией.

Б. Качество стилемы сохраняется в стилистической окраске функционирующего слова, побочная же его стилистическая коннотация возникает комбинаторным путем. Она остается окказиональным явлением речи. При отражениях качества стилемы в стилистической окраске употребляемого слова комбинаторные (позиционные) наращения стилистических тонов в конкретных текстах и условиях речевой деятельности бывают нескольких видов: 1) они возникают под воздействием факторов, которые обобщенно можно назвать «ситуативными» (в произносимом высказывании, эмоциональная окраска которого может создаваться только ситуацией); 2) они оформляются вследствие ассимилирующего воздействия словесного окружения в пределах сегментов текста различных объектов; 3) жанрово-стилистическая форма произведения речевой деятельности (высказывания, текста) распространяет свое воздействие на компоненты речевой цепи. Жанровый тон как бы наносится тонким и прозрачным слоем поверх функционирующих в тексте слов, имеющих разные стилистические оттенки. Последние от такой «лессировки» не стираются и не утрачивают своей отчетливости.

Перечисленные возможности формируют сосуществующие стилистические коннотации употребляемого слова: качество стилемы сохраняется в речи и остается ее основным стилистическим признаком, а стилистические оттенки, которые возникают комбинаторным путем в функциональной перспективе текста, присоединяются к основной стилистической окраске или наслаиваются на нее.

В. Строго говоря, стилистическая нейтральность есть явление языка, а не организованной речи. Нулевая окраска слова сохраняется в стилистически нейтральных отрезках речи, небольшой размер которых не выявляет их жанрово-стилистического качества, их отношения к речевым стилям. В целостном же произведении речевой деятельности, в высказывании, организованном по определенным жанрово-стилистическим моделям, всегда есть доминирующий колорит, который распространяется на все составные части речевой композиции.

II. Если стилистическая полихрония слова становится явлением узуса, она принимается языком. Эту же закономерность можно выразить иначе, сказав, что аспектная (речевая) стилистическая модификация при определенных условиях превращается в категориальную (языковую). Тогда к лексеме присоединяется несколько дополнительных окрасок, которые становятся ее спутниками. Одна из них несет главную информацию (жанрово-стилистическую, по сферам использования языка в устной или письменной форме), другие — побочную (например, эмоционально-стилистическую или устанавливающую «историческую перспективу»).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1968

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. В. ШЕВОРОШКИН

К ПРОБЛЕМЕ ЛИКИЙСКОГО ЯЗЫКА

Ликийцы, обитавшие в Малой Азии в I тыс. до н. э., использовали в своих надписях буквенное письмо, которое они заимствовали у греков. До нас дошло свыше 150 ликийских надписей (в основном, это надгробья) и несколько десятков монетных легенд. На основе изучения имевшихся в ликийско-греческих билингв и использования комбинаторной методики ученые еще в конце XIX в. правильно прочли ряд ликийских надписей. В 30-х годах XX в. ликийскими надписями много занимался П. Мериджи, установивший индоевропейский характер ликийского языка. Позднее в работах Х. Педерсена, Ф. Трича и Э. Лароша было установлено родство этого языка с хетто-лувийскими и его особая близость лувийскому языку. Естественно, что в настоящее время при изучении ликийских надписей комбинаторные методы исследования все в большей мере сочетаются с этимологическими.

К сожалению, до сих пор ни комбинаторная, ни этимологическая методика не использованы в полной мере в интерпретации ликийских надписей, особенно важнейшей надписи из Ксанфа (лик. *Arñna*), весьма значительной по объему (в этой надписи, кроме собственно ликийского — ликийского А,— использован архаический ликийский диалект Б, называемый также милийским; в Ликии диалект Б употреблялся как язык сакральных и ритуальных текстов). Надпись из Ксанфа представляет собой документ исторического содержания, включающий также описание ритуалов.

Неточности в интерпретации ликийских надписей обнаруживаются даже в работах таких исследователей, как П. Мериджи, Э. Ларош, Р. Гусмани, Х. Миттельбергер, О. Карруба. Эти неточности можно классифицировать следующим образом: 1) неучет ряда особенностей ликийской фонетики; 2) неучет ряда закономерностей фонетических соответствий между ликийским и другими хетто-лувийскими языками; 3) неучет ряда особенностей ликийской морфологии; 4) односторонняя трактовка данных комбинаторного анализа, не учитывающая всех контекстов, в которых встречается данная форма; 5) ошибки в восстановлении утраченных букв, в членении на слова нерасчлененных в графике словосочетаний, в членении текста на синтагмы как следствие ошибок, перечисленных в пп. 1, 3 и 4; 6) ошибки, связанные с игнорированием фактов истории. Часто неточности допускаются сразу «по нескольким пунктам».

*

Так, большинство исследователей трактует слово *tesi*, часто встречающееся в надгробных надписях (лик. А), как прилагательное со значением «здешний» (ср. лик. *te* «здесь»). Эта трактовка невозможна фонетически: в ликийском А, вследствие перехода **s* в *h*, суффикс прилагательных-«посессивов» имел вид *-hi*. *Tesi* явно не может значить «здешний»

в тех надписях, в которых это слово выступает в формулах проклятия в качестве субъекта вне связи с *miñti* (орган, ответственный, в частности, за сохранность памятников). Однако и в сочетании *tesi/a miñti/a* первое слово является существительным, а не прилагательным. Прилагательным же является *miñti/a* (в архаичных сочетаниях прилагательное часто не получало специального суффикса (ср. А *māhāi huwedri*, Б *uwedriz masaiz* «общинные боги» при *(h)uwedri* «община»), как это следует из сочетания *tasa miñtaha* (*tasa* — собирательное от *tesi*, *miñtaha* — прилагательное к нему, оформленное обычным образом). Миттельбергер, верно указавший на смысловую идентичность сочетаний *tesi miñti*, *tasa miñta* и *tasa miñtaha*, поставил, следуя традиции, формы *tesi* и *tasa* в связь с основой указательного местоимения *te-* (ср. *teli* «здешний») [1]. Однако сопоставление *tasa miñtaha* с *marazija miñtaha* показывает, что слово *marazija*, являясь существительным, синонимично слову *tasa* (оба сочетания употребляются в идентичных контекстах). *Marazija* же обозначает исполнительный орган совета *miñti* (или нечто подобное), будучи собирательным именем от *marazi* (как *tasa* от *tesi*; ср. другие имена деятеля на *-i* в лик. Б: *muni*, *muri*, *tesẽni* и т. п.). Слово *marazi* значит буквально «руководитель, начальствующий»: оно происходит от глагола *mar-* «приказывать» и образовано при помощи суффикса *-zi*, используемого, в частности, в качестве суффикса деятеля (ср. *zkkaza* «победителям» при хет. *zahhāi-* «битва», *zahhija-* «побеждать»). Возникает вопрос: нет ли в ликийском и родственных языках других производных от корня *tes-*, которые бы подтверждали нашу идентификацию?

Действительно, уже в диалекте А находим *teseti/tesẽti* [2], выступающее совершенно в той же функции, что и *tesi/tasa* и *marazija*. В аналогичной

[1] Он переводит: *tesi/a* «hiesig»: H. Mittelberger, Zur Schreibung und Lautung des Hieroglyphenhethitischen, «Die Sprache», X, 1, 1964, стр. 63 и сл. В примеч. 50 он справедливо отвергает трактовку Ф. Хоуинка *tesi miñti* «штраф/пеня для минти». Следует отметить, что Миттельбергер синтаксически неверно интерпретирует формы *tesi miñti* и *aladehali* (неверна и семантическая трактовка имени деятеля *aladehali/aladehali*: это не «Öffner», а буквально «Hinüberzu-leger»; смысл глагола *ala-de-(a)ha-* раскрывается как из общей семантики соответствующих контекстов, так и из этимологии компонентов: *ala-* и и.-е. **al-* «сверх; лишний» и т. п.— сюда же лид. *alaś*, лат. *alios* «другой»; *-de-*, *dde-*, лид. *da-* к и.-е. **de/o-*, ср. русск. *ẽo* и т. п.; *aha-* к хет.-лув. *as(s)a-* «сажать» и т. п.). Заметим, что уже Аркрайт (W. Arkwright, Lycian Epitaphs, «Anatolian Studies presented to Sir W. M. Ramsay», Manchester, 1923, стр. 24) дал весьма четкую трактовку образования *tesi miñti* (сопоставив *tesi* с *tesẽti* и т. д.).

[2] В *teseti*, очевидно, обычная для ликийского деназализация; для *tesẽti* можно предполагать причастное происхождение («распоряжающийся»). Если так, то перед нами — одна из хетто-лувийско-ликийских изоглосс (ср. хеттский суффикс причастий *-anti-* при лув. *-anti-*, *-mi-*~ лик. *-ẽti*, *mi*; *i* как в лувийском), свидетельствующая об архаизме ликийского (ср. ниже, о диалекте Б). В обоих диалектах находим и другие отглагольные формы на *-ẽt* (*i*): А *tewẽte* (определение к названию города *mucale*, мн. ч., ср. «в Афинах») при Б *tewẽ-te* (глагол); аккузатив Б *kzzãtã* (при хет. *hassant-* буквально «рожденный»: одно из значений «сын»); *zrẽtẽni* (с дополнительным суффиксом *-ẽni*: ср. *tesẽni*; ср. хет. *sarra-* «отделяться, отрываться»; лик. Б *zrẽtẽni-* обозначает «отщепенца»— ренегата Аморга); *pidritẽni* (как *zrẽtẽni*; ср. глагол *padre-te* «основал» и А *padrita-/padrãta-*: здесь перед нами варьирование [ĩ]: *ã*, подобное варьированию *i* : *a*, о котором см.: В. В. Шевороки н, [рец. на кн.:] L. Zgusta, Kleinasiatische Personennamen, ВЯ, 1967, 4, стр. 110, примеч. 18; аналогично Р. Гусмани — см.: R. Gusmani, Zur Deutung einiger milyischer Wörter, AO, 1968, 1, § 6: *ñtuwitẽni* < *ñt(e)-uwitẽni* (того же типа; на носовость *i* указывают имена А *uwita/uwiñta*; *ñtuwitẽni*, возможно, значит буквально «внутрь-вошедший; захватчик, победитель»; в отношении образования формы ср. хет. *ant-ijant-* «зять», буквально «внутрь-вошедший», т. е., вошедший в дом родителей жены); [*t*]*esãtñni* (того же типа; см. ниже); *sm̃mẽte* (определение к *clleime*; дат.-местн. над. мн. ч.; ср. глаголы А *sm̃ma-te*, *sãma-ti*). Из сказанного следует, что ликийские формы на *-tẽni* никакого отношения не могут иметь к хетто-лувийским глагольным формам на *-tani*, вопреки заключению Каррубы (O. Carruba, Die I. und II. Person Plur. im Luwischen und im Lykischen, «Sprache», XIV, 1, 1968): «формы на *-tẽni* суть на самом деле именные образования на [-Vdẽni], восходящие к формам на *-and-* + *-ani*.

функции в диалекте Б используется имя деятеля *tesẽni*. Имея в виду гармонию гласных в ликийском, мы можем предполагать структуру исходного корня либо *tes-*, либо *tas*. В ликийском Б имеется аккузатив *tasñ* от *tas-* «распоряжение / предписание» или «стела с предписанием». Поскольку значение корня *tas-* «предписывать» соответствует установленному выше значению *tes-*, мы можем предполагать идентичность обоих корней, идентифицируя в качестве исходной формы *tas-* (не подверженную гармонии гласных). В лидийском находим корень *taś-* (где *ś* нормально соответствует лик. Б *s*) в слове *taśẽ-* «стела с надписью / предписанием» (=иер. лув. *tasi-*) и в глагольной основе *taśo-* «предписывать, распоряжаться». Возможно, *tesi* — милийское заимствование в ликийском А (ожидалось бы **tehi*),— т а к о е заимствование было бы вполне естественным (ср. термин *awahai* в формуле проклятия; в одной из надписей находим «милийский вариант» *awasi*; ср. также многочисленные заимствования милийских слов в ликийской ономастике). Это заимствование, видимо, коснулось лишь слов со значением «распорядитель» в соответствующих формулах: в надписи 65 находим аккузатив *tah-ñ*, соответствующий ликийскому Б *tas-ñ* (*tah-*, видимо, также значило «распоряжение / предписание»).

В упомянутой выше работе (§ 3) Гусмани реконструирует лик. Б [.] *esãtñni-* в виде [*w*]*esãtñni-*, фактически интерпретируя группу аккузатива [.] *esãtñniu qñtbẽ* как «стратега из Антифеллоса» [3]. Поскольку аккузатив управляется глаголом *uwaka*, трактовка (по Гусмани) должна быть «я славлю стратега из Антифеллоса» [4], что не находит никаких параллелей в известных исторических фактах. На самом деле сочетание имеет вид [t]*esãtñniu qñtbẽ uwaka* и должно переводиться примерно так: «я предписал тесантнийское (=определяющее?) распоряжение» [5] (повествование идет от лица основателя надписи Кереи), ибо первое слово не может реконструироваться как этникон (было бы **wesñtewñni-*, весьма существенная разница!), зато хорошо интерпретируется как производное от *tesêti* (форма на **Ntêni* типа *zrêtêni* от хет.- лув. *sarrant-* при Б *kzzât*=хет. *hassant-*, см. выше; [t]*esâtñniu* представляет собой аккузатив от прилагательного **tesãtñnija*). Речь идет, очевидно, о распоряжениях, связанных с охраной памятников (такой вывод подсказывается контекстом); заметим, что *kñtabã uwe-* во всех случаях интерпретируется как «(пред)писать распоряжение / наставление» (ср. лид. *u* / *uve-* «писать / предписывать», *ântɛ̂-* «распоряжаться» — эта основа, как и лик Б. *qñt*(*b*)*-*/ *kñta-*, восходит к хет.-лув. *hantāi-*).

Гусмани полагает (там же), что лик. Б *mirẽñne* «несомненно» представляет собой этникон от *mire* (по Гусмани, это слово идентично названию города Μυρα). Однако комбинаторный анализ текстов свидетельствует о том, что *mire* является обозначением лица (*mire* всюду выступает как лицо, производящее ритуальные действия; форма *mirêñne* представляет собой прилагательное, определяя слово *qzze* — дат. пад. мн. ч. от *qzzi*

Трактовка форм на *-ẽ/âni* как глагольных форм 1-го лица мн. числа (лув.-*wani*) также невозможна ни фонетически, ни синтаксически: ликийские образования на *-ẽni*, *-âni*, такие как *sijẽni* (А), *zasãni* (А), *sttâni* (Б) и некот. др., суть глагольные формы 3-го лица ед. (и мн. ?) числа; суффикс *-wani* должен дать в ликийском **-wẽni*, а не *-ẽni*/*-âni*. Кстати, в ликийском Б к глаголам типа *sttâni* относятся еще *trbbẽni* и *aburẽni*.

[3] Ср. верную реконструкцию Р. Гусмани: *wesñteli* «антифеллосский» (ср. А. *wehñte-* «Антифеллос») вместо *wes* : *ñteli*, надпись 55; заметим, что вся группа аккузатива *qajã wesñteli* была переведена как «антифеллосское святилище» уже в указанной рецензии В. В. Шеворошкина (стр. 112, примеч. 36).

[4] Ср. трактовку *qñtbẽ*/*kñtabâ* у Гусмани: указ. соч., § 5. Об *uwa/e-* см. там же.

[5] Ср. уже: В. В. Ш е в о р о ш к и н, Лидийский язык, М., 1967, ср. 61. Здесь же трактовка форм *qñtbẽ* и *kñtabã* как вариантов одного и того же слова.

«потомок / внук» [6]; здесь речь идет о потомках и предках *mire*, судя по всему, ликийского царя Керига. Керига — как и Кереи — в ряде случаев обозначались различными эпитетами, причем Керига обычно выступал в роли освятителя, а Кереи — в роли героя-полководца). *Mirêñne* не может быть этниконом от *mire* (было бы **mirewñne*). *Mire* не может быть сопоставлено с Μυρα — ожидалось бы **mura* в ликийском, и действительно, мы находим в ликийском А имена *muraza-* (буквально «житель М.»; ср. *atãnazi* «афинянин») и *murñna* (по происхождению это действительно этникон, но в ликийском А; в ликийском Б было бы таким образом **muravñna*!).

Гусмани трактует как этникон форму *tunewñni* (там же), связывая ее с названием города *tuminesi* «Тимнес». Однако обе формы совершенно не связаны в генетическом отношении (такая связь исключена уже фонетически; *tunewñni* могло бы быть этниконом, например, от *Tuwana* или производным от *Tunnawi*, но не от *tuminesi*), к тому же мы, возможно, имеем дело не с формой *tunewñni*, а с *etunewñni* или *ẽtunewñni*, *itunewñni(e)* [в двух случаях, когда слово стоит после *-ê* и *-a* и может писаться полностью, находим формы *ẽtunewñni* и *itunewñni(e)*; в двух других случаях слово стоит после *-e* и *-i* и может соответственно писаться без начального гласного].

Слово (*ẽ*)*tunewñni*, если и является этниконом, то лишь по происхождению; в текстах это слово, возможно, обозначает жреца. Во всяком случае, интерпретация Гусмани отрывка 44e63 *wiksabalaba... kbade... tunewñni* как «Виксабалаба, князь из Тумине» (§ 7) не выдерживает никакой критики. (Я не говорю уже о мелких недочетах: следует членить *wiksabalaba*, где *-ba*—частица, соответствующая обычному *-be*; *a*—по гармонии гласных; есть город *tuminesi* «Тимнес», а не **tumine*). Прежде всего, *kbade* здесь глагол, а не имя: конструкция строфы соответствует конструкции второй строфы стороны с (44c34—6, без последнего предложения): *trqqiz-cce-pe mede zppli kikbati qetbeleimis s(e)-icetesi uwedriz erêpliz* «И он же (=Кереи) в храме ублажает мощных богов, а также достойные общины (?)»; в нашем случае имеем: *wiksabala-ba me tm̃me kbade lêm̃pe (e)tunewñni seb(e) erêpli sabaca qetbeleima trqqiz tbisu s(e) erije (e)caburâ sebe masa* (*sabaca* ~ *sabaci*, ср. *utaci-*, А *udreci* «Виксабала же ублажал в / для s. q. [жреца] *etunewñni* и в / для t. l. — достойного бога (Тархунта) дважды, и, кроме того, экабуру и [общинных] богов».

В обоих приведенных контекстах использован глагол *kba-* (ср. хет. *hap-* «делать уступчивым» и др.; в лик. А этот глагол может значить «причинять, подчинять»; к семантике ср. нем. *gefügig machen*; *fügen* и др.; в отношении же лик. Б *kbadi-*: хет. *hapati-* «слуга, подданный», ср. семит. *ʿbd* то же), причем если многократность действия в *kikbati* передается удвоением основы, то в предложении с *kbade* имеется специальное наречие *tbisu* «дважды». *Kbade*, как видим, не может быть существительным, но если бы оно и было им, то его нельзя было бы сопоставить с *kbadiz* как единственное число с множественным: ед. ч. от *kbadiz* несомненно было

---

[6] В своем «Лидийском словаре» («Lydisches Wörterbuch», Heidelberg, 1964) Гусмани сопоставляет лид. *ıwe-* «писать» с иер. лув. *QVaï-* «гравировать», считая это соответствие «точным» (стр. 219). Но *QVaï-* соотносится с нем. *hauen* «бить», русск. *ковать* и т. п. (в лидийском имелся бы анлаут *q-* или *k-*), тогда как *ıve-*, видимо, восходит к **aw-* «говорить, сообщать». Иер. лув. *QVaï-* соответствует кар. (*nda-*)*kù* «над-пись». В отношении основы *qzz-* см. уже: А. А. Королев, В. В. Шеворошкин, Милийские этимологии, сб. «Проблемы славянских этимологических исследований в связи с общей проблематикой современной этимологии», М., 1966, стр. 43 (там же приводится целый ряд других новых этимологий ликийских слов, главным образом, из диалекта Б). Важно отметить, что к хет.- лув. *has-* «рождать», кроме *qzze* (ср. еще *epeqzzi*, (*e*)*ppe*[*qz*]*zi* «потомство»), относится еще ряд других ликийских слов (см. ниже).

**kbadi* (ср. *trmmiliz*: *trmmili*, *erêpliz*: *erêpli* и т. п.). Формы на *-wñni* выступают не в качестве прилагательных, а в качестве существительных, это особенно ясно при анализе этноконов: так, *trelewñne* в 44c40 представляет собой датив-локатив мн. ч. «у / для жителей Тралл»: в предложении нет иного имени в том же падеже; с другой стороны, прилагательное *busawñn[a]la* в следующей строфе образовано от этникона **busawñni* с помощью специального суффикса; оно согласовано с *cñtre* «у / для знатных». Гусмани в § 3 своей статьи затрудняется в интерпретации формы *busawñn[.]la*, допуская даже, что [.] *la* может входить в состав особого слова. Однако *a* в *buswañn*[a]*la* восстанавливается путем сравнения с *tucadrala*, датив мн. ч., где последнее *a* обусловило гармонию гласных: ср. ед. ч. **tucedreli* от *tucedri* «статуя»; в *busawñn[a]la* ж., очевидно, и первое и последнее *a* регулярные, ср. А (*prija*) *-buhã-ma-*, отсюда уверенность в наличии *a* в лакуне. Приведем предложение целиком, чтобы показать, что *busawñn[a]la* действительно производное от **busawñni* : *kñtabu-pe cñtre eluwi-pe busawñn[a]la* «я же...-л] предписание бусской знати». Обращает на себя внимание глагол 1-го лица ед. ч. *eluwi*, ср. еще *ei ñ* из **eimi*. Заметим, что *-u* ни в лик. Б, ни в лик. А не является окончанием 1-го лица; в последовательности *-au -u* представляет собой окончание императива 3-го лица ед. ч., так что в параллелизме форм на *-tu* : *-u* проявляется старое различие между *mi* и *hi*-спряжением. Что касается *pijelu* «пусть я дам», то здесь выделяется окончание *-lu* (ср. хет. *-lu*).

В связи с *wiksaba* (ср. А *wakssebe*, суффикс *-b-*, как в *kñtaba*, *pasba*, А *kahba*, *kttba*) отметим, что *waks(s)a* значит «доблесть», как предполагал еще Мериджи, а не «господин», как думает Гусмани (§ 1; Гусмани увязывает лик. Б *wakssa* с лув. *washa-* «господин», предполагая метатезу согласных в основе, однако в других подобных случаях никакой метатезы не происходит; скорее всего, *wakssa* восходит к *wahessar*: это слово обозначает в хеттском некое положительное качество. В архаичном имени А *wekssere* сохранилось и гетероклитическое *-r-*: в ликийском оно частично сохранялось, частично же исчезало, что связано с диалектными или интонационными различиями) [7].

Как показывает контекст, *ecaburâ* (общ. р.) и *masa* (ср. р.) суть аккузативы, представляющие собой собирательные имена (ср. *uwedriz masaiz* «общинные боги»); в аккузативе стоит слово *trqqiz* (в начале надписи *trqqiz* стоит во мн. ч., как на это указывает согласованное с ним слово *qetbeleimis*; не исключено, что ед. ч. *trqqiz*, формально соответствующее милийскому мн. ч., было переосмыслено именно как мн. ч., ср. то же в отношении лик. А *trqqas*: в сочетании 44b34 *trqqas hekis* имеем мн. ч.; в отношении *heki-* ср. лув. *sahui-* «законный»). Такая трактовка с несомненностью следует из контекста; интерпретация Гусмани слов *masa* и *trqqiz* (§ 5 и др.) как номинативов не выдерживает критики.

---

[7] Следуя своей неверной концепции, Гусмани членит на части собственное имя *wakssepddimi* (буквально «идущий за доблестью» или «сопровождаемый доблестью/славой») в 44a49, относя *waksse-* в качестве аппозиции к *Kerêi*. На самом деле имеем: *kerêi tebete[t]er[ñ] se wakssepddimi* «Кереи разбил (буквально „унизил" к хет. *tepawahh-* „унижать" < и.-е. **dhebh-* „малый") войско и Вакссепддими» (т. е. «войско В.», партитивная аппозиция; ср. там же a44-5 *trbbênimi tebete tern se milasâñtrâ* «Трббеними разбил войско и Милесандра», т. е. «войско Милесандра»). Гусмани фактически сводит на нет важнейшие исторические данные Ксанфской надписи: поскольку после сообщения о поражении Милесандра идет сообщение о победе ликийцев над мятежным войском Тлоса (*kerêi qastte ɤerñ tlahñ erbbedi* «Кереи наказал войско Тлоса поражением»; Мериджи, вопреки историческим фактам, переводил эту фразу так: «Кереи наградил войско Тлоса имуществом/состоянием»), естественно ожидать имя руководителя тлосской армии (а не имя второстепенного военачальника). Как раз таким именем и является *wakssepddimi*, столь произвольно препарируемое Гусмани.

Однако вернемся к формам на *-wñni*. На чисто формальной основе, игнорируя контекст и известные исторические данные, Гусмани трактует (§ 3) форму *kbidewñni-* как этникон от названия города *Kbide* (на самом деле *kbide* — титул персидского наместника в Ликии, что известно и Гусмани, поэтому он постулирует здесь омонимию). Последовательность *sebe pasbâ ñte-ne puceti kbidewñniu lakadi zrẽtẽni sebe...* Гусмани переводит (§ 6) как: «И пасбу из Кбиде осаждает (??) он в-нем походом...», допуская при этом множество ошибок. Во-первых, Гусмани отрывает кусок от предыдущей строфы (однако со строфой кончается и предложение: *pasbã* в предыдущей строфе согласовано с *wijedri* в предложении 44c44 *wijedri ñtuwitẽni pduradi sebe pasbâ*, ср. аналогичное по структуре предложение c55—6 *ali muwila-de epñtadi sebe pasbbâ*). Во-вторых, он трактует *ñte-ne* как «в нем», что по ряду причин невозможно [8]; *ñte(ne)* значит «далее» и начинает в данном случае новое предложение, подчеркивая смысловую связь с предыдущим текстом. В-третьих, *puceti* значит «бьет» (к и.-е. **peuk-* «бить»), а не «осаждает». Главное же в том, что Гусмани соотносит *kbidewñniu* с *pasbâ* (см. выше), тогда как это слово служит определением к *zrẽtẽni* «отщепенца» (см. выше). Таким образом, все предложение (от *ñtene* до *zrẽtẽni* включительно) значит: «И затем (он) бьет походом / боем кбидова отщепенца». Нет никакого сомнения, что «кбидов отщепенец» — Аморг, о котором говорится и в ликийском А тексте стелы (ср. уже следующую фразу «и аполлонов жрец (= Керига?) славит предводителя, который с доблестью сокрушил гистаспова потомка (= = Аморга)» [9], и следующую строфу: «когда там повергли вассалы со славой стелу Аморга, Керига основал поучительный памятник в доблести/доблестям, победителю и завоевателю» [10]; заметим лишь, что если в тексте на ликийском А, наряду с Кереи, часто упоминается перс Тиссаферн, то в сакральном милийском тексте в качестве полководца в основном упоминается Кереи, близкий родственник ликийского царя Керига). Может возникнуть вопрос: почему же от *kbide* образована форма *kbidewñni*, а не *kbideñni* (ср. *mirẽñne* от *mire*)? На этот вопрос пока ответить трудно, однако подобный путь образования производных имен (т. е., с *-w-*, предшествующим суффиксу), несомненно, имелся (ср. *tm̃pewẽti*, с суффиксом

---

[8] *ñte* в лик. Б получает комбинаторную трактовку «затем, далее» (аналогично *ñte-ne*, *ñtẽ-nẽ*; не исключено, что *ne* (*nẽ*) здесь указывает на прямой объект). Даже если бы *ñte* в лик. Б (как в А) выступало в качестве предлога, *ñte-ne* не могло бы значить «в нем», ибо *ne* не является склоняемым местоимением. *ne* представляет собой вводную частицу, сигнализирующую, что в предложении есть прямой объект. Поэтому исключается и трактовка Гусмани аккузатива *neiz tuwiz* как «diese Weihgeschenke» (§ 5), ибо *nei-z* никакого отношения к частице *ne* иметь не может. В действительности *neiz tuwiz* значит «указующие надписи» (*tuwi*, собственно, обозначает стелу с посвятительной надписью), причем *nei-* соотносится с хет. *nãi-/ne-* «вести, направлять». В аналогичном значении выступает в лик. А следование *kñtawatâ tuwi* (ср. хет. *handãi-* «направлять», лик. Б *kñtaba-* «предписывать»), Б. *sbirtẽ kñtabasi*, *kñtabaimi*... *zrbblâ*, *tuwi neitalâ* (см. ниже), а также *sabadi mrββdi* «поучающими речами» (ср. *sebedi* «направляет»).

[9] Гусмани полагает, что значение слова *mlu* (в переводе Мериджи: «потомка») неясно, и, следовательно, неясен смысл всей фразы. Однако уже комбинаторный анализ указывает на значение «потомок, отпрыск» слова *mla*; о других случаях употребления этого и родственных слов см.: A. Korol 'ov, V. Ševoroškin, Zur Deutung milyischer Inschriften, «MIOf» (в печати).

[10] Гусмани трактует *neitalâ* (в нашем переводе «поучительный», от *nei-*, см. выше; суффикс как в *mutala* «мощный» от хет.- лув. *muwattalla-*) как существительное, к которому определяемым является «этникон» *zrigali*. На самом деле *neitalâ* — прилагательное (ср. выше), определяющее слово *tuwi* «памятник, стела с надписью», буквально «посвящение»; *zrigali*, как и *murei* и *waksa*,— дативы (по Гусмани, *waksa* — определение к *keriga*), причем *murei* представляет архаичный датив от *muri* имени деятеля в 44c40 (эпитет Кереи или Тиссаферна), *zrigali*—датив от имени деятеля **zrigala* (ср. суффикс *-ala* в *zajala* «преступник»), от *zrqq* — *-x. sarh-* «нападать». Сопоставление *zriga-* : *hrikñma* отпадает (имеем *hri* + *kñma*).

-êti, от *têpe*, а не от **tm̂ / êpewe*; ср. также *kuzruwêti- / kuzrñta*, с *w* и без него: глайд *w*? суфф. **-wanti-*. Не исключено, конечно, что имелись промежуточные формы (**kbidewe*, **tm̂pewe*). В любом случае, однако, *kbidewn̂ni* соотносится с *kbide* «(персидский) наместник». Неясно, прав ли Гусмани, трактуя следование *kbidewn̂ni*: *ulakadi* как *kbidewn̂niu lakadi*. Возможно, инструменталь *ulakadi* образован от **ulaka*, с префиксом *u-* (такой префикс имелся). Ведь если ориентироваться на *kbide*, с одной стороны, и на **mireñni*, с другой, придется в качестве прилагательного трактовать именно форму *kbidewn̂ni* (*kbidewn̂niu* же должно восходить к **kbidewn̂nija*, прилагательному от *kbidewn̂ni*; можно предполагать, впрочем, двойной суффикс).

*

Очень важно подчеркнуть следующую особенность ликийского: следование *-ê/āt-* передает здесь, как правило, рефлекс **-a-nt-* (=[and]). Так, *-êti* никогда не передает суффикса инструменталя *-edi*, *-adi* (лув. *-ati*, т. е. [adi] же). Решительно неправ Гусмани, трактуя формы типа *arppakusêti*, *tm̂pewêti*, А *cbijêti* как инструментали (аблативы) [11]. Мы уже рассматривали некоторые из подобных образований: это формы с суффиксом *-êti* (лув. *-anti-*). Суффикс этот в ликийском (как и суффикс *-anti-* в лувийском) используется не только в причастиях, но и в обычных прилагательных и существительных, часто не меняя значения слова: ср. *trm̃milijêti tm̂pewêti* (где первое слово образовано на основе прилагательного же *trm̃mili* «ликийский», которое, впрочем, могло быть и существительным «ликиец», а второе значит примерно то же, что и исходное для него *têpe*: «(на) род»). Это сочетание сопоставимо с *arppakusêti tm̂pewêti*, где первое слово образовано от прилагательного же **arppakus* (= А *arppakuh*) «арпагов». В тексте а. t. согласовано с *tuburiz* («тубуры» — название народности) посредством союза *s(e)-icetesi* «а также» (см. выше, пример из второй милийской строфы), что и позволяет нам трактовать а. t. как «ликийский (на)род» (ср. *trm̃milijêti t.*), буквально «арпагов род» (подобных случаев использования прилагательных, образованных от имен царей, в ликийском много). Гусмани ошибся здесь, возможно, потому, что не понял собирательного характера слова *tm̂pewêti* (но ведь образование имен собирательных — одно из основных использований суффикса *-ant-* в хеттском!): поэтому согласование между *tuburiz* и *tm̂pewêti* наличествует лишь в падеже (аккузатив). Формы на *-êti* соотносятся с формами других чисел и падежей: *-êtiz* (мн. ч., номинатив или аккузатив, ср. *kuzruwêtiz*), *-âta* (мн. ч. датив-локатив, ср. *kuzrruwâta*), аналогично *-ête* (*sm̃mête*). Суффикс *-âti* содержится в *akãti* (должностное лицо, ср. *tesêti*), от *aka-* (ср. предложение 44c3—4 *me-ñne emu akada maraza ubu hâtê cbijêti* «вот я их произвел в начальники»)— или «представил начальникам,— обоих чужих людей», т. е. неликийцев, имеются в виду Утана и Тиссаферн). Здесь, кстати, нам встретилось прилагательное *cbijêti* (от *cbi* «два», *cbi-* «другой, чужой»), согласованное с *ubu* «оба» (формально аккузатив ед. ч. как часто при числительных) и *hâtê* «лицо, человек»; прилагательное *cbijêti* Гусмани тоже трактует как аблатив! (Заметим, что Мериджи, ранее трактовавший *hâtê* как глагол «били», теперь правильно переводит это слово как «лицо», однако совершенно произвольно сопоставляет его с аналогичным по значению иер. лув. *ha(n)ta-*; но ведь лик. *h* восходит к **s* или к «нулю», а иер. лув., как и хет. и лув. *h(h)*, дает в ликийском *k* или *q*, фонетически [χ]).

[11] § 3; ср. R. G u s m a n i, Die Nominalformen auf -z im Milyischen, «Die Sprache», 10, 1964, стр. 49.

Недопустима и трактовка, которую Гусмани дает некоторым формам на *-eti* и-*ati*: так, он считает, что форма *nênijeti* представляет собой инструменталь от слова, родственного лик. А *nêni* «брат» (?). Спрашивается, где же в таком случае глагол в тексте 44d65—7? Этот глагол с несомненностью вычленил Мериджи, придав, однако, ему значение «verbrüdert» (что это могло бы значить, сказать трудно) [12]. Действительно, *nênijeti* является глаголом, но значит он «(по)ведет, направляет» (ср. хет. *nannijazi*!): ведь текст здесь сходен в семантическом отношении с текстом последней строки надписи, где, однако, употреблен глагол *kñtabatu* «да поведет!, да направит!». Здесь перед нами уже отмеченный выше параллелизм основ *ne(i)-* и *kñta-* «вести, направлять» [13]. Вся строфа с *nênijeti* выглядит так: *kumala-de nênijeti maskkm̃ ti (i)je qzze mirēñne kinasi-ce sesi m̃qri-ce (a)bura seb(e) ênesi-ce tedesi-ce kugasi kñtawaza* «К. (имя деятеля на *-ala*; название жреца?) направляет наставление этим внукам *mire*, его и (его) бабки *m̃qre* и *abura* (датив. ед. ч.), а также *kñtawaza* (датив. ед. ч.) (его) матери, отца и деда» (оставляем пока в стороне реалии; отметим что *ti* «который» употреблено здесь совершенно в том же значении, что и в начале надгробий — тип: «X который построил эту гробницу», т. е. «X построил эту гробницу»; вопреки Г. Нойману и другим авторам, *maskkm̃* следует возводить не к хет. *maskan-* «Вuβе», что едва ли допустимо с фонетической и семантической точек зрения, а к иер. лув. *mashan-* «fördern»,— отсюда *maskkm̃* «Förderung; наставление» (ср. *luwadla* «заклинание» при хет. *luluwāi-* «fördern»), ср. *kñtaba* и прилагательные *kñtawata* [14] (А), *neitala* и др., ср. выше; как отметил А. А. Королев, *kinasi* следует трактовать как *kñnasi* «бабкин», причем не только по комбинаторно-«семантическим» соображениям — графически *i* и *ñ* сходны, так что здесь описка *i* вместо *ñ*: ср. сходные случаи *âla*, *âala* вместо *kla*, *kala*, А *cumetija* вместо *cumezija*; *â* и *k*, *t* и *z* очень близки графически).

Как аблатив интерпретирует Гусмани и глагол *slâmati* [в действительности «запечатлевает (на камне)»], соответственно он считает *slâma* именной формой (но где тогда глагол в 44c45?), тогда как то же слово в 44d26 наряду с *askka u kupdi*, употреблено как императив 2-го лица ед. ч. («запечатли»! Но ведь сам Гусмани верно распознал значение императива у формы *pibi* «дай, пошли!» в той же строфе, в которой стоит *slâma*! Вот что мы в действительности можем прочесть в этой строфе: [...]-*pe nice waksi pibi crese... sebe nê laβri kñtabaimi slâma zrbblâ* «Не дай доблести [забвения], о Кресе! (далее следует вводное предложение); и на камне запечатли это наставляющее изображение!» (в этой и предыдущих строфах речь идет об изображениях военных и других сцен над текстом стелы Кереи; в отношении *zrbb* ср. лид. *ên-sarb-* «вцарапывать»; в отношении *laβr-* «каменная плита» ср. лув. *lawar-* «ломать» и лид λαβρυς «двойная секира» — первоначально, несомненно, каменная).— Ср. еще императив 2-го лица ед. ч. *etrqqi* «чти» (?) в 44d1.

И уже совсем невразумительна интерпретация сочетания *natri ti* «вождь, который» как... инструменталя «(с) храбрыми» (§ 1). На самом деле в соответствующей строфе (44c47—8) *natri* (аккузатив) оканчивает главное предложение («жрец / муж... славит вождя»), после которого следует придаточное предложение «который (= вождь, т. е. Кереи или Тис-

---

[12] P. M e r i g g i, Anatolische Satzpartikeln, RHA, XXI, 72, стр. 15.

[13] Ср. 55,7 *qelēnēti* «направляет» (?) при хет. *hallāi-* «приводить в движение»; то же значение находим, очевидно, в лик. Б. *sebedi* (ср. имя деятеля **sabaci*, дат.- лок. мн. ч. *sabaca*, типа **utaci*, дат. ед. ч. *utacija*; ср. имена деятеля типа лик. А **zkkazi*).

[14] Лик. *kñta-waz/ta* (лув. *handa-wata-*) буквально значит «пред-водитель» (и.- е. **Hant-* + **wedh-*); и.-е. **dh* регулярно дает *t*, *t/z* в ликийском (ср. *t/za-* < **dhē-* и *ute/a-* «возвращать» при хет. *uda-* < *u-* + *dāi-*, где *dāi-* < **dhē-*).

саферн) с доблестью разгромил потомка Гистаспова (= Аморга, ср. анализ выше)». Как раз это последнее предложение было с предельной четкостью интерпретировано уже прежними исследователями (добавим лишь, что *mawa(te)*, *muwa(ti)*, возможно, восходит к и. -е. **mew-* «устранять» и др.: ср. лат. *moveo* и др.) и Гусмани делает тут шаг назад, не принимая во внимание данных комбинаторики, хорошо сочетающихся с историческими сведениями (абсолютно неприемлем перевод «воздвигли», который Гусмани придает глаголу *kustite* в предложении, где *kbadiz* — «подданные» царя Керига — «разрушали» — не «воздвигали»! — памятник отщепенца Аморга. Это предложение содержится уже в следующей строфе, излагающей известные события войны конца V в. до н. э. в М. Азии).

*

Сама трактовка слова *natri* как прилагательного неверна. Это — существительное, как видел уже Мериджи (который, впрочем, дал слову *natri* синтаксически несостоятельную интерпретацию в первой милийской строфе Ксанфской стелы. Вот эта строфа: *sbirte me zireima sabadi mrββdi-pe sebe pasbâ natri slati kusttedi sebe kñtabu, sebeñte laβra trujeli zazati nbb*: (*kusttedi* — «с помощью солдат»?) «На памятниках / стелах, снабженных поучающими речами / словами, вождь (= Кереи) возвеличивает и воинство и руководство..., и затем по-милийски повествует на каменных плитах так» «(если речь идет не об изображениях на стеле, а о каком-либо посвятительном обряде, то возможен перевод «у памятников»; *mrββdi* «словами» используется часто при *uweti* «пишет»; *kñtabâ* здесь буквально «руководство»). Центральная часть предложения *sebe pasbâ natri slati kusttedi sebe kñtabu* явно имеет структуру «и + акк. + + суб.+ предик.+ инстр.+ и + акк.», так что *natri* не может здесь относиться в качестве определения к первому объекту (а именно так трактует эту часть Гусмани); соответственно *sbirte* не может быть субъектом предложения, как думает Гусмани: дело не только в том, что определение к *sbirte* стоит в форме локатива мн. ч. (в номинативе ед. ч. было бы **zireimi*), но и в том, что оба предиката — *slati* и *zazati* — требуют обозначения лица в качестве субъекта (ср. остальные случаи использования *sla-* в милийском; *zazati* значит, собственно, «высекает (слова на камне)», как это следует из 44 d 32); соответственно *laβra* «каменная плита» не может быть субъектом при *zazati* [15].

Уже в связи с интерпретацией этой строфы могут быть рассмотрены некоторые проблемы этимологии. *Natri* ранее трактовалось как «герой»; эта приблизительная трактовка обоснована комбинаторно. Этимология позволяет уточнить трактовку: *na-tri* содержит упоминавшийся корень хет.-лув. *nei-*, *na-* «вести» и соответствует по образованию и составу компонентов др.-инд. *ne-tar* «вождь» (суффикс *-tara* есть и в хеттском). Нераспознание этого употребительного корня в ликийском привело к неверной трактовке прилагательных *nei(z)* «ведущий / указующий» как «эти», *neitalâ* (аналог. ср. еще *nijaiz*) как особого существительного, глагола *nênijeti* «направляет» как «verbrüdert» или как инструменталя, связанного с *nêni* «брат» (см. выше), причем важно отметить, что адекватность этимологических трактовок подтверждается предварительно проведенным комбинаторным анализом.

Глагол *sla-* ранее комбинаторно интерпретировался как «славить», и Гусмани попытался подтвердить эту трактовку этимологически: он «увязал» *sla-* с лув. *sarli-* «великий» (нечто подобное ранее предполагал

[15] В нашем примере *laβra* не номинатив, а аккузатив (ср. локатив ед. числа *laβri* в 44d 43); *zazati* соответственно должно трактоваться как «bemeißelt».

Мериджи). Однако такая этимология несостоятельна по фонетическим причинам. *Sla-* соотносится несомненно с лув. *sasla-*, что позволяет дать этой основе индоевропейскую интерпретацию: ср. *ἵλημι < **sislēmi* < < *slā-* «begünstigen, благоприятствовать, оказывать расположение» и др. — сюда же и хет. *sēli* «благоприятный» (?) < **selH-*. Интересно, что в лик. Б *sla-* употребляется чаще с превербом *ênê* «под» (ср. лув. *annan* то же; типологически ср. глагол *поддерживать*) и с инструменталями. Эта специфика в употреблении хорошо согласуется с использованием и. -е. **slā-* в разных языках. Никакого отношения не имеет к *sla-* глагол лик. Б *slâmati* «запечатлевать» (изображение на камне; ср. императивы лик. Б *slâma* и кар. ΜΛΜΟΔΟ *slmodo* = лик. Б **slâmatu*! Ср. еще лик. А *hlm̃mi* «памятная стела с изображениями и надписью (?)», имена А *hlm̃midewe*, Б > А *slm̃mewe* и др.; не исключено заимствование этой ритуальной лексемы из семитского: ср. аккад. *ṣalmu* «картина, образ» и др.). Исключено — как фонетически, так и морфологически — возведение *slâma-* к лув. *sarlaimmi-* «величественный» (в лувийском - (*m*)*mi-* — суффикс причастия, в ликийском *-m-* — невычленимый элемент глагольной основы; если бы даже *sarla-* могло давать *sla-* в ликийском, такая интерпретация не могла бы быть удовлетворительной в данном случае, ибо как основа *sla-*, так и *slâma-* представлены в такой или сходной форме в целом ряде хетто-лувийских языков, как поздних, так и ранних); лув. *sarlaimmi-* имело бы в ликийском соответствие **zrlleimi*.

Фонетически невозможна и интерпретация Гусмани форм лик. Б *arm̃pa* и (*a*)*rm̃paimi* как соответственно **Arma- pija-* и **Arma- pijami-* (на самом деле эти слова ни с *Arma-*, ни с *pija-* не соотносятся: *arm̃pa*, очевидно, восходит к хет. *arimpa-*, ср. еще Αρυνβα-, а *arm̃pa-imi* содержит суффикс *-imi*, такой же, как, например, в *ṁqreimi* при *mq̂re*; *-mi*, *-imi* был не только отглагольным, но и отыменным суффиксом).

Фонетически невозможно и возведение основы *masan-* (лув. *massan-* «бог») к хет. *mekki* «большой» (Мериджи; как показывает лик. А *mahan-*, основа *massan* содержит этимологическое **s*; ср. кар. *mesna-*, **masar-*, сидет. *masara* «бог», хет. *masri-* «блеск»?).

Неверна основанная на мнимом соотношении с лат. *ipse* «сам» трактовка лик. Б *psse* как местоимения (Мериджи; то же касается и лик Б (*e*)*ripsse*). Существительное *psse* «воитель» (буквально «ниспровергатель») образовано от глагольной основы, представленной в лик. Б *pssa-*, *pzzi-*, хет. *pissa-*, *pessija-* «бросать», ниспровергать»; ср. 44c58—9 *cibe uwe neu psseje qidridi lakadi zirêple* «Мощным же воителям никто не грозит войной» [*qidri-* к хет. *hatrāi-* «писать, посылать», ср. *kurur hatrāi-* «объявлять войну»; в надписи 55 сочетанию *psseje zirêple* соответствует *abura zirâpla*; *zi-*(*e*)*rêpli* значит буквально «боеспособный»: ср. прилагательное **zija* в сочетании *ziu cibe pasbu*; *zi-* связано с хет. *sāi -/ sija-* «бросать, метать, стрелять». Заметим, что с *zirêple* не согласовано следующее *mederêple*: вопреки Мериджи, это — не отдельное слово, а начальная группа нового предложения *me-de-*(*e*)*rêple...*; (*e*)*rêple* согласовано с существительным *truijele* «у труйцев / ликийцев», ср. обычный лок. *trm̃mile* и наречие *trujeli* «truisch, по-милийски»].

В тесной смысловой связи с нашим примером находится предшествующий ему контекст: *ali muwila-de epn̂tadi sebe pasbbâ* «И возвращает победитель (*muwila* — имя деятеля от **muwāi-*; см. выше) *a.* и *p.*» (*ali* «женщина», здесь собирательно: «Frauenschaft»; *pasbba* соответственно — «Männerschaft», отсюда «воинство» и т. п.); *ne-pe ci wisiu utetu n̂telija pidritêni* «Да возвратит основатель это население (?) внутреннему» [архаичный датив *n̂telija* от **n̂teli* < хет.-лув. *andali-* «внутреннее» указывает, что женское и мужское население освобожденных ликийских городов присо-

единяется к «внутренней» Ликии; *ci wisija* «это ~ *w.*» заменяет здесь упомянутое ранее *ali-pasbba*; на то, что *wisi-* обозначает определенную группу лиц, указывают «социативы» — инструментали *vissi-* «fromm» и *wesedi*: в отношении основы ср. лид. лик. Б *epñ-ta-*, *u-te*, как и хет. *appan dai-*, *uda-* значат «zurückbringen, her-bringen»; царь Керига именуется «основателем» — ср. *tuwi... padrete Keriga* «памятник / стелу... основал Керига» — и «освободителем», буквально «возвратителем, Her-bringer» — см. контекст с дативом *utacija* «dem Herbringer»]; *pirli murênedi tuburiz upleziz s(e)-icetesi arppakusêti tm̃pewêti* «Pirli укрепляет / оснащает благородных тубуров, а также гарпагов род» (т. е., ликийцев; *murênedi* значит буквально «делает боеспособными»; ср. имя деятеля *muri* и др.).

От существительного *psse* нормально образовано прилагательное *pssesi* (возможно, от того же корня образовано абстрактное существительное *pise*); существительное *(e)ripsse* «мощный воитель» или нечто подобное (*eri-* к хет. -лув. *arha-*, *arh(ā)i-* «extra») выступает в ряде случаев как одно из обозначений Кериги: 44d44—7 *kzzâtâ-pe trqqiz* [*t*]*r*[*m*]*mile zm̃pde eseti kerigazñ* «Тархунт освятил / основал у ликийцев для *eseti* род Кериги» (*zm̃pde* как *astte*, *sttati* и др); *epeqzz*[*i*] *trppalau* (*e*)*ripssedi* (*a*)*prlleli cedi ñt*[*e*]*-nê eri-ce ziti-ce alu* «пусть (воз)обновит / заменит он через этого мощного воителя апрлево потомство и благородных мужчин и женщин» (аккузативы *epri... ziti... alu* стоят в тексте в ед. ч.).

В 44d55 *(e)ripsse* выступает в качестве субъекта при переходном глаголе *lâte*, в качестве объекта к которому выступает сочетание *kerigazñ m̃qrê*; слово *êmu* «я», стоящее после *(e)ripsse*, является субъектом следующего предложения (предикатом которого служит глагол *eim̃* ⩽ **eimi*); Мериджи произвольно соединяет в одно целое конец и начало названных предложений, наделяя полученное «целое» совершенно невозможным переводом «никто не умер, кроме меня» (на самом деле в обоих предложениях Керига и Кереи воздают хвалу своему народу).

В следующей строфе ликийский (на)род (*trm̃milijêti... tm̃pewêti*) славит (? — *(a) bureni*) «мощного воителя» [*(e)ripsse*] — Керигу.

Принимаемое Мериджи, Ларошем, Гусмани и другими лингвистами соответствие лик. Б. *cibe* = А *tibe* «или» приходится отбросить прежде всего по соображениям комбинаторики (впрочем, и фонетически такое соответствие неоправдано: почему лик. А *tibe* должно соответствовать Б *cibe*, если лик. А *ti* «который» < * $k^{w}i$-, *-ti* (окончание глагола) <**-ti* соответствует в Б именно *ti*, *-ti*? Кроме того, как теперь выяснилось, лик. Б *ci* значило «этот» — такой вывод следует исключительно из комбинаторного анализа; видимо, с *ci* связано этимологически и *cibe* «selbst» (ср. ниже). Во всех тех случаях, где используется *cibe*, оно стоит в связи с группой «существительное — прилагательное», часто разделяя оба эти слова. Так, предложение *trppali metu neu prijelijedi cibe meredi* «пусть изменение не будет предпринято даже благородными воинами/мужами» (*meri* из и.-е. **marjo-* «юноша, мужчина»; *trppali* к лув. *tarpalli-* «замена»; фраза следует сразу за формулой освящения стелы и соответствует аналогичным по смыслу запретам в надписях на стелах в ликийском А) позволяет трактовать *cibe* как «даже, selbst»; та же трактовка подходит и в других случаях. Неверная интерпретация слова *cibe* («или», как А *cibe*) привела Гусмани к неверному членению предложений в 44d50 (он разрывает на части разные предложения, относя кусок одной строфы к другой, совершенно самостоятельной. В *ziu sucredi cibe pasbu* «славит мощное войско» *pasbu* не может быть связано с *urttu*, поскольку *urttu* — начинающее новое предложение! — уже связано с *qelideli* (ср. d38 *qelideli albã* «охраняющую молитву». Членение Гусмани полностью исключает проникновение в смысл фраз.

Неверной является попытка Гусмани отождествить *ece* с *êce* «как, когда». *Ece* «предкам» (? — ср. *ecãne* «некрополь» и лид. *akta-* «принадлежащий покойнику», при хет. *ak-* «умирать»; очевидно, лик. *ec-* и лид. *ak-* значило буквально «мертвый») в действительности представляет собой существительное в дат.-лок. мн. ч., согласованное с *abura* и *zirâpla* «боеспособным воинам/мужам» (?) в надписи 55 (ср. и композиты *ecaburâ*, *ecebura* при *abura*, *abure*). Что касается союза *êce*, то и здесь в интерпретации Гусмани не все верно. Гусмани упускает из виду использование *êce* в сравнительных оборотах типа «X подобно Y». Он переводит 44d6—7 ... *wericle-(e)-êce kñtabâ uweti sucrê* как «и вот когда Геракл прославленного стратега ...-т» (§ 5), вырывая этот участок из контекста (начало предложения: *nice qezm̃mi*; заметим, что в предложениях с *nice* «не» и *êce* «как» индикатив получает императивную значимость). Следует все предложение трактовать так: «Пусть *qezm̃mi* не предписывает высоких наставлений, подобно Гераклу» [т. е., пусть *q.* не делает того, что может делать Геракл; поскольку Геракл был богом у ликийцев: *qezm̃mi* может быть противопоставлено ему как «(на)род, чернь». Действительно, *qezm̃mi* соответствует иер. лув. *hasmi-* «(на)род»].

Соответственно в 44a51—2 *âca hericle se haklaza pabrati kbide hri-kñta-watahi...* Гусмани идентифицирует «субъект *hericle*» (= Б *wericle*), рассматривая все предложение как «Temporalsatz» (там же, примеч. 53). На самом деле мы имеем здесь дело с конструкцией указанного типа; перевод таков: «Подобно Гераклу и Ахиллу вынуждает *кбиде* (= Тиссаферн; см. выше) из высшего руководства...» (Гусмани считает глагол *pabrati* «темным», что немудрено: он и здесь разорвал контекст, оставив без внимания конец предложения: ... *ese tahâna terñ ijânâ* «... к сдаче войско ионийцев»; *ese* связывает все предложение с предыдущим: ср. Б *asa*; *pabra-* при Б *pre(te)* к лув. *papra-/pra-* «hetzen» и др.; инфинитив *tabâna* к хет. *tepawahh-*«унижать» и др.; *ter-* «войско» к и.-е. **k*^{w}*er-*, «резать», ср. воен. *отделение*, *часть*; сюда же хет. *kuera-* «поле», лид. *qira-* «владение»).

Морфологически неверна трактовка Гусмани слов Б *sucri* «великому» как номинатива (но номинатив имел форму *sucre*, как это ясно из аккузатива *sucrê*), а *trm̃mile* «у ликийцев» (= «в Ликии»; ср. *truijele*) как номинатива ед. ч. «ликиец» (ср., в частности, последнюю строку надписи 44, где *sucri* является определением к *trqqñti* «богу»; по Гусмани же — к *trm̃mile*, но «ликиец» будет *trm̃mili*, как это следует, например, из мн. ч. *trm̃miliz* «ликийцы» и др.).

Инструменталь *cm̃masadi* Гусмани трактует как глагол в 44d62, однако здесь уже представлен глагол *ênê sladi* (см. выше), требующий инструменталя. *Cm̃masadi* — слово с суффиксом *-asa-* как *kruwasaz* (номинатив мн. ч. в d59); ср., в отношении основы, *cm̃mêti*, A *cm̃mi-* и др. (вопреки Гусмани, эта основа не имеет отношения к лик. A *cuma/e-* «чистый — очищаться — платить», ср. хет.-лув. *kuma-* «чистый», лид. *kum-*).

Инструменталь *cedi* (ср. *cedije* = *cedi* + *ije*) Гусмани неправильно членит на *ce-d-*, лишая смысла соответствующие предложения.

Неверно членение *sebe-di* и у Мериджи (указ. соч., стр. 15): ведь в таком случае предложение лишается глагола (впрочем, Мериджи обходит эту трудность, связывая два предложения в одно, отрывая, однако, у первого предложения его начало; кстати, членение *sebe+di* исключается милийским материалом: здесь нет «частицы+*di*»). Рассмотрим всю строфу (два предложения): 44c54 *kâzbi tuminesi hñtawã cridesi sebedi qirzê dewis* (*hñtawa* — из лик. A) «В (городах) Кандибе и Тимнесе *Cridesi* (эпитет царя, ср. *crese*; к хет. *kard-* „сердце“; ср. милосердный и др. ?) уделяет/направляет особую долю богу» (*ziwi* и датив мн. ч. *zawa* — ср. *ziwa-lâ-*

— к лид. ↑ *iva-*, хет. *siwa-*«бог»; *z-*, ↑*-*, *s-* здесь из и.-е.**d'*), вопреки Гусмани, *hñtawâ* — не название местности: это определение к *qirze* «доля» — ср. лув. *hars-* — очевидно, соотносится с лик. А *hâta* «Person», таким образом, *hñtawa* «persönlich»); c55—6 *dewis asa muwati zrêtêniz, ali muwilade epñtedi sebe pesbbâ* «И осиливает врагов и возвращает *a.* и *p.* победитель/мощный».

Мериджи членит *epi-de*, рассматривая *-de* как частицу (стр. 14 его статьи), тогда как *epide* — глагол [16] (к хет. *appāi-* «готовить» и др.). Ср. другой глагол — *erite* (в предложении 29.9 *alakssañtra erite teri trm̃misñ* (*teri* = *ter*[ĩ] = *terñ* «Александр остановил ликийское войско», к хет. *arāi-* «останавливать»), который «уничтожает» также и Ларош (он членит: *eri* + *teteri* [17]; для Мериджи *erite* — наречное образование *eri-te*).

Неверно членит Ларош и строфу 44 5—7, разрывая, во-первых, на части два предложения (первое кончается словом *zrppedu* — это здесь подлежащее — «Сарпедон»), уничтожая, во-вторых, формы *nice* и *êce* (с *nice* начинается рассмотренное выше предложение с *qezm̃mi* «(на)род» и *wericle* «Геракл»). Так, Ларош во что бы то ни стало стремится получить двойной союз *-ce* ... *-ce* «и ... и» [18].

Обычно очень осторожный Фридрих, отобравший для второго издания своего «Hethitisches Elementarbuch, I» наиболее четкие ликийские соответствия, последовал здесь за неверной интерпретацией Лароша (стр. 194 книги Фридриха); ошибся Фридрих и на стр. 188, примеч. 3, где он, приняв ликийский А аккузатив *ijânisñ* «ионийца (собират.)» от *ijânis* (ср. *trm̃mis-ñ* при *trm̃mis* и др.) за форму ликийского Б, трактует ее как винительный падеж посессива, типа А *urtaqijahñ cbatru* «уртакиеву дочь»; однако в лик. Б находим в таких случаях *-zñ*, *-zê*).

Неверно членит Гусмани следование *uni* : *têpe* (реконструируя его в виде **unitê-pe*, с глаголом **unite*, но на самом деле *uni têpe* является субъектом предложения и значит «тот род» (в придаточном предложении находим *ti* «который», это местоимение согласовано с *uni*, ср. хет. *uni-* и т. п. Глагол в первом предложении — *trbbêni* (?), ср. *sttâni*, *aburêni*, А *sijêni*, *zasâni*.

Неверное членение Гусмани *atli-t(i)-ñne* вместо *atli tñne* и невозможная с точки зрения ликийской графики и фонетики реконструкция *qâ*[·]*â* в виде *qâ*[*j*]*â* в той же строфе (возможно лишь [n], [m], [t], [p]) лишают

---

[16] Как, впрочем, и *epeite*; этот глагол Мериджи необоснованно сопоставляет с наречным образованием *epñ-te* (там же, стр. 12), что невозможно уже фонетически.

[17] E. Laroche, Comparaison du louvite et du lycien, I, BSL, 53, 1, 1957—1958, стр. 178. Здесь же Ларош неверно соотносит инфинитив *eri-zâna* с хет. *arahzene-* «чужой» и инфинитив *erijeine/a* (связанный с глаголом *erite*, хет. *arāi-*) с лув. *arha* «ех». С этим последним элементом Ларош счел возможным сопоставить даже следование 29.7 *erije-*, в действительности являющееся частью персидского имени *erijemeñne* (Ариямана; кстати, Мериджи неоправданно связывал этс имя с именем 44a40 *irijêm̃m*[*i*], ср. также датив 44b17 (*i*)*rijemeje*). Заметим, что в предложениях с *erijeine* типа 29.4 *ênê hatu sm̃mate teri erijeine* группа *hatu... teri* «собственное войско» стоит в аккузативе; в аналогичном предложении без *erijeine* находим фонетический вариант группы аккузатива 44b12 *terñ hatâ*: Мериджи неверно трактовал следование *hatâ*[.]*ei* как *hatâ*[*h*]*ei*,— на самом деле имеем *hatâ*[*s*]*e-i* или *hatâ*[*m*]*e-i*, *hatâ*[*n*]*e-i*. Ларош и другие исследователи не учли того, что в предложениях подобного типа («остановил войско», «заставил войско остановиться», «вынудил войско к сдаче»и т.п.) в качестве подлежащих выступают имена полководцев (Трббеними в 44b11-2, Кеккебенди, Арттумбара и Ариямана в 29.7, Александр в 29.9 и т. п.; в предложении аналогичного содержания в 44c11 в качестве подлежащих выступают имена *cizzaprñna* — Тиссаферн и (*a*)*rijamâna* — Ариямана). (В связи с варьированием *c*/*z-* в передаче имени Тиссаферна — ср. 44c1 *zisaprñna* — отметим аналогичное варьирование в передаче суффикса *-zi*/*-ci* < **-tjo-*: *zkkazi*, но *utaci*, *sabaci* — отглагольные имена деятеля; в милийском находим вариант *-ct*.)

[18] E. Laroche, Comparaison du louvite et du lycien, I, стр. 174. Для Лароша «формы» *zrppeduni-ce* и *wericlebē-ce* суть согласованные между собой аккузативы.

смысла в целом прозрачную фразу *atli tr̂ne qâ[t]â prijeduli se trm̂mile cuprllese me-pe-ne tubidi urtta trqqiz ...-ce ... esênêmla* «Предстать перед судом (буквально «поставить себя в суд»; *tr̂ne gãtã* связано с хет. *hanti tija-* «предать суду»), *prijeduli* (буквально «высшему судебному совету» — хет.-лув. *parija tulija*) и ликийцев из рода Куприи (буквально «куприиевым ликийцам») заставит нарушителя обетов (ср. *mrskkati* к хет. *marsahh-* «искажать») бог Тархунт ... и эсанамла (орган типа минти)». *Tr̂ne* здесь инфинитив от *ta-* «класть».

*

Уже отмечались в той или иной связи ошибки в интерпретации отдельных слов (они часто происходят из-за недостатка внимания к комбинаторным данным). Отметим еще некоторые существенные просчеты.

Судя по всему, Мериджи (стр. 13) трактует *esbê-te* как аккузатив *esbê* + наречие *te*, но *esbête* представляет собой определение к *unabâme* (очевидно, «в конных сражениях», *esbête*, как *sm̂mête* и т. д., представляет собой датив-локатив мн. ч. от формы прилагательного на *-êti*); *kupdi* Мериджи не считает глаголом (стр. 14), но это именно глагол (императив 2-го лица ед. ч., ср. индикатив 3-го лица *kupdidu*, ср. *askka* — там же — при *askkati*, *slama* при *slâmati*). *Predi* в 44c42 Мериджи трактует как глагол; ср. ту же ошибку у Гусмани, но *predi* в этом случае как и в 44d32 — инструменталь прилагательного (определение к *lakadi* resp. *wakssadi*); глагол *pdura-* Мериджи трактует как «молить(ся)» (стр. 15), но он значит «наделять, давать»; соответственно *ericle* в 44d17 не является обращением («о Геракл!»), а относится к *pdurade* в качестве подлежащего (*trqqñti* же стоит в дативе: Геракл дает нечто «Тархунту», в аккузативе стоит слово *tiu* от **tija*, как *ziu* от **zija*; Мериджи же «согласовал» *trqqñti* с *ericle*, что полностью исключается ликийской морфологией).

Ларош неверно трактует А *epirijeti* как основу, соотносимую с хет. *happirãi-* «продавать». Эта основа представлена и в *happar-* «богатство» и др. и в ликийском она имеет вид *kppara-*, с нормальным соответствием хет.-лув. *h*: лик. *k*. *Epirijeti*, судя по контексту, значит не «продает», а «присваивает», причем вычленяется и приставка *epi-*, обычная при указании на вторичное использование памятников (к хет.-лув. *appa*, *appan*, ср. лик. Б *epñ-zazati* «после выбьет (на камне слова)», *apñta-* «вторичное использование» — основы *za-* и *ta-* восходят к и.-е. **dhē-* «класть», ср. и лид. ↑*a-*). Что касается оставшегося глагола (*e*)*rije-*, то он соотносится с хет. *ara ija* «присваивать». Неверна и трактовка А *cuma-* < лув. *huma-* «цоколь» (о *cuma-* < *kuma-* «чистый» см. выше). Подобные этимологии основаны на мнимых созвучиях.

Гусмани считает (§ 5), что лик. Б *qñnâtbisu* слово темное и едва ли соотносится с А *cbisu* «дважды». Однако ведь именно *tbisu* будет «дважды» на диалекте Б (ср. выше). Строфа с *qñnâtbisu* весьма прозрачна: 44c51—2 *se-de ceri trisu, qñnâtbisu prete lakadi zrêtêni* «И потом в *ceri* трижды-двенадцать раз гнал он походом/боем отщепенца»[19]; значение «двенадцать» за *qñnâtba* (датив мн. ч.) признает, впрочем, и Гусмани.

Неверно связывать *kbadasa* с *pasbasi* в 44d37, как это делает Гусмани. Строфа имеет ведь следующую структуру: *me muni trbbdi tuwi uwadra*; *metupe-ne tesêni qñze prijelija, medetu kezñ kbadasa, alasi dadu-pe sebe pasbasi esênêmla* «Вот утверждение *муни* (эпитет царя?) священную стелу для общин; пусть *тесени* (см. выше) предназначит ее для благородных

[19] Далее говорится, что ликийцы дают «освободителю» (*utacija*, датив от **utaci* «Herbringer»; см. выше) двойную долю, а тубуры — тройную, после чего *cridesi* (титул Кериги) направляет «особую/личную долю» богу (*ziwi*: см. выше).

родов; пусть (он) уготовит (ее) вассаловым родам (*kezm̂* из **kezm̂me*, ср. *qezm̂mi*; ср. выше о *qn̂za* ~ хет. *hanzassa*); пусть передаст (ее) ... *эсанамле*» (ответственному органу, resp. царскому роду; *da-* возможно к и.-е. **dō-* «давать», здесь в милийском архаизм, как и в лидийском: ср. лид. *dâv* «данный»).

*

Таковы некоторые замечания относительно интерпретации ликийских текстов. При соблюдении необходимых условий (учет комбинаторики, фонетики и т. п.)[20] можно составить себе более четкую, чем это было сделано до сих пор, картину структуры ликийского языка (особенно архаичного диалекта Б).

[20] Обращает на себя внимание четкость фонетических соответствий, дающая возможность применять в значительном масштабе этимологическую методику. Архаизм ликийского проявляется не только в фонетике (сохранение **s* и т. п.) и в лексике (высокий процент индоевропейского наследства), но и в морфологии (различение двух спряжений: формы *-ti* : *-i* — 3-е лицо ед. ч. наст. вр., *-tu* : *-u*—импер. 3-е лицо, ср. кар.- т: *-i*— 3-е лицо ед. ч. наст. вр., **-t* : *s* прош. вр. при хет.- *zi* : *-i*, *-t* : *-s*; архаичные *-m(i)*,*-wi* — 1-е лицо ед. ч. наст. вр.; использование архаических местоимений *uni*, *si* (ср. притяжат. *sesi*), *ci*, последнее из которых показывает лувийскую форму датива мн. ч. *cize* < **kinza*, очевидно, это характеризует здесь местоименное склонение; архаичные формы датива ед. ч. на *-ei* : *murei*, *qlei*, *trei*; *-ija*: *utacija*, *ñtelija*; заметим, что милийская морфология менее расплывчата, нежели собственно ликийская).

Все эти данные в сочетании с данными комбинаторного анализа позволяют читать не читавшиеся ранее надписи на ликийском Б, как это следует уже из приведенных выше примеров.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1968

Г. Ф. БЛАГОВА

ТЮРКСКИЙ АФФИКСАЛЬНЫЙ ПЛЕОНАЗМ В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ И АРЕАЛЬНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ

I. В современном языкознании плеоназм обычно трактуется чрезвычайно широко: в ряде случаев сюда причисляются разнородные явления языка и речи; как правило, не принимается во внимание «строевой материал» плеоназма (т. е. не учитывается, что́ именно подвергается повторению — аффиксы или корни, словоформы или разностроевые элементы синтаксических конструкций); при этом не всегда такие плеоназмы различаются как предмет грамматики и как предмет стилистики [1]. Ш. Балли положил начало дифференцированному подходу к «обязательному грамматическому плеоназму» как к принадлежности языка и к «порочному» и «экспрессивному» плеоназмам как к фактам речи [2]. Однако широко и общо сформулированный критерий вычленения «обязательного грамматического плеоназма» в качестве такого, который «требует, чтобы одно и то же понятие было выражено в одной и той же синтагме (разрядка наша. — *Г. Б.*) два или несколько раз» [3], по-прежнему оставлял без внимания разнородность плеоназмов как в плане принадлежности повторяющихся элементов разным уровням языка, так и в отношении характера дистрибуции этих элементов в пределах одной синтагмы или в пределах одного слова [4].

По используемому «строевому материалу» среди плеоназмов можно выделить корневые плеоназмы, т. е. такие, которые образуются посредством частичной или полной редупликации корня. Корневые плеоназмы, которые чаще всего служат для выражения различных грамматических значений, наблюдаются как в различных индоевропейских языках [5], так и в языках других групп — в иберийско-кавказских [6], финно-угорских, маньчжурских, монгольских, тюркских [7]. В исследо-

---

[1] См., например: W. Havers, Handbuch der erklärenden Syntax, Heidelberg, 1931, стр. 174—175, 203, 84, 38, 34, 14, 9.

[2] Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка, М., 1955, стр. 169.

[3] Там же.

[4] В соответствии с сформулированным критерием «наиболее частый случай грамматического плеоназма» Ш. Балли видел, например, в «согласовании, подчеркнутом согласованностью форм» (там же, стр. 170). Ср. «синтаксико-морфологические повторы» у М. И. Адилова (М. И. Адилов, Система повторов в азербайджанском языке. Автореф. докт. диссерт., Баку, 1968, стр. 5), целиком воспринявшего эти взгляды и критерии Ш. Балли.

[5] См., например: А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.— Л., 1938, стр. 196, 199.

[6] А. Глонти описал «случаи двойного образования мн. числа в гурийском говоре грузинского языка»(«Труды Тифлисского гос. ун-та», I, 1936, стр. 341—346; на груз. яз.).

[7] См.: G. J. Ramstedt, Einführung in die altaische Sprachwissenschaft. II — Formenlehre, Helsinki, 1952, стр. 249; Б. А. Серебренников, Историческая морфология мордовских языков, М., 1967, стр. 74—75, 238; М. Е. Евсевьев, Основы мордовской грамматики, в его кн.: «Избранные труды», 4, Саранск, 1963, стр. 47—50;

ваниях по лингвистической типологии редупликация корней как продуктивный грамматический способ слово- и формообразования вводится в число лингвистических универсалий [8].

На основании принципа «строевого материала» могут быть вычленены также аффиксальные плеоназмы, т. е. такие, которые образуются путем удвоения аффиксов одного и того же (или близко сходного) грамматического значения. В зависимости от характера дистрибуции повторяющихся аффиксов среди аффиксальных плеоназмов различаются три неодинаковых по степени грамматизации типа. О первом типе мы говорим в том случае, когда повторяющиеся аффиксы вопреки принципу «разумной экономии аффиксов», который действует в тюркских языках благодаря развитию в них позиционного способа формального выражения, располагаются в пределах синтагмы, присоединяясь к каждому ее члену. Именно эти случаи чаще всего стоят на грани грамматики и стилистики [9].

Другой тип аффиксального плеоназма связан с повторением аффикса одного и того же грамматического значения в пределах аналитического образования. Так, в южном и западном диалектах казахского языка (как и в туркменском говоре Северного Кавказа) при образовании залога от аналитического глагола показатель любого из залогов может присоединяться к обоим компонентам таких глаголов, например: *сал-ын-ып бол-ын-ды* «выстроен», *таяқты ұш-ыр-ып тұс-ірді* «вышвырнул палку», *сырла-с-ып-муңда-с-у* «делиться друг с другом пе-

---

Б. К. Пашков, Маньчжурский язык, М., 1963, стр. 20, 27, 29; Б. Х. Тодаева, Грамматика современного монгольского языка, М., 1951, стр. 84; Г. Д. Санжеев, Современный монгольский язык, М., 1960, стр. 49. В тюркских языках удвоению обычно подвергаются именные части речи, которые, однако, обнаруживают неодинаковое отношение к способам полной и частичной редупликации — см. об этом: Н. К. Дмитриев, О парных словосочетаниях в башкирском языке, в его кн.: «Строй тюркских языков», М., 1962; его же, Грамматика башкирского языка, М.— Л., 1948, стр. 74; ср. также: Н. И. Ашмарин, Материалы для исследования чувашского языка, ч. 1—2, Казань, 1898, стр. 205, 206; М. Ширелиев, Азәрбајҹан диалектолокијасынын әсаслары, Баку, 1962, стр. 136, и др.

[8] См.: С. Н. Муратов, К вопросу об универсальном характере парных и удвоенных слов (на материале алтайских языков), «Конференция по проблемам изучения универсальных и ареальных свойств языков. Тезисы докладов», М., 1966; Б. А. Успенский, Отношения подсистем в языке и связанные с ним универсалии, ВЯ, 1968, 6, стр. 15.

[9] Ср., с одной стороны, явно стилистическое избыточное оформление однородных членов предложения притяжательными и падежными аффиксами (например, *qarindašïḫdïn wa küdägüḫdin bašlaγïl* Rbg. 482, 18 «начни со своего брата и со своего зятя» — C. Brockelmann, Osttürkische Grammatik der islamischen Litteratursprachen Mittelasiens, Leiden, 1951—1954, стр. 363) или необычное для тюркских языков согласование в падеже количественного числительного и определяемого им существительного (др.-уйг. *törttin jïḫgaqtïn* «от четырех углов» — пример Н. А. Баскакова); а с другой стороны — использование повторяющегося аффикса *-li(k)* в качестве способа «синтаксического словообразования» (термин Н. К. Дмитриева; по Э. Р. Тенишеву, это «парный союз») в языке памятников древней и средневековой тюркской письменности, в туркменском, татарском, казахском, чувашском, якутском (см., например: G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 41) — в параллель др.-уйг. *tünli künli* «ночь и день» приводится фин. *yönkin päivänkin* (A. Salonen, Über den syntaktischen Gebrauch der Flexionsendungen der Nomina im Uigurischen, JSFOu, XLIX, 1937—1938, стр. 40). Здесь же можно упомянуть о «внеграмматических» случаях удвоения глагольных словоформ (см.: Р. А. Аганин, Повторы и однородные парные сочетания в современном турецком языке, М., 1959, стр. 26).

Из схожих фактов русского языка можно отметить повторение предлога при каждом из зависящих от него слов (А. А. Шахматов, Исследование о двинских грамотах XV в., ч. I—II, СПб., 1903, стр. 139 и сл.; Л. А. Булаховский, Исторический комментарий к литературному русскому языку, Киев, 1939, стр. 275; Н. П. Гринкова, Некоторые случаи повторения предлогов в кировских диалектах, «Язык и мышление», XI, М.— Л., 1948).

чалью и радостью» [10]. В аналитических числительных соответствующие форманты также повторяются при каждом из компонентов, например: собирательные числительные типа башк. *бишәу-бишәу* «впятером»; разделительные типа гагаузск. *алтышар-алтышар* «по шести» или башк. *унар-унар* «по десяти» и даже с нанизыванием двух сходных по своему грамматическому значению аффиксов — в кизильском говоре башкирского языка *ҡырҡарын-илледәрән* «по сорок-по пятьдесят»; приблизительные — в инзерском говоре башкирского языка *бишләп-алтылап* «примерно по пять-по шесть» [11].

Предметом нашего исследования избран третий, наиболее «чистый» тип аффиксального плеоназма, а именно — удвоение аффиксов одного и того же грамматического значения в пределах слова. Примечательно, что дистрибуция повторяющихся аффиксов в этом типе аффиксальных плеоназмов может быть различной — такие аффиксы располагаются в слове или контактно или же дистантно, причем иногда такое распределение имеет под собою основания смыслоразличительного порядка.

Аффиксальные плеоназмы третьего типа привлекались здесь к изучению вне зависимости от того, ощущается ли их грамматическая избыточность носителями языка, или же эта избыточность утрачивает свой явный характер, а плеоназм уже включен в систему языкового выражения и смыслоразличения («кажущийся» плеоназм), причем в ряде случаев избыточность формантов в нем выделяется путем этимологического анализа, который может быть осложнен произошедшими в плеоназме процессами переразложения основы и семантическими сдвигами в значении того или иного из дублирующихся аффиксов (этимологический плеоназм). Самая возможность превращения аффиксального плеоназма в «кажущийся» или этимологический плеоназм выдвигает проблему преодоления грамматической избыточности; неодинаковые пути и способы такого преодоления будут показаны при разборе конкретных случаев аффиксальных плеоназмов.

Аффиксальные плеоназмы обнаружены во многих индоевропейских языках [12] и широко известны за пределами этой группы языков. «Связывание двух вариантов» одного и того же аффикса отмечалось в финно-угорских [13], а также в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках. В отдельных тюркских языках разобщенные, изолированно рассматриваемые факты плеонастического использования аффиксов обнаруживаются с давних пор, и число их все более увеличивается по мере углубления изучения как истории тюркских языков, так и современного состояния этих языков и их многочисленных диалектов. Тюркские плеоназмы,

---

[10] «Современный казахский язык», Алма-Ата, 1962, стр. 297; С. Аманжолов, Вопросы диалектологии и истории казахского языка, ч. I, Алма-Ата, 1959, стр. 218, 314; С. Куренов, Некоторые морфологические особенности туркменского говора Сев. Кавказа (ставропольского), «Изв. АН Туркм. ССР», 1959, 3, стр. 60 (на туркм. яз.).

[11] Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, стр. 95; Л. А. Покровская, Грамматика гагаузского языка, М., 1964, стр. 126; «Башкирская диалектология», Уфа, 1963, стр. 44; «Башкирский диалектологический сборник», Уфа, 1959, стр. 158.

[12] См., например: Stolz — Schmalz, Lateinische Grammatik, München, 1928, стр. 453—454, 458; Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 207, 209—211, 193, 195; W. Havers, указ. соч. В свете этих фактов взгляд А. Мейе на русскую форму «*пойдемте*, исключительную даже и в русском языке» (ср., однако, в русских диалектах: *пойти-ть*, *придти-ть*), как на «новообразование странного и неожиданного характера» (указ. соч., стр. 172) нуждается в пересмотре.

[13] Д. В. Бубрих, Историческая морфология финского языка, М.— Л., 1955, стр. 16.

таким образом, во многих аспектах вписываются в широкую картину, общеязыковых тенденций [14]. Между тем до последнего времени они как самостоятельный объект изучения не привлекали внимания исследователей [15].

II. Ниже делается попытка проследить аффиксальные плеоназмы по разным тюркским языкам и диалектам с целью выявить некоторые общие моменты в оформлении и семантико-функциональном назначении плеонастических построений. Осуществить это невозможно без учета «контекстов» языковой системы, их породившей, а также современного состояния и истории развития в различных тюркских языках той грамматической категории, выражению которой служит изучаемый аффиксальный плеоназм.

Плеоназмы можно сгруппировать, прежде всего, по степени материальной и семантической идентичности или близости составляющих их аффиксов, а в конечном счете — по степени проявления в плеоназмах грамматической избыточности. В п е р в у ю г р у п п у отнесены случаи наиболее явной грамматической избыточности, возникающие в результате точного повторения одного и того же форманта, обычно живого и регулярно функционирующего в языке (независимо от контактного или дистантного расположения повторяющихся формантов в пределах слова). В области словоизменения назовем здесь, прежде всего, род. падеж на *-ныңкыныңʲ - неңкенеңʲ* в языке западносибирских татар с дистантным расположением повторяющихся формантов (*инәсә н е ң к е н е ң кәйләгән киеп куйыпты* «она надела материно платье») [16]; несомненно, с этим явлением связано оформление притяжательных местоимений подряд двумя сложными формантами *-(н)ыкы, -(н)еке* в инзерском говоре башкирского языка (*минекенеке* «мой», *һинекенеке* и т. д.). Напрашивается также сравнение с отмеченными в шахрисябзском говоре узбекского языка (и особенно распространенными в речи женщин) случаями дистантного двойного наращения аффикса *-дики* (варианта аффикса *-дәги, -дәки*) при именах, означающих родство (*укәйиздикилəдикийə бəрип-кəлип тохтəпсизме*? «ходите ли вы в дом вашего младшего брата?») [17]. Из других плеонастически используемых падежных показателей можно привести также контактно расположенные повторяющиеся аффиксы исходного

[14] Эти тенденции могут получить истолкование в плане идеи С. Карцевского об «асимметрическом дуализме языкового знака», подразумевающем «состояние неустойчивого равновесия», когда «... означающее стремится иметь другие функции, чем его собственная, а означаемое ищет способов быть выраженным другими средствами, чем его знак» (S. K a r c e v s k i, Du dualisme asymétrique du signe linguistique, «Cahiers Ferdinand de Saussure», 14, Genève, 1956, стр. 24; цит. в переводе Н. С. Поспелова, см. его «О лингвистическом наследстве С. Карцевского», ВЯ, 1957, 4, стр. 49; см. также доклад И. П. Мучника «К. Маркс и вопросы диалектики в языкознании», прочитанный на юбилейном совместном заседании Ученых советов Института языкознания и Института русского языка АН СССР 5 V 1968). В отношении тюркских языков этим тенденциям давалось иное объяснение: тюркские языки именно «благодаря своему аглютинативному строю... в процессе своего исторического развития легко воспринимали наращения аффиксов» (А. З а й о н ч к о в с к и й, К вопросу о структуре корня в тюркских языках, ВЯ, 1961, 2, стр. 33).

[15] Со статьей А. Н. К о н о н о в а «О фузии в тюркских языках» (в сб. «Проблемы тюркского языкознания», в печати), где многочисленные случаи плеонастического использования аффиксов получили обоснованное истолкование в аспекте фузии как способа соединения морфем на «определенном этапе в развитии грамматических средств языков алтайской семьи», автор ознакомилась уже после завершения своей работы.

[16] Г. Х. А х а т о в, Диалект западносибирских татар, Уфа, 1963, стр. 154, 159.

[17] Б. Д ж у р а е в, Шахрисябзский говор узбекского языка, Ташкент, 1964, примеч. к стр. 85. Ср. в якутском языке соединение в местоименных образованиях двух этимологически вскрываемых однотипных показателей —*-(н)і(ҥ)гі* и *-дагі*: *Міʲігіннäʒі* «у меня находящийся», *äjігіннäʒі* «у тебя находящийся» (С. В. Я с т р е м с к и й, Грамматика якутского языка, Иркутск, 1900, стр. 84).

падежа в языке памятников древнетюркской письменности [*oγ(u)zd(ï)n-d(ï)n*, *tašdïnd(ï)n*] [18].

Сюда же отнесем соединение двух вариантов показателя одной и той же грамматической категории в пределах слова. Это отмеченный еще В. В. Радловым как «ошибочное написание» в древнетюркских надписях из Монголии случай повторного оформления дательно-направительного падежа при посессивном склонении (контактное расположение вариантов аффикса этого падежа: *кунчуjумӟ а k a*) [19], вполне подтверждаемый современными данными — ср. то же явление в посессивном склонении в языке западносибирских татар (дистантное расположение более разнородных вариантов аффикса того же падежа: *инәмәләргә*, *әкәмәләргә*), в склонении местоимений 1 и 2-го лиц обоих чисел в якутском языке (*миэхэҕэ*, *биһиэхэҕэ*) [20]. Здесь же можно отметить наличие двух вариантов местного падежа в местоименном образовании говора верхоянских якутов *ханнатааҕыный* «гдешний» [21], параллель которому составляют случаи двойного и даже тройного наращения вариантов аффикса местного падежа в языке памятников древнетюркской письменности — *min t ä d ä*, *sin t ä d ä* и *an t a d a t a* [22].

Можно назвать также широко распространенное почти во всех тюркских языках и диалектах и уходящее корнями далеко в глубь веков [23] плеонастическое использование обоих вариантов аффиксов принадлежности 3-го лица ед. числа. В именах существительных такой плеоназм, начиная с «Гагаузских этюдов» Н. К. Дмитриева, связывается иногда с возникновением так называемых вторичных основ имен. Другая сфера распространения этого плеоназма — числительное *бир* (и его производные вроде *біреу* [24]), указательные и вопросительные местоимения, субстантивации которых служит двойное употребление аффикса принадлежности 3-го лица. Приведем только наиболее выразительные случаи контактного нанизывания аффиксов, как, например, *ул ъ с ъ*, *бул ъ с ъ*, *шул ъ с ъ* в бешкентском говоре узбекского языка, *кім і с і*, *бәр і с і* в кзыл-ординском говоре казахского языка, *бу с ы с ы*, *ан'с ы с ы*, *шул с ы с ы*, *бер с есе* в говоре татар Нагорной стороны ТАССР [25], а также дистантного при-

[18] A. v. G a b a i n, Alttürkische Grammatik, Leipzig, 1950, стр. 88; G. J. R a m s t e d t, указ. соч., стр. 36.

[19] W. R a d l o f f, Die alttürkische Inschriften der Mongolei, СПб., 1897, стр. 81.

[20] Г. Х. А х а т о в, указ. соч., стр. 155; Л. Н. Х а р и т о н о в, Современный якутский язык, ч. I, Якутск, 1947, стр. 157. О плеонастическом использовании дат. падежа, как и исходного и других падежей, в чувашском см.: J. B e n z i n g, Tschuwaschische Forschungen (IV). Kasus, ZDMG, 96 (N. F. 21), Hf. 3, 1942, стр. 452, 453 и сл.

[21] П. С. А ф а н а с ь е в, Говор верхоянских якутов, Якутск, 1965, стр. 140.

[22] A. v. G a b a i n, указ. соч., стр. 91 и 93; В. М. Н а с и л о в, Язык орхоно-енисейских памятников, М., 1960, стр. 37; е г о ж е, Древнеуйгурский язык, М., 1963, стр. 42; А. М. Щ е р б а к, Грамматический очерк языка тюркских текстов X—XIII вв. из Восточного Туркестана, М.—Л., 1961, стр. 90; C. B r o c k e l m a n n, [рец. на кн.:] A. v. Gabain, Alttürkische Grammatik, ZDMG, 96 (N. F. 26), Hf. 2, 1942, стр. 358.

[23] См.: C. B r o c k e l m a n n, Osttürkische Grammatik..., стр. 335 и сл.; А. Н. К о н о н о в, Родословная туркмен, М.— Л., 1958, стр. 137; Г. Ф. Б л а г о в а, Использование достижений современной узбекской диалектологии при освещении фактов истории узбекского языка (на материале «Бабур-наме»), «Вопросы диалектологии тюркских языков», IV, Баку, 1966, стр. 107.

[24] См.: *бірeуісі* «некто» (Т. А й д а р о в, Языковые ссобенности казахов Тамдинского района Узбекской ССР. Автореф. канд. диссерт., Ташкент — Алма-Ата, 1967, стр. 18). А. Габен (указ. соч., стр. 106) в образованиях типа *birisi* видит действие аналогии с *iki-si*. Ряд исследователей рассматривают *-s-* в *bir-i-s-i* в качестве показателя множественности (см., например: W. K o t w i c z, Les pronoms dans les langues altaïques, Kraków, 1936, стр. 20; G. J. R a m s t e d t, указ. соч., стр. 69).

[25] Д. А б д у р а ҳ м о н о в, Бешкент шеваси, ЎТА, 1964, 2, стр. 63; Ш. Б е к т у р о в, Кзыл-ординский говор казахского языка. Автореф. канд. диссерт., Алма-Ата, 1968, стр. 14; «Материалы по диалектологии», [1], Казань, 1955, стр. 40.

соединения их — *кайһыныһы* в казмашевском и бурзянском говорах башкирского языка, *sïŋlï larï*, *oŋlï larï*, *qoinï larïŋa* в языке средневековой чагатайской литературы [26].

Скорее всего, именно полифункциональностью, своего рода семантической «стёртостью» числительного *бир* можно объяснить многослойное нагнетение генетически однородных [27] и разнородных вариантов аффиксов при образовании от него разделительного числительного в инзерском говоре башкирского языка: *бер ә р е ш ә р ҙ ә п бүлеп бирҙе* «он раздал по одному» [28]. При образовании других разделительных числительных два сходные по своему грамматическому значению аффикса в пределах слова нанизываются в кизильском говоре башкирского языка, а также в говоре башкир долины реки Ай (*алты-ш а р - ҙ а п* «по шести», *өс-ә р - ҙ ә п* «по три») и в чувашском языке (*ik š ɛ r ə n* «по два», *tĕvat š a r ҫ n* «по четыре») [29]. Далее, в области словообразования можно указать на повторное употребление при прилагательном или наречии аффикса уменьшительной «степени» *-раҡ* в татарских говорах на территории Мордовской АССР: *аз р а р р а ҡ* «меньше», *кече р ә г р ә к* «моложе» (ср. в шахрисябзском, самаркандском и бухарском говорах узбекского языка соединение разнородных аффиксов: *оз р ə ҡ ҡ ъ н ə* «чуть меньше») [30].

В якутском языке и его говорах для взаимно-совместного залога используется аффикс в удвоенном виде (*бар с ы с-*, *кел с и с-*), а для понудительного залога — «тавтологический» аффикс *-арт* (в говорах Верхоянска и Булунского района ЯАССР: *ah a p t-* «пропускать», *сит ə р т-* «доводить до конца»), как и в тувинском, караимском языках; соединение двух вариантов аффикса этого залога в свободной последовательности также без приобретения залогового значения II степени зафиксировано в кокандском говоре узбекского языка (*йе г ъ з д ъ р-* «заставить есть», *эпкелт ъ р г ъ з-* «заставить принести») [31], не говоря уже о том, что формы понудительного залога II и даже III степени известны многим тюркским языкам; то же можно сказать о плеонастическом показателе страдательного залога *-лын/-ылын*. В казмашевском говоре башкирского языка встречается и дополнительно «наращенный вариант» показателя страдательного залога *-лыныл*, не дающий здесь каких-либо дополнительных оттенков значения [32].

---

[26] «Башкирский диалектологический сборник», стр. 102; «Башкирская диалектология», стр. 102; C. B r o c k e l m a n n, Osttürkische Grammatik..., стр. 75.

[27] При образовании разделительных числительных в башкирском говоре долины реки Ай («Башкирский диалектологический сборник», стр. 32) происходит двойное присоединение осколков варианта аффикса *-шар*: *ун-ы ш-ы ш-а р* «по десяти», *биш-е ш-е̯ш-ə р* «по пяти».

[28] «Башкирский диалектологический сборник», стр. 157. Ср. в говоре башкир долины р. Ай: *бер алты-ы ш-ш а р-ҙ а п бир* «отдай приблизительно по шесть» (там же, стр. 42).

[29] J. B e n z i n g, указ. соч., стр. 441.

[30] «Материалы по татарской диалектологии», 2, Казань, 1964, стр. 107; Б. Д ж у р а е в, указ. соч., стр. 96. Ср. в северных таджикских говорах использование заимствованного узбекского аффикса *-роҳ* в сочетании с таджикским суффиксом сравнительной степени *-тар*: *teztarroq/tezroqtar* «быстрее» (В. С. Р а с т о р г у е в а, Опыт сравнительного изучения таджикских говоров, М., 1964, стр. 130). Примечательно, что для индоевропейских языков «весьма обычным является скопление нескольких суффиксов сравнительной или превосходной степени» и «у имен уменьшительных... скопление суффиксов тоже играет большую роль...» (Г. П а у л ь, указ. соч., стр. 195).

[31] П. С. А ф а н а с ь е в, указ. соч., стр. 141, 142; Е. И. К о р к и н а, Некоторые морфологические особенности говора населения Булунского района, «Научные сообщения [ЯФ СО АН СССР]», 6, 1961, стр. 64. Ср.: К. А ш и р а л и е в, Древние тюркские элементы в современных языках, сб. «Источники формирования тюркских языков Средней Азии и Южной Сибири», Фрунзе, 1966; К. М. М у с а е в, Грамматика караимского языка, М., 1964, стр. 251. Ср. также: Ш. Н о с и р о в, Қўқон шевасининг баъзи морфологик хусусиятлари, ЎТА, 1964, 3, стр. 61.

[32] «Башкирский диалектологический сборник», примеч. 28 к стр. 126.

Вторую группу составляют случаи различных градаций менее явной грамматической избыточности, которые создаются, в основном, в результате контактного присоединения двух генетически разнородных аффиксов, выражающих одно и то же или сходное грамматическое значение. Контаминирующиеся аффиксы могут быть либо оба живыми и одинаково употребительными (и тогда грамматическая избыточность может ощущаться вполне отчетливо), либо один из них может быть уже устаревшим, со стертым или затемняющимся грамматическим значением и со сферой действия, ограниченной определенным лексическим пластом (и тогда для выявления формантной избыточности нужен специальный анализ).

Из случаев первой подгруппы в словообразовании можно отметить слияние разных глаголообразующих аффиксов с одним и тем же, например, учащательным значением [33], а в словоизменении — соединение показателей местного и исходного падежей (др.-тюрк. *мун т а д а н* «отсюда»; *ara d a d ï n* Tezk. 231 как перевод арабск. «az miyān»; ср. с обратным порядком следования тех же показателей — казан. татар. *taw d ï n d a tawγa* «с горы на гору»), дательно-направительного и исходного (гагаузск. *šindi-y a-d a n* «bis jetzt») или местного и сравнительного падежей (в якутском говоре Эгинского наслега *маннатаабар* «чем это») [34].

К случаям второй подгруппы можно отнести контаминацию древнего направительного (*-ɓа + ру*) и дательно-направительного (в татарском языке и его говорах, в башкирском говоре Туймазинского р-на БАССР при посессивном склонении и при склонении личных и указательных местоимений: *миң э р г э*, *шуң а р г а*, турецк. *bu r a y a*), исходного (алт. хакас. *an a r t y n*, *тур а р т у н*, турецк. *bu r a d a n*) или местного (турецк. *bu r a d a*) падежей [35]. Здесь же можно рассматривать и распространенное в казахском, киргизском, каракалпакском, узбекском и многих других, главным образом, восточных тюркских языках присоединение показателя мн. числа *-лар* к местоимениям 1 и 2-го лиц мн. числа *биз* и *сиз*, в составе которых принято этимологически выделять *-з* — архаический формант множественности (или двойственности), как таковой уже не воспринимающийся говорящими; соответственно *-лар* присоединяется и к полному и к краткому предикативным показателям 2-го лица мн. числа; в местоимении *хусамăр* «вы сами» курмышского говора чувашского языка также соединены два этимологически выделяемых аффикса мн. числа (*-сам + -р*) [36].

Ко второй подгруппе примыкают случаи контаминации разноязычных аффиксов, выражающих одно и то же или сходное грамматическое значение. Здесь контаминация происходит в результате того, что языковое сознание не вычленяет иноязычных аффиксов в составе слова и для выражения надлежащей грамматической семантики стремится воспользоваться своими собственными морфологическими средствами, повинуясь действию грамматической аналогии. Таким образом, здесь налицо плеоназм кажу-

[33] См.: Э. В. Севортян, Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. Опыт сравнительного исследования, М., 1962, стр. 346.

[34] А. М. Щербак, указ. соч., стр. 82; C. Brockelmann, Osttürkische Grammatik..., стр. 156; «Philologiae Turcicae fundamenta», I, Wiesbaden, 1959, стр. 268; П. С. Афанасьев, указ. соч., стр. 140.

[35] Ф. Г. Исхаков, Местоимения, ИСГТЯ, ч. II, М., 1956, стр. 221; «Материалы по татарской диалектологии», [1], стр. 68, 180, 181; «Материалы по татарской диалектологии», 2, стр. 68; Л. З. Залялетдинов, Средний диалект татарского языка, Казань, 1954; «Башкирский диалектологический сборник», стр. 144; M. Räsänen, Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen, Helsinki, 1957, стр. 33; ср. также: G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 32.

[36] См.: Н. И. Ашмарин, Материалы для исследования чувашского языка, ч. 1—2, Казань, 1898, стр. 192; O. Pritsak, Tschuwaschische Pluralsuffixe, «Studia Altaica», Wiesbaden, 1957, стр. 143.

щийся, построенный на невосприятии иноязычного форманта и выделяемый лишь путем анализа. Назовем двойное обозначение мн. числа в якутском языке, где именные основы на *-н*, *-р*, *-й*, как и в письменном монгольском, получают пережиточный формант мн. числа *-т*, некогда использовавшийся для ограниченного числа слов в тюркских языках восточного ареала, и, кроме того, снабжаются показателем мн. числа *-лар* [37]; точно такой же случай представлен в формах *är-än-lär* «мужи», *oγl-an-lar* «сыновья» (еще в древнеуйгурском *är-än*, *oγl-an* воспринимались как формы множественности, а в языке времен Махмуда Кашгарй уже употреблялись в качестве ед. числа, принимая во мн. числе показатель *-lar* [38]); ср. также присоединение *-лар* к арабским именам, уже имеющим «ломаную» форму мн. числа, в чагатайском и других старописьменных тюркских языках (*mamālikläг* «страны», *avliyālar* «святые») [39]. В чувашском языке русское заимствование «первый» получило аффикс относительного прилагательного *-χi* — *pirvajχi* [40]. В говоре верхоянских якутов в местоименном образовании *ханната а б ы н ы й* «гдешний» контаминировалось два аффикса относительного прилагательного — якут. *-тааҕы* и русск. *-ный*.

Собранный здесь материал уже сам по себе позволяет пересмотреть общее положение, согласно которому присоединение подряд нескольких аффиксов одного и того же грамматического значения к одной и той же основе считалось «чертой, свойственной категориям словообразования, а не словоизменения» [41]. Факты многих и многих тюркских диалектов показывают, что в плане плеонастического использования формантов категории словообразования и словоизменения не обнаруживают никаких различий; более того, именно в области словоизменения выявляется значительно больший ассортимент плеоназмов.

III. Между строевым характером плеоназма, с одной стороны, и способом преодоления грамматической избыточности плеоназма (т. е. его функциональным и грамматико-семантическим развитием, в конечном итоге которого плеоназм становится «кажущимся»), с другой, обнаруживается известная зависимость. Наиболее благоприятные условия для преодоления грамматической избыточности, естественно, складываются у плеоназмов II группы, особенно для случаев контаминации живого и устарелого аффиксов (именно с таких случаев удобнее всего начать рассмотрение): здесь в той или иной мере затемненная избыточность может преодолеваться на уровне формантов. Это происходит чаще всего либо на основе полного стирания первоначального грамматического значения устарелого аффикса и вытекающего отсюда переразложения основы,

---

[37] См.: С. В. Я с т р е м с к и й, Падежные суффиксы в якутском языке, Иркутск, 1898, стр. 9; Л. Н. Х а р и т о н о в, Современный якутский язык, ч. I, стр. 102—103; Е. И. К о р к и н а, указ. соч., стр. 62; е е ж е, О некоторых особенностях говора якутов Момского района, «Труды Института ЯЛИ Якутского филиала АН СССР», 1 (6), 1959, стр. 33; Н. К. А н т о н о в, Заметки о говоре якутов Средне-Колымского района, «Сборник диалектологических материалов якутского языка», Якутск, 1961; Г. А. Н и к и ф о р о в, Категория множественности в якутском языке. Автореф. канд. диссерт., М., 1952, стр. 7, 10.

[38] С. B r o c k e l m a n n, Osttürkische Grammatik..., стр. 150.

[39] Там же, стр. 151; J. E c k m a n n, Chagatay manual, Bloomington, 1966, стр. 78.

[40] J. B e n z i n g, Tschuwaschische Forschungen (I), ZDMG, 94, Hf. 2, 1940, стр. 260, 264.

[41] Н. К. Д м и т р и е в, Грамматика башкирского языка, стр. 184; ср. также «Современный казахский язык», Алма-Ата, 1962, стр. 296. А. А. Р е ф о р м а т с к и й, оставляя в стороне плеоназмы диахронического порядка и так называемые «аффиксы-омонимы», полагает, что вообще «в агглютинативных языках повторение тех же аффиксов в пределах одного слова — явление чрезвычайно редкое» (см. его статью «Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова», в сб. «Морфологическая типология и проблема классификации языков». М.—Л., 1965, стр. 84).

либо в результате переосмысления значения или функции одного из контаминирующихся аффиксов.

Один из таких случаев представлен в плеонастической форме местоимения 2-го лица мн. числа *сизлар* (с вариантами по разным языкам), которая, как подчеркнул Т. Ковальский, была неизвестна орхонским надписям и впервые встречается в турфанских текстах [42]. Природа этого плеоназма особенно отчетливо вырисовывается при сопоставлении с алт. *слерлер* «вы», где вместо диахронических «вариантов» показателя мн. числа повторен один и тот же современный аффикс [43]. Забвение первоначального значения архаического показателя множественности *-з* в тюркских языках оказалось тесно связанным с переосмыслением противопоставления *сен — сиз* (в плане «ты» — «Вы») на основе развивающихся социальных отношений, причем в это противопоставление было вовлечено также и местоимение 1-го лица мн. числа *биз*, которое, по наблюдению П. М. Мелиоранского, в казахском языке (при нечастом тогда употреблении «Вы» вместо «ты») использовали, «говоря о себе одном, для выражения почтения собеседнику».

Переосмысление противопоставления *сен — сиз*, а главным образом — стирание архаического показателя мн. числа *-з* и ответное стремление языка выравнять числовую дифференциацию личных местоимений по аналогии с именами [44], имевшими в качестве форманта множественности *-лар/-лер*, явилось той основой, на которой стало возможно плеонастическое (правда, теперь уже только с чисто внешней, формальной стороны) присоединение аффикса *-лар* к местоимениям *сиз* и *биз*. *Бизлар*, используясь в стилистических целях в алтайском, тувинском, каракалпакском, киргизском, казахском, сарыгюгурском языках, в салырском диалекте [45] и, как сообщила нам З. Б. Мухамедова, в южных говорах ёмудского диалекта туркменского языка, продолжает существовать там параллельно с *биз* [46]. Форму *cizläp* можно наблюдать в памятниках древнетюркской письменности разной диалектной и хронологической принадлежности, начиная с турфанских текстов. В чагатайском языке наряду с *cizläp* употреблялась также и *bizläp* [47], однако эти формы пока еще четко не участвовали в разветвлении оппозиции *сен — сиз*. Сказалось это и в чисто формальном плане — в возможности соотнесения *cizläp* с предикативным показателем *-ің*: *cizläp қатілің* [48] «Вы присоединяйтесь!»,

[42] См.: T. K o w a l s k i, Zur semantischen Funktion des Pluralsuffixes *-lar*, *-lār* in den Türksprachen, Kraków, 1936, стр. 16.

[43] Если исходить из нашей классификации плеоназмов, то алт., ойрот. *слерлер*, тув. *силерлер*, *олардар* и т. п. следует рассматривать в кругу выделенной I группы. Однако грамматическая семантика этого плеоназма и характер преодоления в ней грамматической избыточности обнаруживают прямое тяготение его к рассматриваемому случаю II группы. Этот пример явствует, насколько языковая реальность сложнее любых языковедческих схем.

[44] О числовой дифференциации и выравнивании по аналогии подробно см.: Э. А. М а к а е в, Вопросы именного склонения в древних германских языках, «Труды Института языкознания [АН СССР]», IX, 1959, стр. 34, 9. Э. А. Макаев, который предложил такую трактовку рассматриваемого плеоназма и которому автор признательна за критические замечания, обратил наше внимание и на то, что «явления вклинивания элементов именной парадигмы в местоименную и наоборот широко представлены в разных языковых семьях, в том числе и в индоевропейских языках».

[45] М. А т а д ж а н о в, Салырский диалект туркменского языка. Автореф. канд. диссерт., Ашхабад, 1959, стр. 11; там же встречается и *сизлер*.

[46] Н. Poppe усматривает оппозицию инклюзивного *bizlār* и эксклюзивного *biz* (N. P o p p e, Introduction to Altaic linguistics, Wiesbaden, 1965, стр. 192).

[47] А. М. Щ е р б а к, Грамматика староузбекского языка, М.— Л., 1962, стр. 133; J. E c k m a n n, указ. соч., стр. 112; А. Н. К о н о н о в, Родословная туркмен, стр. 135.

[48] «Бабер-наме или Записки Султана Бабера». Изданы в подлинном тексте Н. И. [Ильминским], Казань, 1857, стр. 331_5 (далее — БН).

между тем как этот показатель в языке того периода мог передавать и почтительное отношение ко 2-му лицу ед. числа (что, например, Н. К. Дмитриев считал первоначальным для *-іӊ* [49]): *йанімӧа кӭ̈ліб айтті кім кӧрӱӊ* БН 133_{1-2} «он подошел ко мне и сказал: смотрите!».

Результаты аналогического выравнивания числовой дифференциации личных местоимений в наиболее законченном виде представлены, например, в тарском говоре западносибирских татар, где во мн. числе местоимения всех трех лиц регулярно принимают показатель *-лар* — *песлэр*, *сеслэр*, *уллар* [50]; для полноты картины напомним также зафиксированную в языке разных памятников древнетюркской письменности форму *сӭнläр*, казах. *сендер*. В тувинском языке для местоимений всех трех лиц допустимо даже и двойное нанизывание аффикса *-лар/-лер*: *бистерлер*, *силерлер*, *оларлар* [51]. Между тем *сизлар* (с вариантами) в ряде языков вытеснило из сферы мн. числа форму *сиз*, в одних случаях — например, в казахском, киргизском — закрепив за нею выражение почтительности в ед. числе, а в других случаях — как в алтайском, хакасском, сарыг-югурском — обусловив ее выпадение из схемы личных местоимений. В результате этого перемещения *сиз* из сферы мн. числа в ряде восточных тюркских языков (особенно отчетливо — в казахском) противопоставление «ты» — «вы» сильно разветвилось (см. казах. *сен* — *сіз*, *сендер* — *сіздер*) и оказалось коррелирующим еще и с местоимением 1-го лица мн. числа *біз* и его плеонастической формой *біздер*.

Осложнившееся противопоставление «ты» — «вы» нашло свое отражение в глагольных полных и кратких показателях лица. Уже в чагатайском для 2-го лица мн. числа наряду с показателем *-іӊ*, выделяются *-іӊіз*, а также *-іӊлар* и «не совсем обычная» для этого языка форма *-іӊізлар* [52]; сам по себе этот набор показателей, как и «необычность» последней формы (ср. возможность соотнесения *сізläр* с глагольным показателем *-іӊ* в «Бабур-наме»), показывают, что разветвленная оппозиция *сен* — *сиз* в области предикативных показателей лица в этот период также переживала процесс становления; процесс этот не вполне завершен и во многих современных представителях восточной группы тюркских языков [53]. Отражение в предикативных показателях лица вполне сформировавшейся такой оппозиции зафиксировал, например, в казахском языке прошлого века П. М. Мелиоранский, отмечавший употребление форм на *-ыӊыз*, *-сыз* «по отношению к одному лицу, которое говорящий считает выше себя по общественному положению», и на *-ыӊыздар*, *-сыздар* при обращении «к нескольким лицам, которых считают выше себя» [54]. При этом

[49] Н. К. Дмитриев, Турецкий язык, М., 1960, стр. 54.

[50] Д. Г. Тумашева, Көнбатыш Себер татарлары теле, [Казан], 1961, стр. 86—87.

[51] Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбах, Грамматика тувинского языка, М., 1961, стр. 216.

[52] А. М. Щербак, Грамматика староузбекского языка, стр. 156, ср.: J. Eckmann, указ. соч., стр. 153, 156; А. Н. Кононов, Родословная туркмен, стр. 143; З. А. Умаров, Грамматика староузбекского языка «Мабани ул-луғат» Мирзы Мехдихана. Автореф. канд. диссерт., Ташкент, 1967, стр. 18, 19. По К. Броккельману («Osttürkische Grammatik...», стр. 226), формант *-ïӊïzlar* появился как комбинация имевших различное ареальное распространение показателей — *-ïz* (у гуззов и кыпчаков) и *-lar* (у остальных тюрков).

[53] Ср., например, современный карачаево-балкарский язык в связи с влиянием на него казахского, киргизского и узбекского языков (см.: А. Ю. Бозиев, *Сиз* деген сӧзню джангы къуллугъу, «Уч. зап. [Кабардино-Балкарского НИИ]», XXIV, Серия филолог., Нальчик, 1967). В турецком языке иногда встречаются формы «pluriel d'amplification» *siz-ler*, *biz-ler* [J. Deny, Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli), Paris, 1921, стр. 203], однако, предикативный показатель *-inizler* признан «не специфичным для турецкого языка», хотя и отмечен в староосманском (стр. 1144).

[54] П. М. Мелиоранский, Краткая грамматика казак-киргизского языка, ч. II, СПб., 1897, стр. 3.

особенно отчетливо плеонастический характер аффиксов *-ыңыздар, -сыздар* выявляется при сопоставлении с тувинским полным показателем 2-го лица мн. числа *-силерлер*, участвующим в указанном противопоставлении форм [55]. В качинском диалекте хакасского языка в личных глагольных формах и формах сказуемости 1-го лица ед. числа к показателю *-быс* очень часто присоединяется дополнительный признак множественности *-тар/тер* [56].

Наблюдения В. Котвича, Ахмета Дж. Эмре и наши собственные над личными местоимениями 2-го лица ед. и мн. чисел и соответствующими глагольными показателями лица, равно как и развернутые справочные таблицы предикативных показателей лица, составленные Р. Ф. Тарасенко [57], довольно отчетливо связывают исследуемый плеоназм с тюркскими языками восточного ареала [58] (из фактов, не укладывающихся в эту схему, назовем спорадическое использование форм *bizler*, *sizler* в турецком вместе с не свойственным ему предикативным показателем *-inizler*; азербайджанские формы *бизлэр*, *сизлэр* предназначены только для обозначения «членимого множества» [59]).

Несомненна связь рассматриваемого плеоназма, прежде всего, со «специфической чертой алтайских языков» — «частыми комбинациями отдельных суффиксов мн. числа» [60]; в ряде монгольских и тунгусо-маньчжурских языков эта черта реализуется также в двойном наращении показателей мн. числа у личных местоимений 1 и 2-го лиц, например: халхаск. *бид* «мы» — *бид нар*, *биднууд*, *та* «вы» — *танууд*, *та нар* (плеонастические формы передают оттенки почтительности, иногда пренебрежительности или уничижительности) или эвенкийское местоимение 1-го

---

[55] К. Аширалиев, указ. соч., стр. 104. Примечательно, что вне такого противопоставления повторное употребление аффикса мн. числа при временной основе и при показателе модальности в целях выражения почтительности к 3-му лицу (например, в «Бабур-наме»: *Мулла Мадарзад дәр л ạ р әркạндур л а р* БН 223_{19} «Мулла Мадарзад, оказывается, [изволят] говорят») о сталось индивидуальным случаем интенсивирующей избыточности.

[56] См.: Д. Ф. Патачокова, Способы выражения категории множественности в качинском диалекте хакасского языка, «Уч. зап. [Хакасского НИИЯЛИ]», X (Серия филолог.), Абакан, 1964, стр. 10, 11.

[57] Пользуемся случаем выразить признательность Р. Ф. Тарасенко, предоставившей нам возможность ознакомиться с подготовленным ею к печати справочником по именному формообразованию в тюркских языках, а также О. А. Лаптевой, Б. А. Серебренникову, Э. Р. Тенишеву, Н. И. Толстому, Е. И. Убрятовой, сделавшим ценные критические замечания при чтении рукописи статьи.

[58] См.: В. Котвич, Исследование по алтайским языкам, М., 1962, стр. 170; A. C. Emre, Étude comparative sur les pronoms personnels, «Türk dili. Türkçe-fransızca belleten». Seri II, 3—4, 1940, стр. 107.

[59] См. С. Х. Гусейнова, Местоимения в современном русском и азербайджанском языках. Автореф. канд. диссерт., Баку, 1962, стр. 4; ср. также сообщение средневекового «Араба Филолога о турецком языке» (П. М. Мелиоранский полагает, что речь идет тоже об азербайджанском языке), где в отношении «нескольких присутствующих» «надо употребить „вы“, т. е. *сізлāр*, а иногда говорят просто *сіз*» (П. М. Мелиоранский, Араб Филолог о турецком языке, СПб., 1900, стр. 023), а «на счет образования мн. числа от глаголов» 2-го лица приводятся формы *гәлдіңіз*, *гәлдіңізлāр* и *гәлдіңлāр* (там же, стр. 012).

[60] N Poppe, Plural suffixes in the Altaic languages, UAJb, XXIV, 3—4, 1952, стр. 65. В этом смысле примечательна точка зрения, рассматривающая тюркский показатель мн. числа *-lar* как составленный из двух этимологически выделяемых формантов мн. числа: **-la* + **-r*, ср. монг. *-nar* < **-na* + **-r* (там же, стр. 73), и аналогичный взгляд на чувашские показатели мн. числа, усматривающий почти в каждом из них «die zusammengesetzten Suffixe» (O. Pritsak, Tschuwaschische Pluralsuffixe, стр. 154). См. также: G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 54; В. И. Цинциус, Множественное число имени в тунгусо-маньчжурских языках, «Уч. зап. [ЛГУ]», Серия филол. наук, 10, 1946, стр. 79 и сл.; Г. М. Василевич, Очерк грамматики эвенкийского (тунгусского) языка, Л., 1940, стр. 31, примеч. 1.

лица мн. числа *м'итил* («суффикс- *тил* состоит из двух суффиксов мн. числа: *-ти* и *-л*») [61]. Благодатную почву для возникновения подобных числовых плеоназмов представляет собой параллельное существование нескольких окончаний мн. числа; эта черта присуща не только всем языкам алтайского типа, но также и уральским языкам [62].

В I группе аффиксальных плеоназмов грамматическая избыточность не может преодолеваться на основе переосмысления контаминирующихся аффиксов — полное тождество их формы не способствует развитию самостоятельного грамматического значения одного из них. Один из возможных способов преодоления избыточности проследим на примере плеонастического род. падежа *-ныңкының* в языке западносибирских татар. По своей природе этот плеоназм оказывается тесно связан с двумя несомненно сопряженными друг с другом инновациями. Это, прежде всего, довольно рано произошедшая в древнетюркских языках восточного ареала замена старых пространственных падежей личных и указательных местоимений (например, *bizgä*, *sizdä*), равно как и при посессивном склонении, формами типа *biziŋä*, *siziŋdä* [63] (так называемое «двойное склонение»), усложненными за счет включения показателя род. падежа, который играет, таким образом служебную роль в падежной парадигме [64]. Это явление в той или иной мере сохранилось в современных уйгурском и киргизском языках. Более поздняя инновация — закрепление форманта *-ки* за притяжательными образованиями [65], производными от род. падежа, и расширение функций подобных образований — в конечном счете обусловила проникновение образований на *-ниңки* в падежную парадигму как средства включения [66] и привела к постепенному вытеснению оттуда простого показателя род. падежа. В качестве примера здесь, прежде всего, можно назвать якутские местоимения 1 и 2-го лиц мн. числа *биһиги*, *эһиги*, а также падежные формы местоимений 1 и 2-го

[61] Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монгольских языков, I, М., 1958, стр. 135; А. Ф. Бойцова, Категория лица в эвенкийском языке, Л.— М., 1940, стр. 18, 19.

[62] Для тюркских языков, например, ряд показателей мн. числа выделил путем этимологического анализа М. Рясянен (указ. соч., стр. 52—55). См. также: J. Szinnyei, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, Leipzig, 1910, стр. 58—59; Д. В. Бубрих, Древнейшие числовые и падежные формы имени в финно-угорских языках, «Язык и мышление», XI, М.— Л., 1948, стр. 78—80; его же, Историческая морфология финского языка, стр. 33, 38 и примечания В. И. Лыткина (там же, стр. 12); Б. А. Серебренников, Об относительной хронологии появления некоторых грамматических форм в уральских языках, «Beiträge zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Literaturforschung», Berlin, 1965, стр. 382.

[63] См., например: C. Brockelmann, Osttürkische Grammatik..., стр. 73.

[64] Ср. взгляд на род. падеж местоимений как на «самостоятельную основу», «способную... к принятию других падежей»,— В. А. Богородицкий, Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками, Казань, 1953, стр. 168 (аналогичных взглядов придерживался В. В. Радлов, а из современных ученых — Ф. Г. Исхаков, Э. В. Севортян, А. М. Щербак, А. Габен). С. В. Ястремский («Падежные суффиксы в якутском языке», стр. 22) подчеркивал, что «суффикс род. падежа играл роль формообразовательного момента в образовании сложных суффиксов *ttan* и *nan* (*ұпап*)» (исходный падеж посессивного склонения). Ср. иные точки зрения: В. М. Насилов, Язык орхоно-енисейских памятников, стр. 35; Н. А. Баскаков, О соотношении значений личных и указательных местоимений в тюркских языках, «Доклады и сообщения [Института языкознания АН СССР]», I, 1952, стр. 142.

[65] Ср., однако: Э. В. Севортян, К истории падежной системы в тюркских языках, «Уч. зап. ВИИЯ», 6, 1948, стр. 93.

[66] Встречающиеся в староуйгурских документах образования с избыточной аффиксацией на *-n i ŋ tä kilär* «потомки [кого-либо]» (C. Brockelmann, [рец. на кн.:] A. v. Gabain, Alttürkische Grammatik, стр. 358; ср. также азерб. диалектн. *by r a n ï nqʿi* «здешний» — Н. И. Ашмарин, Общий обзор народных тюркских говоров гор. Нухи, Баку, 1926, стр. 111), как и якутские местоименные образования типа *miẓigiннāẓi* «у меня находящийся», могут демонстрировать определенную связь двойного склонения и притяжательных субстантивов.

лиц ед. числа [67]. В языке сарыг югуров *-ныңкі* используется для включения в падежную парадигму только исходного падежа личных местоимений и посессивных форм имени [68]; в ахалском диалекте туркменского языка — для введения в парадигму склонения указательных местоимений (*бүтүки*, *шүтүки*, *өтүки* [69]), в татарских говорах северо-западных районов Башкирской АССР — для образования так называемого экатива от местоименных основ (*безнекенцә* «по-нашему», *минекенцә* «по-моему») [70] и в инзерском говоре башкирского языка — плеонастически для образования притяжательных же местоимений (*а н ы ҡ ы н ы ҡ ы* «у него») [71]. Таким образом, плеоназм *-ныңҡының* в языке западносибирских татар оказывается своего рода осколком существующей в разных тюркских языках более поздней по времени практики включения в падежную парадигму посредством сложного аффикса *-ниңки*.

Удельный вес притяжательных образований на *-ниңки* явственно увеличивается в направлении к современности: так, например, в языке восточнотуркестанских текстов X—XIII вв. и средневековых памятников чагатайской литературы подобные образования чрезвычайно редки, родительный же падеж употреблялся предикативно, т. е. в функции, которую сейчас в языках восточного ареала выполняют только образования на *-ни(ң)ки*. Усиление роли этих образований имеет несомненно ареальный характер, ощутимо возрастая в направлении на восток. Так, в турецком, гагаузском языках, в азербайджанских диалектах, в чувашском языке употребление подобных притяжательных предикативов сильно ограничено, поскольку род. падеж по-прежнему сохраняет свою предикативную функцию [72]; в то же время в ряде тюркских языков и диалектов восточной группы стабилизировалась формантная усложненность притяжательных предикатов и отчасти — атрибутивов, а также самого способа включения в падежную парадигму.

Неодинаковая глубина проникновения притяжательных образований на *-ни(ң)ки* в грамматические структуры западных и восточных тюркских

---

[67] С. В. Я с т р е м с к и й, Падежные суффиксы в якутском языке, стр. 24 и сл.; е г о ж е, Грамматика якутского языка, стр. 91 и сл.; Л. Н. Х а р и т о н о в, указ. соч., стр. 155, 157. Исходя из явственно выраженного в восточных тюркских языках стремления к усложнению падежной парадигмы (особенно — у личных местоимений), трудно согласиться с мнением М. Рясянена о том, что «„усиление“ *igi* в якут. *bisigi* „мы“... представляет собой ослабление *ikki* „два“ и безударном положении, таким образом первоначально было „мы двое“...» (M. R ä s ä n e n, указ. соч., стр. 10).

[68] Э. Р. Т е н и ш е в, Язык сарыг югуров, в кн.: Э. Р. Т е н и ш е в, Б. Х. Т о д а е в а, Язык желтых уйгуров, М., 1966, стр. 20, 23.

[69] По материалам Х. Байлыева (см.: Ф. Д. А ш н и н, Указательные местоимения и их производные в азербайджанском, турецком и туркменском языках. Канд. диссерт., М., 1956, стр. 90). В човдурском и салырском диалектах туркменского языка в качестве такого субстантивирующего средства для тех же местоимений используется другой сложный показатель, тоже имеющий в своем составе *-ки*, например: *бүдәки* ~ *бидәки* «этот», *шүдәки* ~ *шидәки* «этот», *өдәки* «тот» (Х. А. М а ш а к о в, Човдурский диалект туркменского языка, Ашхабад, 1949, стр. 27; М. А т а д ж а н о в, указ. соч., стр. 11).

[70] «Материалы по татарской диалектологии», 2, стр. 76.

[71] Последний случай вполне допустимо рассматривать как результат контактирования территориально близких языков — в мордовском языке субстантивированные притяжательные местоимения образуются «путем присоединения к простым притяжательным местоимениям удвоенной частицы *сь* — *сесь*» (М. Е. Е в с е в ь е в, указ. соч., стр. 162); в языке коми XVIII в. лично-притяжательное местоимение 2-го лица мн. числа могло употребляться с повторно присоединяющимся притяжательным суффиксом — *тиянсидныдь* (З. И. К у з н е ц о в а, Язык письменных коми памятников XVIII в. Автореф. канд. диссерт., Йошкар-Ола, 1968, стр. 16); в некоторых черемисских диалектах Nomina possessoris образуются при помощи аффиксов *-yštyš*, *-(šty)šy* (см.: G y. D é c s y, Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, Wiesbaden, 1965, стр. 110, 112).

[72] См. об этом, например: Н. И. А ш м а р и н, Общий обзор народных тюркских говоров гор. Нухи, стр. 112; J. B e n z i n g, Tschuwaschische Forschungen (IV), стр. 433.

языков может быть истолкована в плане разной степени интенсивности и исторической продолжительности ареальных контактов, если иметь в виду общеалтайский характер предикативно-притяжательных форм на *-нги* [с вариантами по языкам, в том числе монг. *-(j)inki*, маньчж. *-(ни)нгэ*] [73]. В картину исторических ареальных контактов укладывается и атрибутивное использование этих «субстантивированных» притяжательных образований, с одной стороны, в говорах татарского языка, в языке сибирских татар и в саларском языке [74], а с другой стороны — в маньчжурском и некоторых говорах эвенкийского языка, где такое использование рассматривается в качестве вторичного [75].

Можно предположить, что плеонастическое использование показателей пространственных падежей — аффиксов дательно-направительного, местного и исходного падежей — как и аффиксов принадлежности 3-го лица ед. числа, также служило включению в падежную парадигму [76], отражая, по-видимому, практику, не получившую в тюркских языках достаточного развития и не объединившуюся в более или менее цельную систему. Тем не менее практику эту нельзя не учитывать прежде всего уже потому, что это — реальный факт истории тюркских языков, оста-

---

[73] См. об этом: G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 26—27, 36, 234—253; В. А. Аврорин, Предикативно-притяжательные формы в нанайском и других тунгусо-маньчжурских языках, ВЯ, 1956, 3, стр. 97, 98 и сл.; О. П. Суник, О посессивных аффиксах и родительном падеже в тунгусо-маньчжурских языках, сб. «Язык и мышление», XI, М.— Л., 1948, стр. 290 и сл.; его же, Из истории грамматического строя тунгусо-маньчжурских языков, «Доклады и сообщения» [Института языкознания АН СССР»], IV, М., 1953, стр. 129 и сл.; А. Ф. Бойцова, указ. соч., стр. 73, 74, 86 и сл.

[74] См. «Материалы по татарской диалектологии», 2, стр. 147 и сл.; Д. Г. Тумашева, указ. соч., стр. 38, ср. стр. 61; Г. Х. Ахатов, указ. соч., стр. 158, 159; Э. Р. Тенишев, Саларский язык, М., 1963, стр. 19—20, 25, 26.

[75] См.: В. А. Аврорин, указ. соч., стр. 98; О. П. Суник, Из истории..., стр. 129. Точно так же и древнетюркская «в высшей степени удивительная контаминация» («die höchst auffallende Kontamination») *tört bulu*ŋ*-taqy ädgü-si* «die beste der 4 Weltecken» (K. H. Menges, Morphologische Probleme, I, Wiesbaden, 1960, стр. 16) может быть объяснена в плане ареальных контактов с тунгусо-маньчжурскими языками: ср. аналогичное эвенкийское построение с избыточным притяжательным суффиксом *-н — амин-* ŋ*и дю-н* «отца дом» (О. П. Суник, О посессивных аффиксах..., стр. 286).

[76] См., например: M. Räsänen, указ. соч., стр. 15, 16, 30, 33. В мысли об использовании аффикса принадлежности 3-го лица ед. числа в качестве такого средства нас утверждают факты присоединения этого аффикса к указательным и прочим атрибутивным местоимениям при их субстантивации [*анауыныҥ* «у того», *мынауыны* «этого» в казмашевском («Башкирский диалектологический сборник», стр. 102), кубалякском («Башкирская диалектология», стр. 168), *мыныһыны* в бурзянском (там же, стр. 101) говорах башкирского языка, *бусыныкы теле* «язык этого» в татарском говоре мишарей Пензенской области («Материалы по татарской диалектологии», 2, стр. 147)]. В этом случае может осуществляться и нанизывание обоих вариантов показателя принадлежности 3-го лица: в киргизском *мунусу*, *анысы* (К. К. Юдахин, Киргизско-русский словарь, М., 1965, стр. 25), в языке «Родословной туркмен» *hiч kajсысыны* «ничего» (А. Н. Кононов, указ. соч., стр. 137), в кизильском говоре башкирского языка *анауыныһыныҥ* («Башкирская диалектология», стр. 45) при дистантном расположении вариантов этого показателя в последнем примере, как и в *кайһыныһы* бурзянского и казмашевского говоров башкирского языка. Можно также сослаться на развиваемую Дж. Г. Киекбаевым «теорию определенности-неопределенности» и утверждаемую им роль этой грамматической категории в становлении падежных форм в урало-алтайских языках (Дж. Г. Киекбаев, О происхождении некоторых падежных форм в урало-алтайских языках в свете теории определенности — неопределенности, сб. «Вопросы методологии и методики лингвистических исследований», Уфа, 1966). Ср. также: Д. В. Бубрих, Историческая грамматика эрзянского языка, Саранск, 1953, стр. 170. «В юго-западных финских диалектах плеоназмы в падежных формах мн. числа связаны преимущественно с притяжательными суффиксами (*leippitän* „его хлебы“)» (П. Альвре, Образование множественного числа в финском языке в плане сравнения с другими родственными языками. Автореф. канд. диссерт., Тарту, 1965, стр. 53).

вивший в системе склонения ощутимые следы [77]; ср. хотя бы тот факт, что в некоторых падежных показателях, например в аффиксах дательно-направительного падежа *-ka* и исходного падежа *-dyn*, *-dan* этимологически вскрывается контаминация двух падежных формантов [78]; ср. также выделенные Й. Бенцингом «комбинированные падежи» в чувашском или же тюркские «суффиксальные группы» типа *-γa-r-t-yn* и др. [79]. Стремление к усложнению падежной парадигмы пронизывает языки и алтайского, и уральского типов,— это признают все исследователи, по-разному называющие изучаемое явление («двойное склонение» у Н. Н. Поппе, «die Doppelsuffixe» у Г. Винклера, «zwei- oder mehrgliedrigen Suffixcomposition» и «Suffixgruppen» у К. Г. Менгеса, «die Kasuskombination» у Й. Бенцинга, система коаффиксов у Б. Коллиндера и В. Таули). Во всяком случае, «так называемые уральские первичные падежные суффиксы стали служить только фундаментом, на котором позднее развились собственно падежи», а падежные суффиксы оказались «составленными из многих элементов» [80]. Типологическая изоглосса двойного склонения широко охватывает также монгольские и тунгусо-маньчжурские языки [81], являя собой ареальную универсалию урало-алтайских языковых областей.

Таким образом, плеонастическое использование падежных аффиксов, как и лежащее в его основе двойное склонение, наблюдаемые в тюркских языках восточных и центральных территорий расселения тюрков, оказываются связанными с соприкасающимися ареалами, с одной стороны — территориально или исторически тяготеющими к Алтаю, а с другой — контактирующими с уральской языковой областью.

IV. Контактирование языков алтайского [82] и уральского типов, по всей видимости, было неоцинаковым по длительности, глубине и устойчивости на разных территориях расселения тюркоязычных народов.

---

[77] Из-за невнимания ко всей сумме фактов, касающихся так называемого двойного склонения, возникло искусственное объяснение двойного склонения лишь у личных местоимений за счет мнимого эллипсиса — «опущения определяемого — второго компонента изафета, выраженного возвратным местоимением *өз*», в результате чего относящиеся к *өз* «аффиксы пространственных падежей примыкают к первому компоненту сочетания», т. е. к личному местоимению (К. Каримов, Категория падежа в языке «Кутадгу билиг». Автореф. канд. диссерт., Ташкент, 1962, стр. 7).

[78] См. об этом: Б. А. Серебренников, К вопросу о происхождении элемента *k* (*g*, *q*, *γ*) в окончании дательно-направительного падежа в тюркских языках, «Краткие сообщения Института народов Азии [АН СССР]», 83 — Монголоведение и тюркология, М., 1964, стр. 71; K. H. Menges, Altajische Studien, «Der Islam», 37, 1961, стр. 20.

[79] См.: J. Benzing, Tschuwaschische Forschungen (IV), стр. 451—453, 455 и сл.; K. H. Menges, Morphologische Probleme. I, стр. 19, 36.

[80] V. Tauli, Bemerkungen zum Ursprung der uralischen Kasussysteme, UAJb, XXIV, 3—4, 1952, стр. 31. См. также: B. Collinder, An introduction to the Uralic languages, Berkeley and Los Angeles, 1965, стр. 125 и сл.; Д. В. Бубрих, Историческая морфология финского языка, стр. 19, 24—32 и примечания В. И. Лыткина к ней, стр. 4, 7, 8; Д. В. Бубрих, Историческая грамматика эрзянского языка, стр. 75; Б. А. Серебренников, Историческая морфология мордовских языков, стр. 87 и сл.; его же, Об относительной хронологии..., стр. 385, 386; М. Е. Евсевьев, указ. соч., стр. 151.

[81] См.: H. Winkler, Die altaische Völker- und Sprachenwelt, Leipzig — Berlin, 1921, стр. 52—53; G. J. Ramstedt, указ. соч., стр. 34, 37 и сл.; «Грамматика бурятского языка», М., 1962, стр. 91; Б. Х. Тодаева, Грамматика современного монгольского языка, стр. 73, 74; ее же, Монгольские языки и диалекты Китая, М., 1960, стр. 95 и сл.; «Handbuch der Orientalistik», 1. Abteilung, V. Bd., 2. Abschnitt— Mongolistik, Leiden — Köln, 1964, стр. 133, 128, 195 и сл.; В. Котвич, указ. соч., стр 183 и сл.; О. А Константинова, Категория имени существительного (по материалам говора полигусовских эвенков Байкитского р-на Эвенкийского нац. округа), «Уч. зап. [ЛГПИ им. А. И. Герцена]», 111, 1955, стр. 156.

[82] Об ареальном характере, например, ряда словообразовательных моделей в алтайских языках см.: В. И. Цинциус, О некоторых лексических моделях алтайских языков, «Конференция по проблемам изучения универсальных и ареальных свойств языков. Тезисы докладов», М., 1966.

Ту область, которая в результате проведенного исследования выделяется схождением ряда грамматических изоглосс, можно было бы назвать зоной наиболее интенсивного взаимодействия языков алтайского типа как между собой, так и с языками уральского типа [83]. Разумеется, для характеристики этой зоны было бы неправильно ограничиться аффиксальными плеоназмами [84]; важно учитывать, что они тесно связаны и обусловлены формальной и семантической структурой тех грамматических категорий, в пределах которых они возникли и развитию которых подчас служили. Рассмотренные плеоназмы в языке занимают отнюдь не изолированное положение, напротив — они системны как по своим форматногенетическим связям, так и по характеру существования в языке: плеоназмы как бы пронизывают отдельные участки языковой ткани, распространяясь и на соотносимые или генетически сопряженные категории. Так, числовой плеоназм личных местоимений получает отражение в плеонастическом же выражении мн. числа (главным образом, 2-го лица) для категории предикативности; в свою очередь, плеонастическое использование падежных аффиксов поддерживается спецификой усложняющейся падежной парадигмы [85].

Представляя собою грамматическую инновацию в тюркских языках, возникшую в результате схождений структурных признаков языков алтайского и уральского типов на почве их исторического контактирования в географически соприкасающихся ареалах [86], аффиксальный плеоназм является такой типологической чертой этих языков, общность которой подразумевает структурную близость грамматических категорий, послуживших основой возникновения плеоназма. Для выявления целой совокупности структурно общих черт, которыми может характеризоваться зона интенсивного взаимодействия языков алтайского и уральского типов, потребуется детальное изучение не только этих языков, но и особенно их диалектов и говоров именно с точки зрения грамматической. То не-

---

[83] Уже давно был выявлен один из центров такого взаимодействия конкретных тюркских и финно-угорских языков, который сложился в результате длительного контактирования венгров и булгар на территориях юго-восточной Европы (к северу от Кавказа); см. об этом: Ю. Н е м е т, Специальные проблемы тюркского языкознания в Венгрии, ВЯ, 1963, 6, стр. 130 и сл.; Z. G o m b o c z, Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache, Helsinki, 1912 (MSFOu, XXX).

[84] Заметим кстати, что распространение некоторых специфических лексических плеоназмов — вроде разнокорневых типа *аз аҕлақ/аѡлақ* БН 199_3, 384_5; 47_1, 88_{23} «немножко» (этот плеоназм легко заменяется аффиксальным плеоназмом уменьшительного же значения — *азрақча* БН 436_{15}) и однокорневых типа уйг. *аз-аздин*, *аз-азлап* «немножко» — также обнаруживает тяготение к намеченной зоне. Изоглосса первого из них замыкается языками Средней Азии и Алтая — казахским, киргизским, туркменским (в языках Средней Азии она поддерживается и данными одного из памятников чагатайского языка рубежа XV—XVI вв. — «Бабур-наме»), алтайским языками, нижнебийским и нижнекондомским говорами (см.: В. В е р б и ц к и й, Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка, Казань, 1884, стр. 29), причем компонент *аҕлақ/аѡлақ* может быть объяснен только с привлечением языков Алтая и Сибири — алтайского, хакасского, якутского. Изоглосса однокорневого плеоназма захватывает современный уйгурский, киргизский, татарский и башкирский языки. Лексические плеоназмы со значением «немножко», «мало-помалу» отмечены в монгольском, нанайском, марийском языках и в языках мокша и эрзя.

[85] Уже одно то, что аффиксальный плеоназм способен породить коррелятивные ряды в соприкасающихся категориях, а сам он и направление его развития обусловлены глубинными процессами, происходящими в языке, лишает оснований точку зрения на тюркский плеоназм как на явление, обусловленное спецификой и избыточностью устной речи.

[86] См., например, об одном из видов языковых контактов — «экспансии тюркских языков в Сибири», которая происходила «путем тюркизации самодийских народностей на Оби, угорских — на Тоболе и Иртыше, енисейских — на Енисее»: А. П. Д у л ь з о н, Этнолингвистическая дифференциация тюрков Сибири, сб. «Проблемы тюркского языкознания» (в печати).

маловажное обстоятельство, что наряду с общеизвестными материальными схождениями морфем в алтайских, а отчасти и в уральских языках обнаруживается общность отдельных глубинных тенденций развития ряда грамматических категорий, не позволяет согласиться с мнением, в соответствии с которым «отодвигается на задний план или вообще ставится под сомнение создание сравнительной грамматики алтайских языков» (не говоря уже о привлечении к сопоставлению уральских языков), а «наиболее важным и злободневным» признается вопрос о выделении в алтайских языках лексических заимствований [87]. Представляется, что даже и «незаконное вторжение системно-дескриптивных языковых исследований в область сравнительно-историческую» [88] может быть тем результативнее, что нельзя не считаться с той субстратной подпочвой, которая несомненна для многих тюркских языков и прежде всего — для языков сибирско-алтайского ареала [89].

[87] А. М. Щ е р б а к, Работы Дж. Клосона по алтаистике, «Народы Азии и Африки», 1963, 3, стр. 152.

[88] В. C o l l i n d e r, Uralaltaisch, UAJb, XXIV, 3—4, 1952, стр. 18.

[89] О примеси «енисейско-остяцких» и «угро-самоедских» языковых элементов, проникшей в тюркские языки Сибири, писал еще В. В. Радлов. Возможно, что некоторые из описанных выше тюркских аффиксальных плеоназмов следует рассматривать, учитывая влияние таких речевых особенностей енисейского субстрата, как, например, характерное для кетского языка «двухкратное и даже трехкратное выражение мн. числа» в именах (например, *у-ӈ-н'-иӈ* мн. число от *уй* «детская люлька», сообщение Г. К. Вернера) или же производность локативных падежей от формы притяжательного падежа в кетском и селькупском языках (см. об этом: А. П. Д у л ь з о н, Кетский язык, Томск, 1958, стр. 70).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1968

Г. П. КЛЕПИКОВА, Т. В. ПОПОВА

О ЗНАЧЕНИИ ДАННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ ИСТОРИИ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА

Важность лингвистических атласов как ценнейшего материала для построения истории языка бесспорна. Несмотря на это, в славистике еще мало работ, в которых делались бы попытки воссоздать историю системы языка или ее фрагментов на основе соответствующей интерпретации изоглосс картографируемых в атласах явлений. Достаточно упомянуть хотя бы «Историческую грамматику русского языка» В. И. Борковского и П. С. Кузнецова (М., 1965), в которой материалы «Атласа русских народных говоров» (как опубликованного, так и неопубликованных томов) не нашли никакого отражения [1]. Невнимание к данным лингвогеографии в работах исторического плана может быть отчасти объяснено тем, что методика ретроспективного изучения фактов, представленных в атласах, по сути дела, отсутствует.

В настоящей статье делается попытка показать на нескольких конкретных примерах ценность для истории языка материала, содержащегося в работах по болгарской диалектологии, и прежде всего в «Болгарском диалектологическом атласе» [2].

В последнее десятилетие болгарская диалектология, в том числе и лингвистическая география, достигли значительных успехов. Наука обогатилась серьезными монографическими описаниями ряда диалектов на территории Болгарии и за ее пределами, исследованиями отдельных фонетических и морфологических явлений диалектного языка, публикациями ценных коллекций диалектной лексики [3]. Особенно плодотворной была работа в области лингвистического картографирования; центральное место здесь принадлежит «Болгарскому диалектологическому атласу».

I. Представляется, что решению некоторых генетических проблем — например, вопроса о становлении отдельных фонологических и грамматических категорий в болгарском языке, о генезисе различных диалектных групп, об их взаимовлияниях в прошлом, о предшествующих стадиях диалектного членения на данной территории и т. д.,— должно предшествовать изучение основных пучков изоглосс, характеризующих распределение максимального количества явлений на территории Болгарии. Таким образом, решение генетических проблем ставится в зависимость от учета прежде всего количественных отношений. Подобные проблемы рассматривались ранее на основе изучения небольшого количества явлений, которым придавалось классификационное значение, но которые выбирались произвольно; поэтому выводы оставались недостаточно аргументированными.

В течение длительного времени вопрос о происхождении «шуменских» говоров (точнее, говора «сыртских» сел) был предметом серьезных споров в болгарской лингвистической литературе. Б. Цонев утверждал, что жители «сыртских» сел не являются исконным населением на этой территории, а пришли сюда из юго-восточной Фра-

---

[1] В настоящее время сдан в печать капитальный труд по истории северновеликорусского наречия и среднерусских говоров, построенный на материалах русского лингвистического атласа (К. Ф. Захарова, В. Г. Орлова, А. И. Сологуб, Т. Ю. Строганова, История образования севернорусского наречия и среднерусских говоров).

[2] «Български диалектен атлас. I. Югоизточна България», ч. 1 — Карти, ч. 2 — Статии. Коментари. Показалци, София, 1964; «Български диалектен атлас. II. Североизточна България», ч. 1 — Карти, ч. 2 — Статии. Коментари. Показалци, София, 1966 (БДА). Рецензию Е. В. Чешко см.: «Советское славяноведение», 1968, 6.

[3] См., например, публикации в серийных изданиях Болгарской Академии наук: «Трудове по българска диалектология», «Българска диалектология. Проучвания и материали», «Известия на Института за български език» и некот. др. Обзор работ советских болгароведов см. в статье: Г. К. Венедиктов, Итоги изучения в СССР вопросов болгарской диалектологии, «Краткие сообщения Ин-та славяноведения», 35, 1962.

кии [4]. Он отмечал также, что в настоящее время эти говоры содержат, наряду с южными (рупскими) чертами, и северные (мизийские) черты [5]. Л. Милетич, напротив, считал жителей этих сел старым местным населением и отождествлял их говор со всем шуменским наречием, полагая, что этот говор является типичным представителем северо-восточных болгарских говоров мизийского типа [6]. Выход в свет первых томов БДА позволяет более обоснованно подойти к решению этого спорного вопроса. Так, картографирование и комментирование материалов, собранных для второго тома БДА, дало возможность его авторам сделать осторожный вывод о том, что мнение Б. Цонева является «достаточно правдоподобным» [7]. Поскольку в «Атласе» не предусматривалось составление сводных карт изоглосс, то, естественно, более определенно авторы БДА и не смогли высказаться.

Мы попытаемся рассмотреть этот вопрос, исходя из анализа совокупностей изоглосс, проходящих по территории всей восточной Болгарии (при этом будут учитываться лишь изоглоссы тех явлений, которые характерны для шуменской группы говоров). Следует подчеркнуть, что в начале XX в. Цонев и Милетич имели основания особо выделять говоры «сыртских» сел. В настоящее время, если судить по данным БДА, многие черты, составлявшие специфику «сыртских» говоров, почти утрачены, и эти говоры входят как составная часть в более крупное диалектное объединение, которое мы вслед за современными болгарскими диалектологами [8] называем шуменским говором (в это объединение можно включить и примыкающие с запада говоры района Тырговища, Омуртага, Преслава). Поэтому, решая вопрос о происхождении всей шуменской группы, мы тем самым в какой-то мере решаем вопрос и о говорах «сыртских» сел.

По ряду явлений шуменские говоры представляют общность с говорами в с е й восточной Болгарии (или большей ее части). Ср., например, одинаковую судьбу ст.-болг. * ъ, *Q* (№ 1/1, 12/9, 17/17) [9], твердость *к* в слове *майка* (№ 52/66), сохранение группы *стр* в слове *сестра* (№ 73/113), *въсеница* и под. (вместо *гъсеница* № 238/245), распространение слова *стан* «ткацкий станок» (№ 207/222), *дж* в слове *джоб* (№ 58/82), мягкость согласного основы в глаголах 3-го лица мн. числа (например, *вбд'ът* № 92/125), личное местоимение 3-го лица мн. числа дат. падежа *им* (№ 168/183), форма *н'áма* (№ 26/20) [10].

О единстве всей восточной Болгарии в прошлом могут свидетельствовать также и те карты, на которых в западной части указанной территории отмечены иные явления, по-видимому, привнесенные сюда из говоров Центральной Болгарии. Наиболее устойчивой, сохраняющей архаические черты, представляется, таким образом, крайняя восточная, периферийная, часть обследованной в БДА территории, где и располагаются села с шуменским говором. Упомянем здесь произношение *царýл* (вместо *царвул* № 88/75), распространение прилагательного *бфче* (№ 33/30), корневое ударение в словах: *злáто* (№ 110/129), *сéно* (№ 117/135), *срéбро* (№ 118/136), *кбне*, *жéни*, *бфци* (№ 99/140, 101/142, 103/143), суффикс прилагательных *-цки* (№ 192/200), мягкость конечных согласных: *ден'*, *кон'* (№ 44/55, 45/56), *офчáр'* (№ 47/58), корневое ударение в слове *гъ́рне* (№ 108/128), флексия *á* в слове *женáта* (№ 139/118), *е* < ъ в слове *тéнко* (№ 6/5), распространение слова *сúнци* «бусы» (№ 250/253) (см. карту 1).

Большое количество черт показывает, что вся группа шуменских говоров (т. е. говоров района Тырговища, Омуртага, Преслава, Шумена, Каспичана, Провадии) разделяет судьбу всех или большинства говоров северо-восточной Болгарии. Карты I и II томов БДА дают возможность провести большое число изоглосс, имеющих общее направление с запада на восток и делящих территорию восточной Болгарии на две части: северную и южную [11]. Ср., например, отсутствие лабиализации *е* после *дж* в слове *тéнджера* (№ 41/50), наличие губного вместо *х* в форме аориста мн. числа (например, *бер'áва* № 70/95), флексия *ъ* в 1-м лице ед. числа настоящего времени (*беръ* № 173/185), причастия на *-т* (*бит* № 195/202), частица будущего времени *ще* (№ 179/

---

[4] Б. Ц о н е в, Диалектни студии. Поправки и допълнения към Милетичевата книга Das Ostbulgarische, СбНУ, кн. XX, 1904, стр. 30—31.

[5] Б. Ц о н е в, указ. соч., стр. 45.

[6] Л. М и л е т и ч, Източните български говори, СбНУ, кн. XXI, 1905, стр. 62 и сл.; е г о ж е, Старото българско население в Североизточна България, София, 1902, стр. 15 и сл.

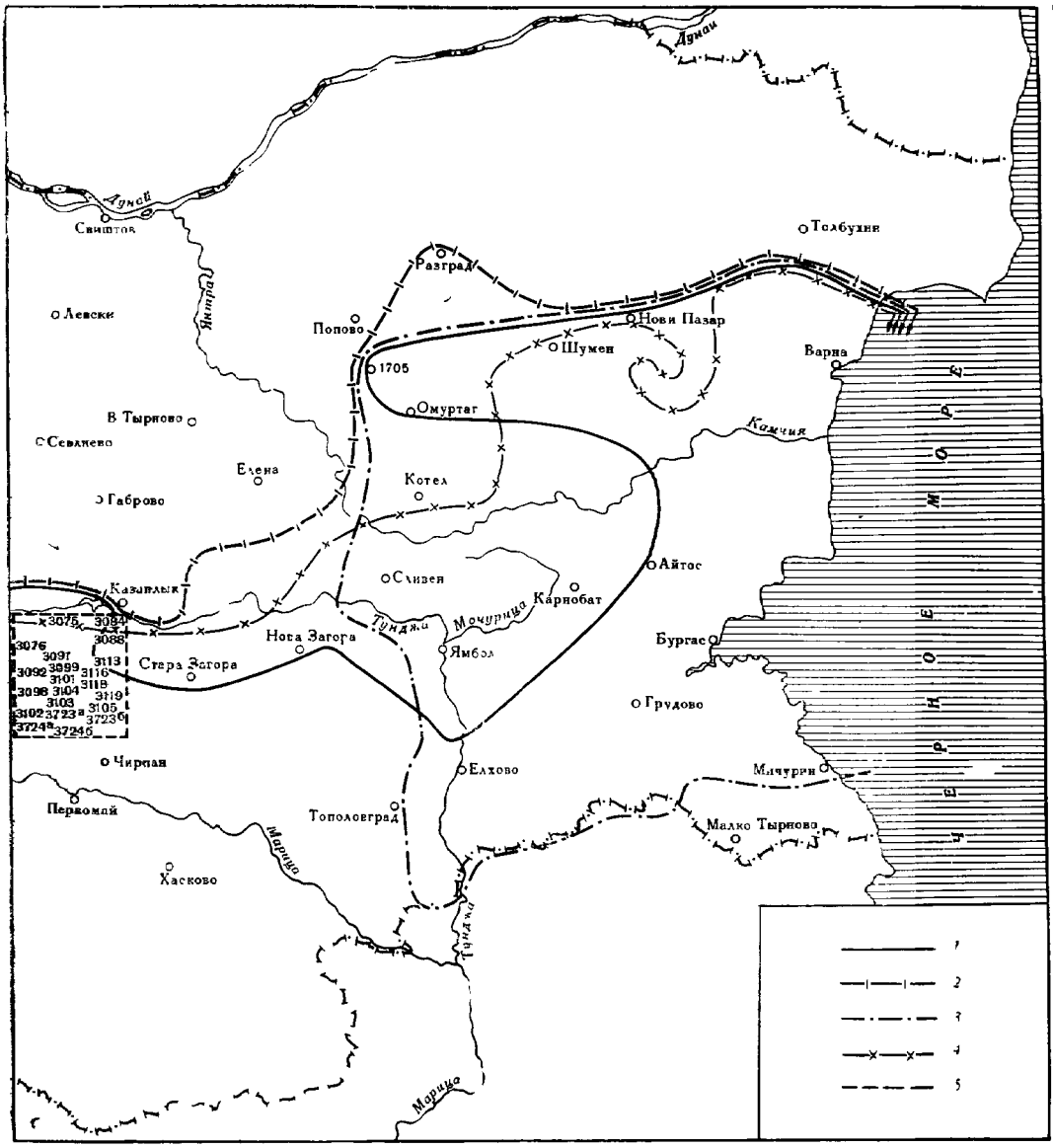
[7] БДА, II, ч. 2, стр. 16.

[8] Ср. например: Ст. С т о й к о в, Българска диалектология, София, 1968, стр. 71—72.

[9] В скобках даются номера карт БДА, первая цифра обозначает нумерацию I тома, вторая — II тома.

[10] На некоторых из рассматриваемых здесь карт отмечены незначительные вкрапления иных явлений, которые, однако, не учитываются (например, *ѣ* < ъ, *Q* в еркечских говорах, лексема *креватúни* «ткацкий станок» в части шуменских говоров и др.).

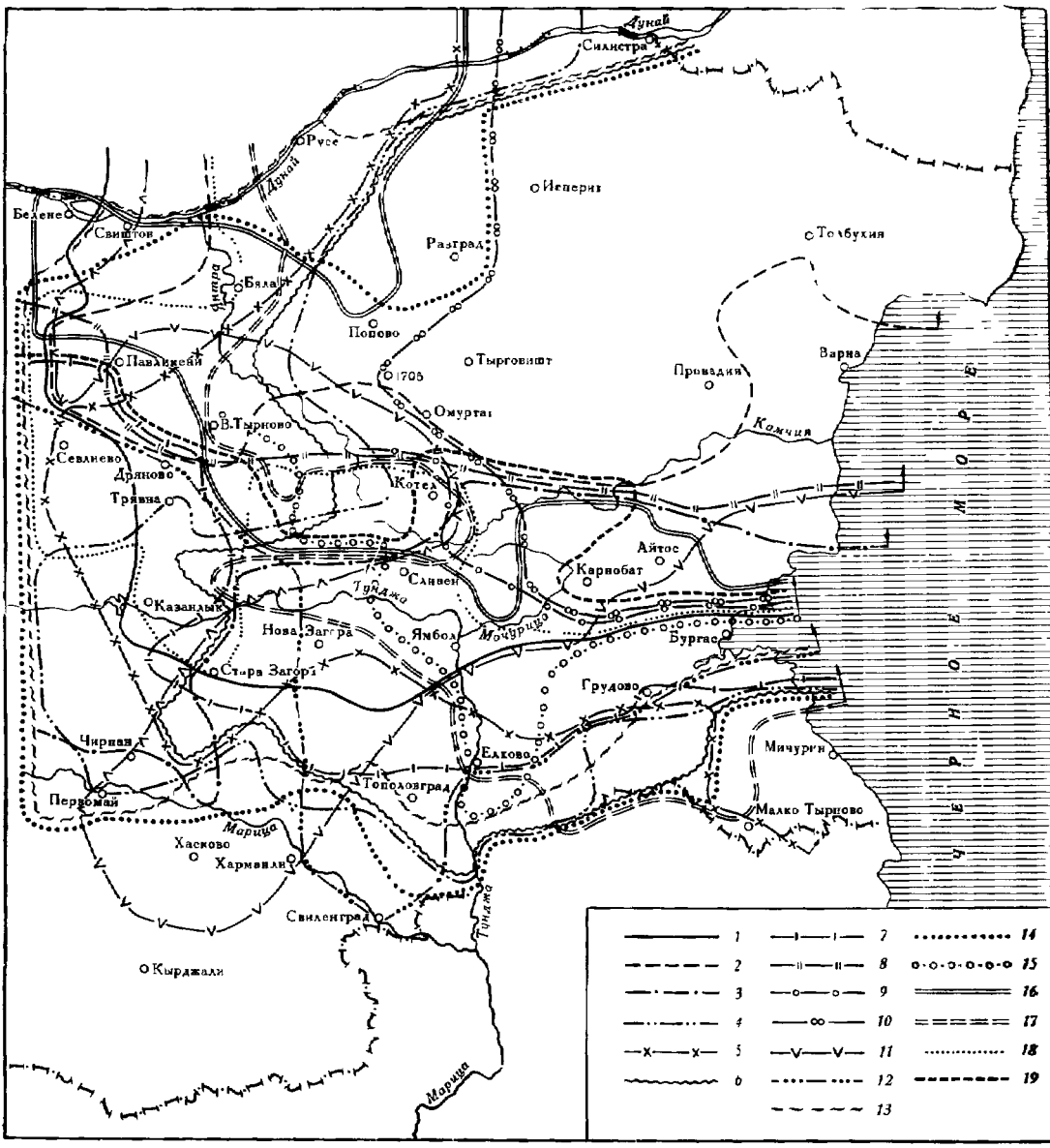
[11] Однако в ряде карт (например, № 243/247, 179/191, 257/264 и др.) эта граница иногда смещается далеко к югу.



Карта изоглосс № 1. 1 — корневое ударение в слове *злато*; 2 — произношение *царул*; 3 — прилагательное *овче*; 4 — корневое ударение в словах *сено*, *сребро*; 5 — корневое ударение в слове *коне*; 6 — корневое ударение в слове *жени*; 7 — корневое ударение в слове *овце*; 8 — суффикс прилагательных *-цки*; 9 — мягкость *р* в слове *овчар*; 10 — *е* < *ъ в слове *тънко*.

/191), распространение ряда слов: *джýни* «губы» (№ 243/247), *лéмеш* «лемех» (№ 257/264), *милúна* «стебель тыквы» (№ 228/235), *кбтел* «сосуд для воды» (№ 203/219), *крака́* «часть ткацкого станка» (№ 211/223), *йа́года* «шелковица (дерево)» (№ 229/236). См. также следующие явления: губной вместо *х* в конце слова — например, *бер'а́ф* (№ 71/94), флексия *ъ* в словах типа *вудъ́та* (№ 138/117), распространение слов *джумéрки* «шкварки» (№ 216/227), *птúчка*, *птúче* «птичка» (№ 231/238), *йамурлýк* «вид одежды» (№ 246/249), *одвáра* «творог» (№ 217/229) (см. карту 2).

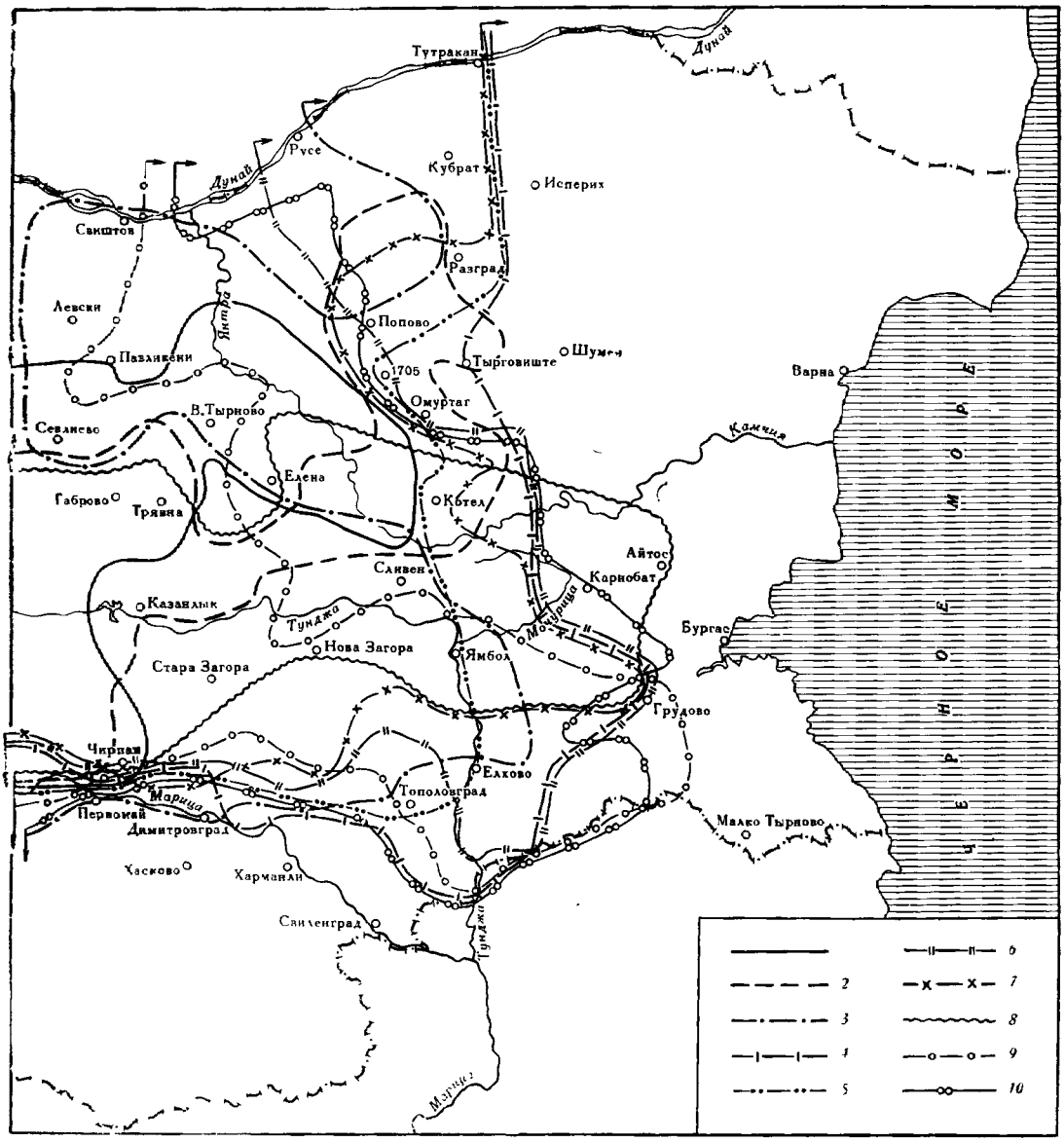
Сюда же можно отнести и такие случаи, когда сама шуменская группа не представляет единства, но отмеченные черты роднят ее с говорами северо-восточной Болгарии. Ср., например, наличие лабиализации *и* в слове *жив* (№ 35/32), распространение слов



Карта изоглосс № 2. 1 — отсутствие лабиализации *е* в слове *тенджера*; 2 — наличие губного в интервокальной позиции; 3 — флексия *ѣ* в 1-м лице ед. числа глаголов типа *берѣ*; 4 — причастие на *-т*; 5 — частица будущего времени *ще*; 6 — *джуки* «губы»; 7 — *лемеш* «лемех»; 8 — *милина* «стебель тыквы»; 9 — *котел* «сосуд для воды»; 10 — *ягода* «шелковица (дерево)»; 11 — губной в конце слова (*бер'аф*); 12 — *джумерки* «шкварки»; 13 — *птичка* и под. «птичка»; 14 — *ямурлук* «вид одежды»; 15 — *дъга/тъга* «радуга»; 16 — *очисти/изтрий ръце*; 17 — *мамалига/влашеник* «мамалыга»; 18 — *прус/ /сундурма*; 19 — *ягода/бубонка*

дъга́/тъга́ «радуга» (№ 266/279), *лице́/ббрас* «щека» (№ 244/248), *очисти́/изтри́й ръце́* «вытри руки» (№ 274/286), *йа́года/буббнка* «шелковица (плод)» (№ 230/237), *мамали́га/ /вла́шених* «мамалыга» (№ 214/225), *прус/сундурма́* «терраса перед домом» (№ 198/211), *мами́л/мисир* «початок с зернами» (№ 221/231) (см. карту 2).

По ряду черт шуменские говоры тяготеют к югу. Здесь можно указать два случая: 1) шуменская группа (целиком или частично) составляет продолжение южных говоров, резко отличаясь от остальных говоров северо-восточной Болгарии. Это распро-



Карта изоглосс № 3. 1 — *кадеш* «дым»; 2 — *аръш* «часть ярма»; 3 — *мисирка* «индюшка»; 4 — флексия аориста -*ъх*; 5 — граница территории, представленной более детально на карте № 4

странение слов *кадéш* и произв. «дым» (№ 200/215), *арѣш* «часть ярма» (№ 258/266), *мисúрка* «индюшка» (№ 234/241); см. также *пирѣн* «гвоздь» (№ 265/277), форма 1-го лица ед. числа аориста -*ъх* (например, *пéкъх* № 180/192) (см карту 3); 2) шуменская группа (также целиком или частично) выступает в виде энклавы в массе однородных северо-восточных говоров, перекликаясь с южными. Ср., например, переход *'а* > *ê* перед мягким слогом в слове *жаби* (№ 32/28), изменение *ѣ* > *ê* в слове *две* (№ 20/19), также распространение формы *обл'áкъла* (№ 5/3), распространение слов *лелéк* «аист» (№ 235/242), *софрá* «стол» (№ 202/216), *ок* «часть плуга» (№ 255/263), *летú дъш* «дождь идет» (№ 272/285).

Можно также считать, что связь с южными говорами отражается в картах, на которых вся шуменская группа легко вписывается в массив северо-восточных говоров (или даже шире — большинства восточных говоров), и лишь в отдельных селах

этой группы наблюдаются южные черты. См., например, наличие *ѐ* < *ѣ* в форме 3-го лица ед. числа аориста: *живѐ* (№ 27/21), *е* на месте безударного *ѣ* в словах типа *млекáр* (№ 23/41), *ѐ* < *'á* в слове *полѐна* (№ 28/24), произношение *жоп* вместо *джоб* (№ 58/82), формы мн. числа *гбсте*, *ръкáве* (№ 144/162, 146/164), форма мн. числа *имéта* (№ 149/161), форма 1-го лица мн. числа глагола *сме* (№ 178/189), причастие прошедшего времени мн. числа *билú* (№ 183/194), форма действительного причастия *донéл* (№ 181/193), форма страдательного причастия *пéкън* (№ 93/103), формы *плáмен*, *кáмен* (№ 189/196, 187/195), распространение слов *рéчка/клуп* «ручка корзины» (№ 205/220), *будúлка* «вилка» (№ 206/217), распространение словосочетания *тбзи ден* «этот день» (№ 171/207).

Анализ пучков и количественное соотношение изоглосс, связывающих шуменскую группу с северо-восточными говорами, и изоглосс, объединяющих ее с южными говорами (выражающееся цифрами 52 : 28), позволяет с достаточным основанием определить диалектную основу, которая послужила базой для формирования современных шуменских говоров. Это соотношение, свидетельствующее о преобладании изоглосс первого типа, дает возможность уверенно сделать вывод о северо-восточной основе говоров района г. Шумен и присоединиться к мнению Л. Милетича об исконности говора «сыртских» сел.

Хотя в северо-восточной основе шуменских говоров вряд ли можно усомниться, однако значительное число южных черт в этих говорах нуждается в более тщательном рассмотрении. Изоглоссы, по которым указанные говоры тяготеют к югу, могут быть интерпретированы следующим образом.

С одной стороны, можно допустить, что южные черты в шуменских говорах являются следами языка переселенцев из Фракии, как и полагал Б. Цонев (это подтверждается как будто и данными историко-демографического характера) [12]. В этом случае следует признать справедливость мнения о смешанном характере шуменских говоров (resp. говоров «сыртских» сел)[13], однако никак нельзя согласиться с Б. Цоневым, что указанные говоры в своей основе — южноболгарские, это не подтверждается новыми данными.

С другой стороны, «южные» черты можно рассматривать и как остатки былой общности всех восточноболгарских говоров, которая была разрушена более поздними инновациями. В этом случае данные черты должны интерпретироваться как исконные на рассматриваемой территории.

II. Одним из важных вопросов болгарской исторической диалектологии, решение которого стало возможным с выходом в свет БДА, следует считать выяснение диалектной принадлежности болгарских говоров за пределами метрополии. Данные I и II томов БДА позволяют с достаточной степенью точности определить районы, откуда в XVIII—XIX вв. шла миграция болгарского населения в Россию (в Бессарабию и Приазовье).

Среди болгарских говоров на территории СССР есть такие, происхождение которых установлено по данным демографического и лингвистического характера (например, некоторые балканские, фракийские и т. д.). В этом случае БДА дает надежный критерий для установления хронологии отдельных явлений. Сопоставление переселенческих говоров СССР с соответствующими говорами Болгарии позволяет представить как динамику развития различных элементов данной диалектной системы, так и стабильность некоторых ее звеньев. И те, и другие факты в одинаковой степени важны для восстановления исторической перспективы развития диалекта [14].

Значение данных БДА особенно велико в случае, когда происхождение отдельных говоров неясно. Например, составители «Атласа болгарских говоров в СССР» относят так называемые «чийшийские» говоры к говорам северо-восточного мизийского типа [15], поскольку некоторые черты, характерные для говора с. Чийшии (ныне с. Огородное Болградского р-на Одесской области УССР) отмечались исследователями на территории северо-восточной Болгарии; в то же время слабая изученность юго-восточных говоров Болгарии не давала возможности проследить в них эти черты. В настоящее время указанная выше точка зрения может быть пересмотрена.

Сравнение материалов, записанных в с. Чийшия (хранятся в архиве «Атласа болгарских говоров в СССР» в Институте славяноведения АН СССР), с материалами БДА (карты, комментарии, архив) показало, что на территории северо-восточной Болгарии

[12] БДА, II, ч. 2, стр. 20 и сл.

[13] Б. Цонев, указ. соч., стр. 45.

[14] Опыт подобного сопоставления см.: И. К. Бунина, К истории говора с. Дермендере, ВСЯ, 7, 1963; С. Стойков, Говор села Твырдицы (Сливенской околии в Болгарии) и села Твардицы (Молдавская ССР), «Статьи и материалы по болгарской диалектологии», 8, М., 1958.

[15] С. Б. Бернштейн, Е. В. Чешко, Э. И. Зеленина, Атлас болгарских говоров в СССР. Вступительные статьи. Комментарии к картам, М., 1958, стр. 35—36 (далее АБГ СССР).

отсутствуют говоры, аналогичные чийшийскому типу. Наиболее полный набор признаков, характеризующих чийшийский говор, представлен на территории I тома БДА, в районе юго-западнее г. Казанлык (отметим, что в преданиях, записанных в селе, упоминается, что основная масса переселенцев в Бессарабию пришла из-под Казанлыка; ср. сведения, зафиксированные в исторической справке в картотеке этого говора).

Следует сказать, что многие черты чийшийского говора распространены не только в указанном выше районе. Некоторые из них прослеживаются и в других районах на территории I тома, а также в ряде случаев на территории II тома (что, вероятно, и давало основание исследователям относить этот говор к северо-восточному типу). Укажем такие явления, как переход *'а* > *е* (например, *же́би* № 32 [16]), *ѣ* > *е* (*бе́ли*, *неде́л'а* № 18), *и* > *ѫ* в слове *широк* (№ 38), отсутствие делабиализации в слове *ключ* (№ 34), произношение *влък* (архив), наличие аффрикаты *дж* в слове *джоб* (№ 58), отсутствие *х* в начале слова и в интервокальной позиции (№ 64, 66), форма *вѣтре* (№ 85), флексия *ѣ* в 1-м лице ед. числа настоящего времени (*берѣ* № 173), форма мн. числа *гости* (№ 144), указательное местоимение *тоо* (*тбо чул'а́к* № 169), ударение на флексии в форме мн. числа слов жен. рода (*жени́*, *моми́* № 101), ударение на флексии в словах ср. рода ед. числа (*ушб*, *брашнб*, *месб*, *небе́*, *гърне́* — архив), личное местоимение 1-го лица ед. числа *ас* (№ 160), личное местоимение вин. падежа ед. числа *мъ*, *тъ* (№ 161), форма мн. числа слова *рамина́* (архив), членная форма *ъ* в существительных муж. рода ед. числа *брегъ* и прилагательных муж. рода ед. числа *бе́лийъ* (№ 152, 157), причастия прошедшего времени мн. числа *биле́* (№ 183); отметим наличие в чийшийском говоре таких лексем: *бу́би* «шелкопряд» (№ 236), *пашку́л* «кокон» (№ 237), *черни́ца* «шелковица (дерево)» (№ 229), *ку́тлийа пръст* и произв. «мизинец» (№ 242) *одва́ра* «творог» (№ 217), *бра́два* «топор» (архив).

Особенно показательны для установления происхождения чийшийского говора явления, имеющие незначительное распространение на территории восточной Болгарии. Среди них можно указать такие фонетические черты, как твердость конечных согласных в словах *ден*, *офчар*, *език* (№ 44, 47, 50), произношение *нъш* вместо *наш* (№ 81), отсутствие лабиализации в слове *жиф* (№ 35); из морфологических особенностей отметим следующие: частица будущего времени *же* (№ 179), флексия 1-го лица ед. числа аориста *-ъх* (*пе́къх* № 180), флексия слов жен. рода ед. числа *-ѣ* (*вудѣ* № 137), личное местоимение 3-го лица ед. числа вин. падежа *йа* (№ 165); в этом же районе распространены следующие лексемы: *джуме́рки* «шкварки» (№ 216), *гу́шки* «голубцы» (№ 215), *ку́тел* «ступка» (№ 204), *бе́рни* «губы» (№ 243), *върби́ло* «ручка (ведра)» (№ 205), *истри́й ръци* «вытри руки» (№ 247) и др. (см. карту 4; этот же район представлен и на карте 3).

Анализ изоглосс, нанесенных на эту карту, свидетельствует о том, что наибольшее их количество (23) очерчивает пп. 3091, 3092, 3098, 3099, 3103. Это позволяет локализовать территорию юго-западнее г. Казанлыка, откуда, по всей вероятности, и пришли переселенцы в с. Чийшию.

Необходимо отметить, что между говором с. Чийшия и говорами района Казанлыка имеются и некоторые расхождения.

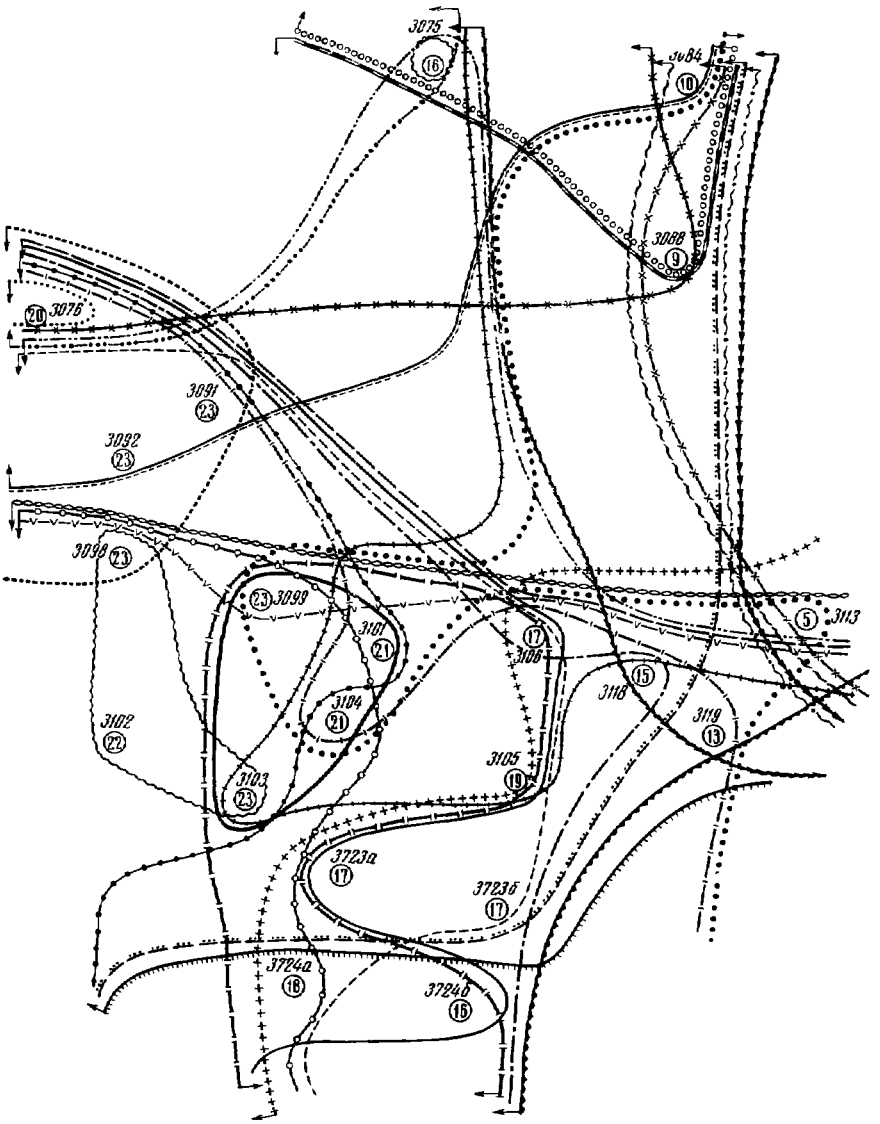
В частности, в чийшийском говоре конечные согласные могут быть только твердыми, тогда как в соответствующих говорах Болгарии наблюдаются колебания между твердым и мягким вариантами (см. карты № 43—50 БДА); отмечаются различия в судьбе *х*: в говоре чийшийцев конечный *х* сохраняется, тогда как в говорах на территории Болгарии находим дальнейшее развитие *х* в *ф*, *ѡ*, *ў*, *й* (см. карту и комментарий № 71), в чийшийском говоре *'а* последовательно переходит в *е*, в Болгарии наблюдаются формы с *'а* (ср., например, *ча́ши*, *ша́пка* № 32), в Чийшии сохраняется форма *чул'ак*, в то время как в говорах района Казанлыка находим форму *човек* наряду с *чил'а́к/чул'а́к* (комментарий к карте № 84).

Анализ этих расхождений позволяет интерпретировать чийшийские формы как архаизмы по сравнению с чертами, отмеченными в Болгарии. Так, например, очевидно, что последовательное сохранение *х* — более архаическое явление по сравнению с субституцией его звуками губного и фрикативного рядов.

Отмечаются также некоторые различия в области лексики:

	р-н юго-западнее г. Казанлык (Болгария)	с. Чийшия, Болградский р-н Одесской обл. УССР
«индюк»	*мисир*	*курка́н*
«початок с зернами»	*маха́лка*	*кочан*
«еда из кукурузы»	*качама́к*	*мала́й*
«вид одежды»	*йаму́рлу́к*	*фе́рᵊджа*
«ремень»	*тасма́/кайш*	*ирми́к*
«низкий столик»	*паралийа*	*софра́*

[16] Нумерация карт дается по I тому БДА.



1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 ⑰ 32

Карта изоглосс № 4. 1—*джумёрки* «шкварки»; 2 — *гу́шки* «голубцы», *ку́тел* «ступка», *бъ́рни* «губы», *върбйло* «ручка корзины»; 3 — *жиф*; 4 — *нъш* «ночь»; 5 — *дз* в слове *дза́ден*; 6 — наличие *й* в слове *йе́гне*; 7 — *пипон* «дыня»; 8 — *маха́лка* «початок»; 9 — *фти́чка* «птичка»; 10 — *бфци*; 11 — твердость *р* и *к* в словах *офча́р*, *евйк*; 12 — твердость *н* в слове *ден*; 13 — *пе́къх*; 14 — *фъркули́ца* «вилка»; 15 — *ъ* < **ь* в слове *шъпа*; 16 — частица будущего времени *жъ*; 17 — *одва́ра* «творог»; 18 — *ди́ня* «арбуз»; 19 — *бу́зи* «щеки»; 20 — *штъ́ркел* «аист»; 21 — *царву́л* «вид обуви»; 22 — *опа́шка* «хвост»; 23 — флексия *ъ* в словах типа *вудъ*; 24 — *ша́пка* «шапка», *папу́р* «кукуруза», *маки́ста* «бусы», *'е* < *ѣ* в слове *добре́*; 25 — *кълву́н* «клюв»; 26 — ударение на конце в слове *ръ́ка*; 27 — *мисйрка* «индюшка»; 28 — местоимение 1-го лица ед. числа *йа*; 29 — *обици* «серьги»; 30 — *истри́й ръ́ци* «вытри руки»; 31 — *гера́н* «колодец»; 32 — цифра внутри кружка означает степень концентрации рассматриваемых явлений

Расшифровку населенных пунктов см.: БДА, I, стр. 189.

В этом случае труднее решать вопрос об архаическом характере тех или иных лексем: в лексике более чем в какой-либо иной области языка, имеют значение междиалектные контакты в данном континууме колонистских говоров, результатом чего может явиться экспансия одних лексем и утрата других. Так, судьба лексем, выражающих семему «низкий столик» (карта № 87 АБГ СССР), свидетельствует о том, что лексема *софра́* распространилась почти повсеместно в болгарских бессарабских говорах, не захватив лишь говоры периферийных (по отношению к г. Болград) сел. Аналогично трактуем и вытеснение лексемы *мисúр* лексемой *куркáн* (№ 101 АБГ СССР).

Рассмотренные выше факты свидетельствуют о том, что предки нынешних чийшийцев были выходцами из района юго-западнее г. Казанлык; их говор в своей основе является центрально-балканским [17], а не северо-восточным, как это считалось прежде. Становится возможным определить и этапы тех изменений, которые претерпело некое исходное состояние диалектной системы говоров района г. Казанлык до переселения его носителей в Россию (XVIII в.): если обе частные диалектные системы (села р-на г. Казанлык и с. Чийшии) рассматривать как определенные модификации этого состояния, то говор с. Чийшии следует считать более ранним синхронным срезом (сохранение значительного числа архаизмов объясняется, очевидно, его изоляцией от говоров метрополии).

III. Важной задачей болгарской исторической диалектологии является изучение языка средне- и новоболгарских памятников письменности. Определение диалектной основы того или иного памятника и установление места его написания невозможно без глубокого знания современных диалектов. С выходом в свет II тома БДА решение этой проблемы путем сопоставления языка памятников, которые, как полагают, были написаны в северо-восточной Болгарии, с соответствующими современными говорами становится вполне осуществимым.

В том случае, если достоверно известно место написания памятника средне- или новоболгарской эпохи, исследователь имеет возможность достаточно полно изучить пути и направления развития отдельных диалектов, поскольку он пользуется данными по крайней мере двух синхронных срезов, отстоящих один от другого на несколько столетий (таковы, например, данные дамаскинов XVII—XVIII вв. или других памятников той эпохи и данные современных диалектов).

Проиллюстрируем возможности подобного анализа на примере сопоставления двух отрывков из Трявненского дамаскина (XVII в.) [18] и диалектного материала из района г. Трявна, содержащегося во II томе БДА (разумеется, поскольку инвентарь сравниваемых черт весьма неполон, наши выводы неизбежно будут иметь ограниченное значение). Рассмотрим явления, не обнаруживающие расхождений.

I. Фонетические черты

Помимо явлений, показанных в табл. 1, отметим следующие факты. В современных говорах района Трявны имеет место перегласовка *'а* (<ст.-болг. *ѧ*) в *е* перед мягкими согласными (карта № 25). В дамаскине зафиксированы случаи указанной перегласовки *'а* в ударной и в безударной позиции: *чюдотвбрца Николае́* (стр. 353), *прбсеци* (стр. 59); в ряде случаев (очевидно, под влиянием аналогии) переход *'а* > *е* отмечается и перед твердыми согласными: *прбсекѣ*, *прбсекатокь* (стр. 59). О явлении перегласовки, возможно, свидетельствуют и написания: *прбсѧкатокь* (стр. 59), *мбѧта*, *свбѧта* (стр. 61), *дїѧволь* (стр. 58), *кадїѧ* (там же) и т. д. В пользу предположения, что *ѧ* не всегда равен *'а* [19], а иногда соответствует более переднему гласному, могут говорить следующие соображения. В памятнике *ѣ* = *е* [20] перед мягким слогом, под ударением и без него; *калѣгѣрь*/*калѣгерь* (стр. 58), *калѣгера* (стр. 353), *нде́ла* (стр. 59), *щѣше*/*ищеше* (стр. 60, 354), *фрьчѣше*, *сѣдѣше*, *дѣдеше*, *тачеше* (стр. 58,

---

[17] Ст. Стойков. Българска диалектология, стр. 73. Современное состояние классификации болгарских диалектов не позволяет дать более точное определение диалектной группы района юго-западнее Казанлыка, с которой наши чийшийцы связаны общностью происхождения.

[18] Оба отрывка («слова») опубликованы в работе: Л. Милетич, Членът в българския и руския език, СбНУ, XVIII, 1901, стр. 57—61; автор называет этот дамаскин Еленским, по месту находки, и датирует XVIII в. Б. Цонев относит его к XVII в. и называет «Стоянов или Тревненски» («Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека», II, София, 1923). Как показано в исследовании Е. И. Деминой (Е. И. Демина, Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Ч. 1. Филологическое введение в изучение новоболгарских дамаскинов, София, 1968), избранные для изучения слова отсутствуют в других старших новоболгарских дамаскинах и, как можно полагать, в меньшей степени подвержены влиянию переписчика.

[19] О том, что *ѧ* может иметь значение *'а*, пишет Б. Цонев (указ. соч., стр. 350).

[20] В этой же позиции *ѣ* = *и*: *свитаго* (Б. Цонев, указ. соч., стр. 355).

Таблица 1

Данные современных говоров р-на Трявны (по II т. БДА)	Карта	Данные Трявненского дамаскина	Стр.[1]
Произношение *нéма* (3-е лицо ед. числа)	20	*нéмамь* (1-е лицо ед. числа)	61
Редукция безударного *е* в *и*	37—39, 46	*ни стáна*[2], *ни дáмь, нидѣ́й си дáва, стáрицат, ричéме*	585
	47	*илá да вúдете*	60
Редукция безударного *о* в *у*	52	*мȣмá, дȣдé, катȣ (гóльбь) кóл'кȣ, дȣрú, дȣбрина,*	58
		блúзȣ, калȣгѣ́ратȣкь, детȣ ѡтúде, наѡ́колȣ	59
Произношение *чил'áк*	101	*челѣ́кь*	58
Сохранение *х* в конце слова и отсутствие *х* в интервокальной позиции	88, 89	*наврѣ́хь, прострѣ́х', вúдѣхь*	60
	91, 92	*ѡтрéкохь*	58
	94, 95	*бѣа*[3]	
Произношение *ъ* (*ạ*) на месте ст.-болг. *ѧ* в кратких формах личных местоимений ед. числа вин. падежа (*мъ, тъ/мạ, тạ*)	176	*той ма дарú*	35
		пазѣ́те са	59
Мягкость согласного основы в 1-м лице ед. числа глаголов 2-го спряжения (*моля, водя*)	123	*мóлꙗ*	58
Произношение *ж* в слове *желязо*	83	*желѣ́знїе*	61
Произношение групп согласных в словах *твой, двор*	74, 75	*твое, двор*	59
Произношение групп согласных в словах *еднó, бедна*	109	*еднó, дни*	

[1] Двузначные цифры указывают, что примеры взяты из публикации Л. Милетича (СбНУ, XVIII), трехзначные — из описания Б. Цонева (указ. соч.).

[2] О наличии редукции в языке писца могут свидетельствовать также случаи гиперизма, когда на месте этимологических безударных *и* и *у* встречаются буквы *е* и *о*: *úстена* (59), *избáве, стóре, вúде* (60), *хезметȣва* (61) *прóсекотȣмь, агглотомь, рóботомь* (60).

В интервокальной позиции *х* отмечается последовательно.

59, 354); в той же позиции встречается и *ѧ* (наряду с *ѣ́*); *златáрѣть, портáртѣ* (стр. 61), *седѣ́ше, гóнѣше, стоѧ́ше, пúѧше* (стр. 59, 61). Поэтому можно предположить, что в ряде случаев и *ѧ* = *е* (ср. такие примеры: *име* (стр. 59) и *úмѧ* (стр. 355), *Николаé* (стр. 352) и *Захарїѧ* (стр. 353), хотя отмечены и случаи: *дюгѣнцїѧть/дюгѣнцїꙗть* (стр. 59).

II. Морфологические и синтаксические черты

Помимо явлений, показанных в табл. 2, отметим следующие факты. В современном говоре в членных формах существительных жен. рода ед. числа после твердых согласных употребляется флексия -ъ́ (*та*): *водъ́та* (карта № 117), а после мягких — 'ъ(*та*)/(*ẹта*): *дъштер'ъ́* (№ 116), *дъштер'ъ́та* (№ 120), *главн'ъ́та* (№ 119), *главн'ъ́* (№ 115). В дамаскине -*ъ́та* отмечено только в случаях *покрú главъ́та, наврѣ́хь главъ́та* (стр. 58), в других случаях — флексия *а*: *ракáта, за женá* (стр. 58). В существительных с основой на мягкий согласный писец употребляет *ѧ* и *ѣ* и очень редко *ꙗ на гӱмїѧ* (стр. 61), *дъштерѣта* (стр. 58) *змиѧ́* (стр. 353), *на землѧта* стр. 59), *на земѣ́та* (стр. 60), ср. и местоимения: *нѣ́коѧ* (стр. 352), *сїѧ́*(стр. 355), но *н*^{д}*éлꙗ* (стр. 59). В данном случае трудно судить о качестве гласных, скрывающихся за знаками *ѣ* и *ѧ*, однако можно предположить, что они обозначали звук более узкого образования, чем '*а*.

По ряду черт язык дамаскина трявненских говоров различается.

В современных говорах района Трявны на месте ст.-болг. *ъ*, *ѫ* и в турецких заимствованиях произносится *ъ* (карты № 1, 2, 4). В дамаскине в этой позиции находим *а* и *ь вь кáщи* (но и *вь къ́щи* — стр. 61), *фарли* (стр. 354), но и *фрьли* (стр. 59), *альтáне* (стр. 60), *агглать, дїáволать, рóбать* (стр. 59, 60). Вероятно, в *а* отражается произношение гласного более широкого образования, чем современный *ъ* (т. е. нелабиализованный среднего подъема), тогда как написание с *ь* можно считать традиционным.

В современных говорах в односложных словах произносится сочетание *ръ* (*бръс, гръп, влък, жлът* — карты № 104—106), в многосложных — *ъл* (*зъ́лва, кълвé* — карта

Таблица 2

Данные современных говоров района Трявны (по II т. БДА)	Карта	Данные Трявненского дамаскина	Стр.
Действительные причастия прошедшего времени мн. числа *билé дошлé*	194	*билé, дъшлé* (также: *просúле*)	66
Частица будущего времени *шé*	191	*ша го спасé ше го фарли*	355 354
Форма мн. числа жен. рода *ръцéте*	22	*рацѣ́те*	616
Форма мн. числа *конé*	158	*конé*	352
Форма мн. числа *волóве*	138	*волóве*	60
Формы 1 и 2-го лиц мн. числа глагола *сме, сте*[1]	189, 190	*сме, сте*	59
Форма 1-го лица ед. числа аориста на *-ох* (*дáдох, пéкох и* т. д.)	192	ѿ*рéкохь* (также: *излѣ́зоха дáдꙋха*)	58
Суффикс прилагательных *-ски*	200	*úдольским* *прóсеско*	58 59
Конструкция *недéй плакá*	237	*нидѣ́й си дáва*	58

[1] Наряду с формой *све* в ряде сел (карта № 190 БДА).

№ 107)[21]. В дамаскине в этой позиции, как правило, употребляются сочетания *рь, ль*: *сьмрьть, наврьхь, трьгнá, свръшúха се обрьнá* (стр. 58), *потрьколú* (стр. 59), *прьво* (стр. 60), *вльхватá* (стр. 57), *мльчú* (стр. 58), *напльнихá* (стр. 59). Отмечен один случай колебаний: *фрьли* (стр. 59) и *фарли* (стр. 354). Последний вариант дает основание предполагать, что языку писца не было чуждо произношение плавного после гласного.

В связи с вопросом о сочетаниях плавных с ъ в дамаскине следует указать на интересный случай употребления *рь* в слове *чрьшїѧта* (стр. 60), который можно квалифицировать как гиперизм (ср. турецк. *çarşi*) и истолковывать двояким образом: если живому произношению писца были свойственны группы *rъ, lъ*[22], то в этом слове отразилась адаптация фонетического облика заимствованного слова; если же в написании групп *рь, ль* писец строго следовал традиции, не отражая живого произошения, то форма *чрьшїѧта* не дает информации об истинном произношении указанных групп.

Современные говоры района Трявны характеризуются сохранением мягких *т', д'* в словах *дядо, тях* и под. (карты № 68, 69). В дамаскине отмечен один случай перехода *д' > г'*: *гѧ́дꙋ пею* (стр. 354). Данное явление широко распространено и в соседних с трявненскими еленских говорах.

В современных трявненских говорах существительные ср. рода ед. числа имеют ударение на флексии (ср., например, *сребрó* — карта № 136). В дамаскине отмечены формы *срéбро, злáто* (стр. 60).

В современных говорах района Трявны у существительных и прилагательных муж. рода ед. числа фиксируется членная форма *-ъ* (*-'ъ*) (*брегъ́, ден'ъ́, вóлъ, пъ́т'ъ, бéлийъ* — карты № 169—172, 175). В дамаскине фиксируется полная членная форма *-ать/-ьть* после твердых согласных и *ѧть/ѣть/ꙗть* после мягких: *свѣ́тать, пóпать* (стр. 58), *градáть/градьть, рóбать, грѣ́хать, сомꙋнать* (стр. 59), *дюгѣ́нцїꙗть/дюгѣнꙋїѧть* (стр. 60), *корáбѧть, златáрѣт'* (стр. 61), *едúнать, петрóвать, нáшїѧть* (стр. 58, 59, 61). Следует отметить, что полная членная форма *ът* (*'ът*) свойственна и габровским говорам, примыкающим с запада к трявненским (карты № 169—172, 175).

В современных трявненских говорах распространена флексия *ъ́* в форме 1-го лица ед. числа настоящего времени I спряжения (*беръ́* — карта № 185). В дамаскине отмечена флексия *а* : *да ꙋрá, да рекá, ща продá, нища тї ѧ дáва* (стр. 60, 58). Возможно, однако, что в этом *а* скрывается звук более узкого образования [α]; в пользу этого могут говорить случаи параллельного употребления *ъ́* и *á* в корневых морфемах.

Таким образом, можно отметить, что по ряду признаков диалектная система на протяжении периода с XVII в. до середины XX в. не претерпела существенных изменений; это свидетельствует о значительной устойчивости отдельных ее звеньев, а также о том, что их становление относится к достаточно отдаленному времени (ср., например, явление редукции). Констатация расхождений между языком дамаскина и современным диалектом может свидетельствовать как об особых тенденциях развития, присущих данной группе говоров, так и об иносистемных (инодиалектных) влияниях.

[21] К сожалению, во II томе БДА нет карты, отражающей произношение сочетаний плавного *р* с ъ в многосложных словах.

[22] В настоящее время такое произношение известно и в некоторых соседних говорах (ср. п. 2443: *задлъжúтелно* — карта № 107) и в говорах района г. Котел (пп. 2531, 2543, 2576 и др.).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1968

В. Я. ДЕРЯГИН, Л. П. КОМЯГИНА

ИЗ ИСТОРИИ ДИАЛЕКТНЫХ ГРАНИЦ В СЕВЕРНОЙ РОССИИ

Изучение лексики диалектов северной России методами лингвистической географии и воссоздание истории севернорусских лингвистических ландшафтов по данным местных письменных памятников представляет интерес во многих отношениях. Поскольку значительная часть территории Севера не обследована для русского национального диалектологического атласа, областные севернорусские атласы могут стать единственным новым источником сведений о диалектных и этнических границах, здесь обнаруживаемых.

Повышение теоретического уровня историко-диалектологических работ, эффективность их в плане установления связи истории языка с историей говорящего на нем народа в значительной мере зависит теперь от расширения базы исследования: сбора материала и составления областных словарей и атласов различного типа, издания памятников письменности и составление словарей к ним, описания языковых особенностей текстов, созданных в разных областях русской языковой территории. Не меньшее значение имеет и разработка методики историко-диалектологических исследований.

Самый общий ее принцип — конкретно-исторический анализ языковых фактов. Наиболее очевидна необходимость конкретно-исторического анализа в подходе к материалам, почерпнутым историком языка из памятников местной письменности. Мы имеем в виду исследование материала с полным учетом постоянно действующих в языковом развитии фактора географического и фактора времени. На современной основе следует осмыслить предостережение А. А. Потебни: «Исследователь должен помнить, что с первых памятников письменности он имеет дело с образцами не всего русского языка, а лишь некоторых его частей» [1].

Самый распространенный вид памятников, привлекаемых в настоящее время в историко-диалектологических исследованиях,— деловые документы, частная и деловая переписка. Как правило, все это датированные рукописи, место создания и авторы (писцы) которых точно известны. Это позволяет исследователю с большой степенью точности локализовать каждый языковый факт во времени и в пространстве. Общие и различительные языковые черты устанавливаются при сравнении текстов во временной и пространственной проекциях [2]. Только такой подход к показаниям письменных памятников прошлого делает действительно сопоставимыми данные исторические с данными современными, т. е. с показаниями диалектологических атласов и современных диалектологических словарей, в которых пространственной локализации фактов придается первостепенное значение. Соблюдение этих методических требований ведет к органическому слиянию диалектографии с историей языка.

Если говорить о все еще далеких пока перспективах создания общей истории русского языка в его говорах и русского исторического словаря, то трудно переоценить важность конкретно-исторических исследований русской диалектной лексики, ибо они позволят уточнить гипотезы о времени и причинах образования диалектных границ, о формировании современных диалектных массивов. Эти гипотезы в большинстве случаев основываются (из-за недостатка исторических данных) на интерпретации данных современной лингвистической географии в плане истории языка (как правило, путем прямого сопоставления изоглосс или пучков изоглосс с границами этническими, государственными, административными).

Историко-географический анализ диалектной лексики дает ценнейший материал для исторической лексикологии русского языка, так как он позволяет воссоздать историю отдельных слов и лексики языка в целом на разных этапах ее развития и в кон-

---

[1] А. А. Потебня, К истории звуков русского языка, ч. I, Воронеж, 1876, стр. 3.

[2] В немецкой исторической диалектологии успешно применяется прямое картографирование показаний памятников деловой письменности с дифференциацией текстов по времени создания при каждом отдельном центре письменности. См., например: Zd. Masařík, Zur spätmittelalterlichen Wortgeographie. Die Wochentagsnamen der deutschen Kanzleisprache des 14.—16. Jahrhunderts in Mähren, «Zeitschrift für Mundartforschung», XXXIV Jg., 3/4, 1967.

кретных условиях ее существования в речи носителей различных диалектов русского языка. В этом отношении богатейший материал местной письменности XV—XVIII вв. все еще используется совершенно недостаточно, хотя в последнее время и наблюдается определенное оживление в работе по изданию памятников, отражающих народно-разговорную речь прошлого. На необходимости более широкого и критического использования памятников в исторических исследованиях теперь настаивают постоянно [3].

Широкое обследование диалектов по программам готовящихся в настоящее время областных словарей — Архангельского (МГУ и Архангельский пединститут), Словаря русских говоров Карелии и Мурманской области (ЛГУ), Печорского словаря (ЛГУ) — обнаруживает существенные различия в лексике диалектов различных районов Севера. Специальное лингвогеографическое изучение этой территории позволит установить определенные закономерности в размещении языковых фактов. При всем своеобразии в конфигурации отдельных изоглосс, общие диалектные границы — по пучкам изоглосс — намечаются довольно четко. Примером тому может служить актуальная в современных диалектах Архангельской области граница, проходящая примерно по водоразделу Онеги и Двины с Вагой, которая прослеживается на значительном числе лексических карт [4].

Обращение к материалам датированных и локализованных памятников делового письма, созданных в различных районах Севера в XV—XVII вв. и в значительных количествах сохранившихся до настоящего времени [5], дает возможность воссоздать историю отдельных изоглосс и общих диалектных границ. Так, существование указанной диалектной границы может быть прослежено по крайней мере с XV в., хотя очертания отдельных изоглосс в их настоящем виде могли складываться в позднее время.

Как правило, пространственные противопоставления, намечаемые для исследуемых здесь диалектов современной Архангельской области, прослеживаются и при выходе за пределы рассматриваемой территории. Образование важнейших диалектных границ связано и с эпохой первоначальной колонизации этих мест, и с направлением позднейших культурных и языковых влияний. В то время как диалекты бассейна Онеги тесно связаны с диалектами русского северо-запада, двинские и важские изоглоссы находят продолжение в районах, примыкающих к рассматриваемой территории с юга и юго-востока. Для характеристики двинских и важских диалектов как теперь, так и в прошлом важнейшими оказываются их связи с диалектами, по традиции именуемыми северо-восточными. В конечном счете это объясняется, видимо, тем, что русские пришли на Вагу и Двину в основном из района Верхнего Поволжья. Позднейшее культурное влияние Московского государства также наиболее ощутимо по Ваге и Двине — крупнейшим торговым артериям Севера.

Наши предположения о значительном северо-восточном вкладе в древнейшую колонизацию этих новгородских территорий согласуются с новыми данными смежных наук, занимающихся этногенезом. Особенно следует отметить разительное совпадение основных диалектных границ, намечающихся в пределах Архангельской области, древность которых подтверждается показаниями памятников, с границами распространения антропологических типов русского населения на этой территории. На картах, опублико-

---

[3] В. В. Виноградов, История русского литературного языка в изображении акад. А. А. Шахматова, «Филолошки преглед», 1964, 3—4; С. И. Котков, О развитии лингвистического источниковедения, ВЯ, 1968, 2.

[4] В основу исследования положены данные картотеки Архангельского областного словаря кафедр русского языка МГУ и Архангельского пединститута, а также материалы, собранные при лингвогеографическом обследовании и полученные от сельских учителей в качестве ответов на вопросник. Часть карт см.: В. Я. Дерягин, Из истории лексических изоглосс в говорах Архангельской области, «Этимология. 1966», М., 1968.

[5] Для сплошной выборки из опубликованных документов привлечены: А. А. Шахматов, Исследования о двинских грамотах XV в. Ч. II, «Исследования по русскому языку», II, 3, СПб., 1903; И. М. Сибирцев, А. А. Шахматов, Еще несколько двинских грамот XV в., «Исследования по русскому языку», II, 5, СПб., 1909; «Акты Холмогорской епархии» в кн.: «Русская историческая библиотека» (далее — РИБ), 12, 14, СПб., 1890—1894; «Акты Лодомской церкви», РИБ, 25, приложения, СПб., 1908; «Сборник грамот Коллегии экономии» (далее — СГКЭ), I—II, Пг.—Л., 1922—1929; из неопубликованных: документы Государственного архива Архангельской области (далее — ГААО, фонды 56 — Антониева Сийского, 57 — Михайло-Архангельского, 60 — Пертоминского, 191 — Николо-Корельского, 309 — Черногорского Пинежского, 792 — Каргопольского, 829 — Богословского Важского монастырей, 1408 — Канцелярии Владычего наместника Новгородской архиепископии), Центрального государственного архива древних актов (далее — ЦГАДА, фонд 1201 — Соловецкого монастыря), несколько документов из Пинежского собрания Института русской литературы (Пушкинский дом).

ванных М. В. Витовым [6], границы распространения «ильменско-беломорского антропологического типа» в основном совпадают с границами распространения наших «онежских» слов (карта 3 у М. В. Витова). «Верхневолжский антропологический тип» заходит в пределы территории Архангельской области с юга по Двине и Ваге до Емецка и Пинеги, и это соответствует нашим «двинско-важским» изоглоссам (карта 8 у М. В. Витова). Распространение былинной традиции в западной и восточной частях территории современной Архангельской области и отсутствие каких-либо ощутимых следов ее еще в XIX в. на Ваге и Двине (см. карту 9 у М. В. Витова) также может служить доказательством исконной неоднородности русского населения области.

Слово *ра́товище* [ра́товишшо] употребляется в значении «рукоятка (вил, лопаты, косы и т. п.)» в двинских, важских, пинежских и мезенских диалектах (карта 1): *Ра́товишшо потблшше, да э́то ме́сто поббльше у мутбфки* (Нижнее Койдокурье Холмогорского р-на). Зафиксировано в этом значении в словаре Грандилевского [7], у Подвысоцкого как «рукоять пешни» [8]; известно в ярославских, колымских диалектах [9]. Отмечено в отводной грамоте 1598 г. из фонда Антониева Сийского монастыря: «шесть бердышев на ратовищах» [10]. Картотека Древнерусского словаря Института русского языка АН СССР дает множество примеров на употребление этого слова [*ратовище* «рукоять (копья, пики, протазана)»; а также «рогатина»] в московских, северных (вологодских, белозерских), сибирских памятниках XVI—XVIII вв. [11]

Слово *рбвдуга* (*рбгдуга*) «выделанная кожа животного» представлено также типичной двинской изоглоссой (карта 1): *Рбвдугу выдёлывали на рукавйцы, на вёрхницы* (Хаврогоры Холмогорского р-на). В словаре Подвысоцкого *рбвдуга* «замша из оленьей кожи» с пометой «мезенское»; у Даля и в «Опыте...» приведено с пометой «сибирское»; отмечено в колымских, якутских, иркутских, камчатских диалектах [12]; употребляет его В. Я. Шишков («Угрюм-река»). Существительное *ровдуга*, а также прилагательные *ровдужий* и *ровдужной*, обычно «*рукавицы ровдужи*» [13], встречаются в двинских, важских и соловецких документах XVI—XVII вв. [14]; в рукописях XVII в. из архива Онежского Крестного монастыря (устье Онеги), приходо-расходных книгах Антониева Сийского и Николо-Корельского монастырей XVI в., в холмогорских рукописях XVII в.— по картотеке ДРС. В приходо-расходной книге Сийского монастыря за 1638—1639 гг. так-

[6] М. В. Витов, Антропологические данные как источники по истории колонизации русского Севера, «История СССР»,1964, 6.

[7] А. Грандилевский, Родина М. В. Ломоносова. Областной крестьянский говор, «Сб. ОРЯС» 83, 5, 1907.

[8] А. О. Подвысоцкий, Словарь областного Архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении, СПб., 1885.

[9] Г. Г. Мельниченко, Краткий ярославский областной словарь, Ярославль, 1961; В. Г. Богораз, Областной словарь колымского русского наречия, СПб., 1901.

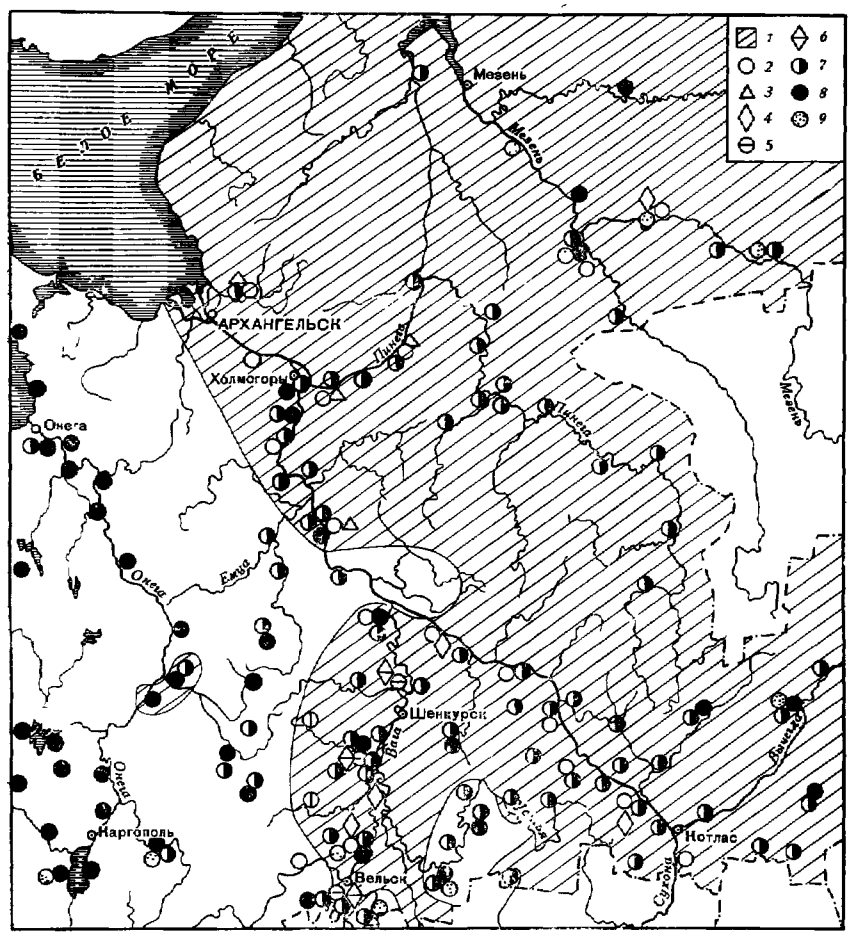
[10] ГААО, ф. 56, оп. 3, № 1-а.

[11] «Православный палестинский сборник», XVIII, 3, СПб., 1889, стр. 25; IX. 3. СПб., 1891, стр. 72; «Памятники древней письменности», № 15, СПб., 1881, стр. 10; № 43, СПб., 1883, стр. 81; И. Забелин, Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст., ч. 1, М., 1895, стр. 717; ч. 2, М., 1915, стр. 585; «Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом», I, М., 1872, ст. 79; «Устав ратных, пушечных и других дел...», ч. II, СПб., 1781, стр. 213; РИБ, 9, стр. 41; «Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею», XII, ст. 88, 394; «Акты собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Академии наук», IV, стр. 131; «Дополнения к Актам историческим...», VII, стр. 198; «Псков и его пригороды», кн. 2, М., 1914, стр. 265; «История о Мелюзине», перевод с польского, 1677 г. (ркп.); П. М., Хождение на Восток Ф. А. Котова в первой четверти XVII века, ИОРЯС, XII, кн. 1, 1907, стр. 107; «Книга Система или состояние мухаммеданския религии», СПб., 1722, стр. 32; «Оружейная палата Кирилло-Белозерского монастыря по описным книгам 1668 года», «Зап. Отд-ния русск. и слав. Археологическ. об-ва», I, отд. 3, 1851, стр. 42; «Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках», IV, СПб., 1893, стр. 126; Г. Ф. Миллер, История Сибири, II, М.— Л., 1941, стр. 402; «Книга, именуемая окладная: в ней же описание Сибирской стране городом» (XVII в., ркп.); «Дневные записки путешествия доктора Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина...», ч. IV, стр. 360—361, 367 («рукоятка гарпуна»); И. Т. Посошков, Книга о скудости и богатстве, М., 1937, стр. 40; В. Тредиаковский, Три рассуждения о трех главнейших древностях российских, СПб., 1773, стр. 166—167.

[12] В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, IV, М., 1956; «Опыт областного великорусского словаря», СПб., 1852; В. Г. Богораз, Областной словарь колымского русского наречия, СПб., 1901.

[13] «Книга платяная Михайло-Архангельского монастыря за 1696 г.», л. 25 (хранится в библиотеке ГААО).

[14] ГААО, ф. 829, оп. 2, № 1, л. 9; оп. 3, № 3, л. 2; № 5, лл. 7 об., 13 об.; ф. 56, оп. 3, № 17, л. 4; ф. 60, оп. 1, № 48 (1), л. 4 об.; ЦГАДА, ф. 1201, оп. 1, № 15, л. 121; № 41, л. 66 об.; РИБ, 14, ст. 637, 695.



Карта 1. Условные обозначения: 1 — распространение слова *рáтовище*, *рáтовьё*; 2 — *рбвдуга*; 3 — *рбвдужной*; 4 — *рбвдужий*; 5 — *рбгдуга*; 6 — *рбгдужий*; 7 — *сузём*; 8 — *сузёмок*; 9 — *сузёмье*

же *рукавицы ровдужницы* [15]. По данным картотеки ДРС, слова *ровдуга*, *ровдужий*, *ровдужной*, а также *ролдуга*, *ролдужий* и *ролдужный* отмечены в рукописях Павлова Обнорского, Тихвинского, Свирского монастырей XVI—XVII вв. (в таможенных книгах); они широко употребляются в устюжских документах [16], зарегистрированы в московских, сибирских, якутских памятниках XVI—XVIII вв. [17].

Граница распространения форм *сузём* : *сузёмок* (редко в современных диалектах отмечается *сузёмье*) «густой лес; большой массив леса; удаленное от жилья место» прослеживается четко (карта 1): *И нáдо иттú однóй лéсом, сузёмом иттú*; *Ушлú кóни на сузём, там хóдят на сузёме* (Ступино, Верала Няндомского р-на); *Ёдут ф сузёмок, тёски*

[15] ГААО, ф. 56, оп. 3, № 9, лл. 34, 35

[16] РИБ, 25, ст. 5, 118; В. П. Шляпин, Акты Велико-Устюжского Михайло-Архангельского монастыря, II, В.-Устюг, 1913, стр. 211, 216.

[17] РИБ, 38, кн. 4, ст. 325; «Материалы для истории раскола за первое время его существования», III, М., 1878, стр. 394; «Опыт сборника сведений по истории и технике книгопереплетного художества на Руси... Собрал П. Симони», СПб., 1903, стр. 9, 13; «Выходы государей царей и великих князей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича (с 1632 по 1682 год)», М., 1844, стр. 295, 320; «Сб. Русского исторического общества», 41, СПб., 1884, стр. 109; 95, СПб., 1895, стр. 13; «Временник ОИДР», кн. 2, 1849, стр. 94; «Дополнения к Актам историческим...», IV, стр. 23; V, стр. 160, 375; X, стр. 345; XI, стр. 5, 6; «Дневные записки... Ивана Лепехина...», ч. IV, стр. 220, 228. См. также: И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, III, М., 1903.

на дéреве кладýт (Корельское Онежского р-на). Территориальное противопоставление в какой-то мере может быть подтверждено и показаниями старых диалектных словарей, хотя географические характеристики в них представлены неполно: Грандилевский отмечает *сузёмок и сузём*, у Подвысоцкого только *сузём* с пометой «мезенское», у Куликовского [18] — *сузёмок* и *сузём*; в «Опыте...» слово *сузёмок* дано с пометами «архангельское, новгородское, олонецкое», а *сузём* — как вологодское (по данным картотеки Словарного сектора Института русского языка, отмечено в великоустюжских, верховажских, тотемских, никольских, кадниковских, а также сольвычегодских говорах). Даль приводит форму *суземье* — «стар.» и «пермское», а формы *сузём сузёмы* мн. и *сузёмок* — с пометами «новгородское, вологодское, олонецкое, архангельское, сибирское».

Из рассматриваемых форм в пинежских, двинских и написанных в Поморье документах в указанном для современных говоров значении употребляется только *суземье*: «дали на оброк на пѣнежском волоку в николском приходе тимошке савелевѣ снѣ, пушковѣ с петровы горы пустое место в суземе в рамене лѣс розчищати на пашню...» [19]; «пониже пѣнеги речка вавчюга падет въ двинѣ рекѣ из суземья и из озер и из болот» [20]. Образованная по продуктивному для XV—XVII вв. типу (ср. в памятниках: *раменье, згодье, угодье, задворье, запоженье* и т. п.), форма *суземье* представляется архаической; это подтверждает и ее изоглосса и в современных диалектах, а основное противопоставление форм *сузём* : *сузёмок* складывается, по-видимому, поздно.

Любопытно, что в ином значении, чем в современных диалектах и в цитированных выше памятниках, употреблено слово *сузем* в одной из явок Тарнажского городка (1649 г.) — на крайнем юге рассматриваемой территории: «В нынѣшнемъ, во 157 году сіяли мы сироты рожь на Ягодинскую пустошку за о(го)родъ ко 158 году, и онъ ѳедотъ тотъ огородъ на Ягодинской пустошкѣ, кой огородъ гороженъ от суземъ отъ гари, и онъ ѳедотъ тотъ огородъ рассѣкаетъ и разломиваетъ и скотъ на суземъ пропущаетъ...» [21]. Вероятнее всего здесь значение «чернозем» зафиксированное составителями «Второго дополнения к „Опыту..."» [22] в Тихвинском уезде. В современных диалектах на территории Архангельской области не отмечено.

Многочисленна в современных диалектах Архангельской области группа слов со значением «небольшой участок на краю поля или луга, незапаханный край поля, используемый обычно для сенокоса»: *Нáдоть з а к р а́ е к скоси́ть*; *По з а к р а́ й к у бáба фсю траву́ замя́ла* (Верхопаденьга Шенкурского р-на); *На з а́ п о л ь к а х* не *роспáхивают* (Озерко Каргопольского р-на); *На з а п о́ л ь к е у нáс бзеро бы́ло* (Ступино Няндомского р-на); *В з а п о́ л ь е хóдя* [*лошади*], *там фсё на задéвках кóрмяцца* (Хаврогоры Холмогорского р-на); *Ёти з а́ п о л о с к и у нáс бабу́шка фсе скоси́т* (Судрома Вельского р-на); *У пóля ручьевúна блúско, п о т п о́ л ё к ы называ́еца* (Нижнее Койдокурье Холмогорского р-на); *Поди́ на п р и п о́ л ё к травы́ покоси́ть* (Кулига Красноборского р-на); *З а м ё ж о к — то пот пóлём, пот концóм* (Вальтево Пинежского р-на). В то время как слово *запóлек* употребляется повсеместно, а слово *припблек*

Таблица 1

Район	Вага		Двина и Поморье			Пинега и Мезень		Онега (Каргополь)	
Век	XVI	XVII	XV	XVI	XVII	XVI	XVII	XVI	XVII
Кол-во документов	28	435	135	703	647	5	39	12	96
Закраина	—	—	—	24	15	1	1	—	—
Закраек	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Заполек	—	2	1	1	—	—	—	—	2
Заполосок	—	—	—	—	1	—	2	—	—
Подполек	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Приполек	—	2	1	15	5	—	—	—	—

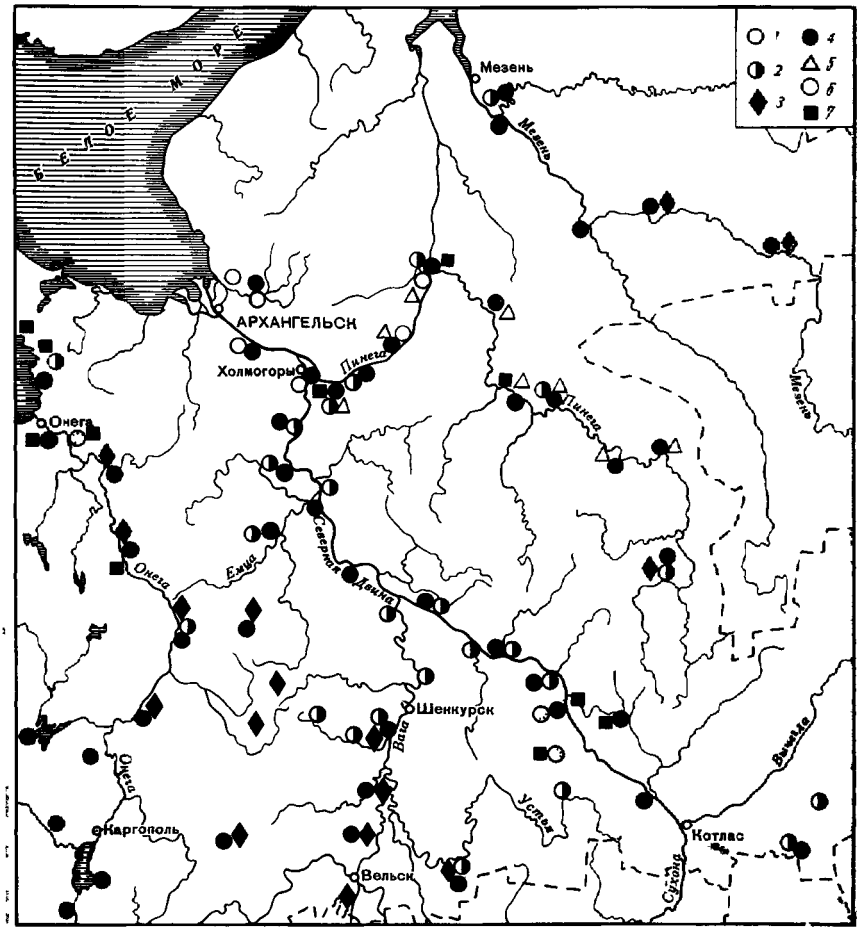
[18] Г. И. К у л и к о в с к и й, Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении, СПб., 1898.

[19] ГААО, ф. 309, оп. 2, № 1 (1588 г.).

[20] ГААО, ф. 56, оп. 3, № 6 (1629 г.); см. также: ф. 57, оп. 2, т. I, № 180—256 (1673 г.); РИБ, 14, ст. 259 (1618 г.).

[21] РИБ, 14, ст. 756—757.

[22] Ф. И. П о к р о в с к и й, Е. Н. Я ц е н к о. Второе дополнение к «Опыту областного великорусского словаря» (ркп., по картотеке Словарного сектора).



Карта 2. Название участков сенокоса у поля. Условные обозначения: 1 — *закра́ина*; 2 — *закра́ек*; 3 — *заполо́сок*; 4 — *запо́лок*, *запо́лье*; 5 — *зажёжек*; 6 — *припо́лок*; 7 — *подпо́лок*

редко, все другие названия распространены в более или менее четко очерченных границах (карта 2). Широко представлены эти названия и в памятниках местной письменности, что видно из табл. 1 (указано общее количество документов по территориальным группам и количество документов, в которых зафиксированы рассматриваемые слова).

Заметим, что рассматриваемые слова в некотором смысле дифференцированы семантически, однако эта дифференциация связана не с различием их собственно лексических значений, а лишь с определенными ситуативными моментами, скорее всего с употреблением в речи: образования с предлогами *под-* и *при-* в противоположность словам с предлогом *за* обозначают пространственно более близкие объекты (по отношению к жилью, дороге, может быть, даже и просто к автору высказывания). Так можно объяснить употребление разных названий в одном тексте: «...трет' двора. и дворища горных. земель. ѡрамы. и с приполками. лѧговые ѡрамы: и с закраинами. и с пожнѧми...» [23], «а ѡстѧшилсѧ есми тех ѕчѧстъков ѡрамые земли и пожен и з закраинами с приполки и с причистью и сѡ всеми ѕгѡди...» [24].

Другие примеры: «а ѕакраина что в полѣ на вопчеи та ѕакраина косити ему ѳедѡру на сѡбя» [25]; «А в тихъ есми ему деньгаихъ заложилъ есми въ верховьи на Терехови на-

[23] ГААО, ф. 57, оп. 2, т. I, № 15—23 (1541 г.).

[24] ГААО, ф. 191, оп. 3, № 7 (1576 г.).

[25] ГААО, ф. 309, оп. 2, № 8; см. также: ф. 57, оп. 5, № 1; ф. 191, оп. 3, № 19; ф. 1408, оп. 1, № 2, 5, 38, 39; РИБ, 12, ст. 2, 4; РИБ, 14, ст. 7, 17, 33, 51, 66, 231; РИБ, 25, приложения, ст. 59, 169, 250, 278; СГКЭ, I, ст. 45, 46, 48, 61, 80, 84, 100, 105, 130, 142, 156, 179, 189, 280, 388, 395, 419, 427, 455, 505.

волоки да на Вильятовѣ наволкѣ, и со всѣми закраики, оброчьныя пожни пустыя, что мнѣ, Козьмѣ, от братіи з дѣлу довелося. И язъ, Козьма, нынѣнечи заложилъ брату своему Стеѳану пожни Терехово да Вильятово, и з закраиками, съ поженными» [26]; «... да избных дров у двора и на ѕаполки тринатцат сажен» [27]; «... подѣлилисе есми промеж собою ... сенными покосы с ѕаимищи і ѕаполоскі с пѹтики і слопечники ...» [28]; «се купи есип... лоскутъ земли за. дворнои... и в потполки что с лукою половина. да грѧда капуста с(а)дити земли...» [29]; «а в полях нам лес чистити и вново приполки припахиват» [30].

Наиболее употребительный в двинских, поморских и пинежских памятниках XVI—XVII вв. и устойчиво сохраняющийся в диалектах низовьев Двины и Пинеги до настоящего времени термин *закраина* представляется нам местным семантическим диалектизмом с ограниченным ареалом. Хотя само слово *закраина* широко распространено в русском языке, обычное его значение — просто «край чего-либо» [31]. В указанном выше специальном значении, по данным картотеки ДРС, оно встречается в холмогорских, архангельских, сийских рукописях XVII в. В словаре холмогорского говора, составленном Грандилевским: *закра́ины* «окраины полей, межи на полях».

Распространенное в современных диалектах бассейна Двины слово *закраек*, кроме указанного лодомского документа, встретилось в устюжских памятниках [32]; в других, более широких и специальных значениях оно отмечено во многих словарях и записях диалектной лексики [33].

Имеющий повсеместное распространение в современных диалектах и встречающийся как в двинских, так и в онежских документах XVI—XVII вв. термин *заполек* зарегистрирован в словарях Подвысоцкого и Куликовского, отмечен в новгородских писцовых книгах [34]. Слово *заполосок* за пределами рассматриваемой территории известно в вятских и ярославских диалектах [35], встречается, по данным картотеки ДРС, и в ярославских памятниках [36], а также в рукописях Иверского и Тихвинского монастырей XVII в., в грамоте Николаевского Гостинопольского монастыря от 1684 г. [37]. Таким образом, в этой группе терминов, при всем своеобразии в судьбе отдельных слов, прослеживаются основные территориальные противопоставления, намечаемые как для современных диалектов, так и для диалектов XVI—XVII вв., насколько об этом можно судить по данным текстов, относящихся к разным территориальным группам.

В современных диалектах на территории Архангельской области в значении «огород при доме, приусадебный участок» употребляются слова: *о г о р о́ д е ц* (*Лук в огоро́цце иди́те порви́те, тра́фки ма́ленькой* — Хаврогоры Холмогорского р-на; *Я пойду́ в огоро́дец, почи́шшу лук* — Пучуга Верхнетоемского р-на); *к а п у́ с т н и к* (*А ф капу́снике лопа́ткой перекопа́ем* — Верала Няндомского р-на; *Он не о́чень давно́ паха́л э́тта ф капу́снике* — Медведево Онежского р-на); *р о с с а́ д н и к* (*В росса́днике у меня́ капу́ста клубова́я растё* — Верала Няндомского р-на; *Хозя́ёф нет до́ма, о́фци фсе зашли́ в роса́дник* — Конецгорье Виноградовского р-на). В отдельных говорах словом *росса́дник* называют новую для этих мест реалию — парники, однако в речи представителей старшего поколения оно довольно последовательно употребляется в

[26] РИБ, 25, приложения, ст. 150 (1591 г).

[27] ГААО, ф. 792, оп. 1, № 168; см. также: № 52; А. А. Ш а х м а т о в, указ. соч., стр. 3, 9; РИБ, 12, ст. 4; РИБ, 14, ст. 220.

[28] Пинежское собрание ИРЛИ, № 59; см. также: СГКЭ, 2, ст. 617; РИБ, 14, ст. 220.

[29] А. А. Ш а х м а т о в, указ. соч., стр. 50; см. также: СГКЭ, I, ст. 178.

[30] ГААО, ф. 829, оп. 1, № 1118; см. также: № 792; ф. 56, оп. 3, № 3а; ф. 57, оп. 2, т. I, № 15—43, 15—22, 51—106, 51—108; ф. 191, оп. 3, № 7; А. А. Ш а х м а т о в, указ. соч., стр. 39; РИБ, 12, ст. 2; РИБ, 14, ст. 33, 115, 409; РИБ, 25, приложения, ст. 278; СГКЭ, I, ст. 105, 129, 142, 149, 179, 180, 198, 492, 501.

[31] «Словарь русского языка, сост. Вторым отд. Имп. Акад. наук», II, вып. 4, СПб., 1900.

[32] РИБ, 14, ст. 878.

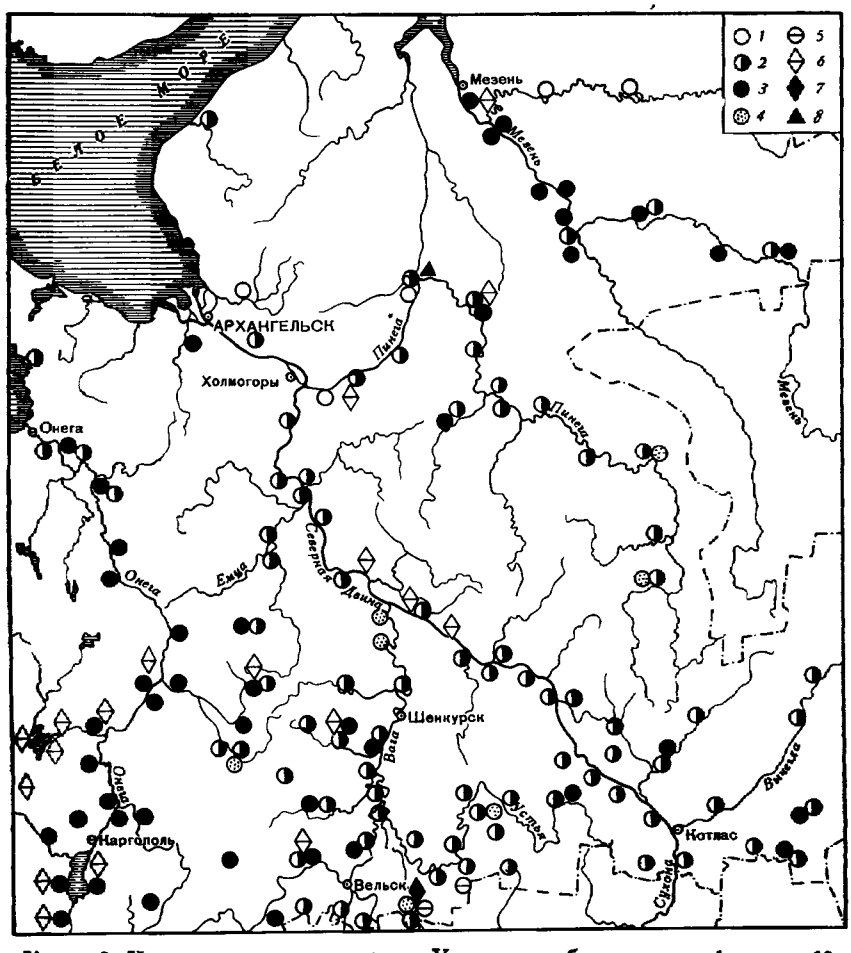
[33] «Словарь русского языка, сост. Вторым отд. Имп. Акад. наук»; в значении «опушка, край пожни и леса» распространено в современных псковских диалектах (картотека Псковского словаря Межкафедрального словарного кабинета им. Б. А. Ларина в ЛГУ); в значении «опушка леса» отмечено в вятских диалектах (картотека Словарного сектора Института русского языка).

[34] «Новгородские писцовые книги», IV — Книги Бежецкой пятины, СПб., 1910, стр. 929.

[35] Н. М. В а с н е ц о в, Материалы для объяснительного Областного словаря вятского говора, Вятка, 1907; Г. Г. М е л ь н и ч е н к о, Краткий ярославский областной словарь, Ярославль, 1961.

[36] «Временник Демидовского юридического лицея», кн. 83, Ярославль, 1901, стр. 85, 86, 167.

[37] «Акты, относящиеся до юридического быта древней России», II, СПб., 1864, стр. 53.



Карта 3. Название огорода у дома. Условные обозначения: 1 — *огорбд*; 2 — *огорбдец*; 3 — *капу́стник*; 4 — *сад*; 5 — *садбвник*; 6 — *россáдник*; 7 — *ободвброк*; 8 — *грядки*

значении «огород при доме». Распространено в современных диалектах также слово *усадьба* — новообразование, пришедшее в речь крестьян после образования колхозов; это полуофициальный термин от чуждого разговорной речи выражения *приусадебный участок*. Употребительный в настоящее время в диалектах центральных и восточных районов Архангельской области термин *огорбдец* (см. карту 3) представляет, по всей вероятности, старую изоглоссу, существовавшую уже в XV в. Распределение памятников, в которых отмечены слова *огородец* и *капустник*, по территориальным группам показано в табл. 2.

Таблица 2

Район	Вага	Двина и Поморье			Пинега и Мезень	Онега (Каргополь)	Соловки
Век	XVII	XV	XVI	XVII	XVII	XVII	XVII
Кол-во документов	435	135	703	647	39	96	28
Огородец	4	8	17	15	2	1	1
Капустник	—	1	7	3	—	—	—

В документе из фонда Каргопольского монастыря — закладной 1693 г.— упомянут двор *с огородцем* в Уне (Поморье) [38]. Примеры из других памятников: «...за фатѣевымъ двором мѣхѣеви ѡчны земли полъ ѡгоротца полкапустника» [39]; «8 их двора два огоротца» [40]; «наставился гсдрь онъ іванъ на глинскомъ посаде на мистрьское дворищное мѣсто избною кровлею и за двором на ѡгородцѣ частоколомъ» [41]; «перед избою огородецъ и кругомъ огороца частокол и на задворье огородецъ с одну сторону от ровъ а з другую частокол» [42]. Заметим, что уже в памятниках с XV в. слово *огородец* не является просто уменьшительным к слову *огород*, так как последнее устойчиво употребляется на протяжении всего обозримого периода, от XV в. до настоящего времени, в тех же районах, что и *огородец*, но только в значении «изгородь из жердей» [43].

В то время как в просмотренных нами обонежских памятниках XV—XVII вв., в том числе писцовых книгах Обонежской пятины, включающих перечисления земельных участков, слово *огородец* не встречалось [44], по данным картотеки ДРС, оно зарегистрировано во многих великоустюжских памятниках [45], а также в Строгановских столбцах 1694 г. (рукопись), рукописях Сийского и Иверского монастырей XVII в., арзамасских, белозерских, кольских и других севернорусских и московских памятниках XVI—XVII вв. [46]. В указанном для наших диалектов значении слово *огородец* отмечено в Словаре вятского говора Н. М. Васнецова. Все эти данные позволяют делать вывод об устойчивости рассматриваемой изоглоссы на протяжении XV—XX вв.

Сравнение современной карты с географией текстов XV—XVII вв., в которых отмечено слово *капустник* [47], свидетельствует о явном сужении ареала этого слова на протяжении истории севернорусских диалектов. По данным картотеки ДРС, оно употребляется в духовной смоленского князя Ростислава Мстиславовича 1150 г. [48], в вятских, ярославских, устюжских и других севернорусских памятниках [49], в рукописях Свирского, Антониева Сийского, Соловецкого монастырей XVI —XVII вв. Из диалектных словарей у Куликовского *капустник* дается в значении «огород» (каргопольское, Б. Шалга), Подвысоцкий с пометами «архангельское и холмогорское» приводит значение «засаженный капустой огород», в этом же значении как «новгородское и тверское» оно помещено в Опыте. Слово *россадник* в обследованных памятниках не отмечено, в значении «огород у дома» оно известно только из любовных писем «подъячего приказной избы гор. Тотьмы Арефы Малевинского...» (1688) [50]. В быв. Петрозаводском уезде отмечено в значении «огород» (Куликовский).

Существование рассматриваемой границы между диалектами бассейнов Онеги и Двины на протяжении XVII—XX вв. подтверждается историей яркого в современных диалектах территориального противопоставления слов *промёжек* и *зáколье*, *зáколина*; на юге области еще *прóйма*, *межýток*, *промежýток*, *рóстычь*, *ростáка*, *вáтычь*

---

[38] ГААО, ф. 792, оп. 1, № 75.

[39] А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 35; см. также: стр. 12, 19, 33, 37, 40, 50, 96.

[40] ГААО, ф. 56, оп. 3, № 6.

[41] ГААО, ф. 309, оп. 2, № 31.

[42] ГААО, ф. 829, оп. 1, № 906; см. также: ф. 57, оп. 2, т. I, № 22—65, 60—128, 101—173, 136—211; ф. 191, оп. 3, № 8, 34, 41; ф. 792, оп. 1, № 75; ф. 1408, оп. 1, № 10; ЦГАДА, ф. 1201, оп. 1, № 45, л. 19 об.; РИБ, 14, ст. 54, 245, 413, 712, 765; СГКЭ, I, ст. 91, 106, 109, 134, 143, 200, 243, 248, 272, 308, 343, 344, 421, 428, 441, 453, 455, 472, 626, 788, 795, 824;, СГКЭ, II, ст. 98.

[43] См.: В. Я. Дерягин, указ. соч., карта 5.

[44] «Грамоты Великого Новгорода и Пскова», под ред. С. Н. Валка, М.— Л., 1949; «Писцовые книги Обонежской пятины 1496 г. и 1563 г.», в кн. «Материалы по истории народов СССР», 1, Л., 1930.

[45] РИБ, 12, ст. 368, 897; 14, ст. 949; 25, ст. 172; В. П. Шляпин, Акты Велико-Устюжского Михайло-Архангельского монастыря, В.— Устюг, 1912, стр. 9.

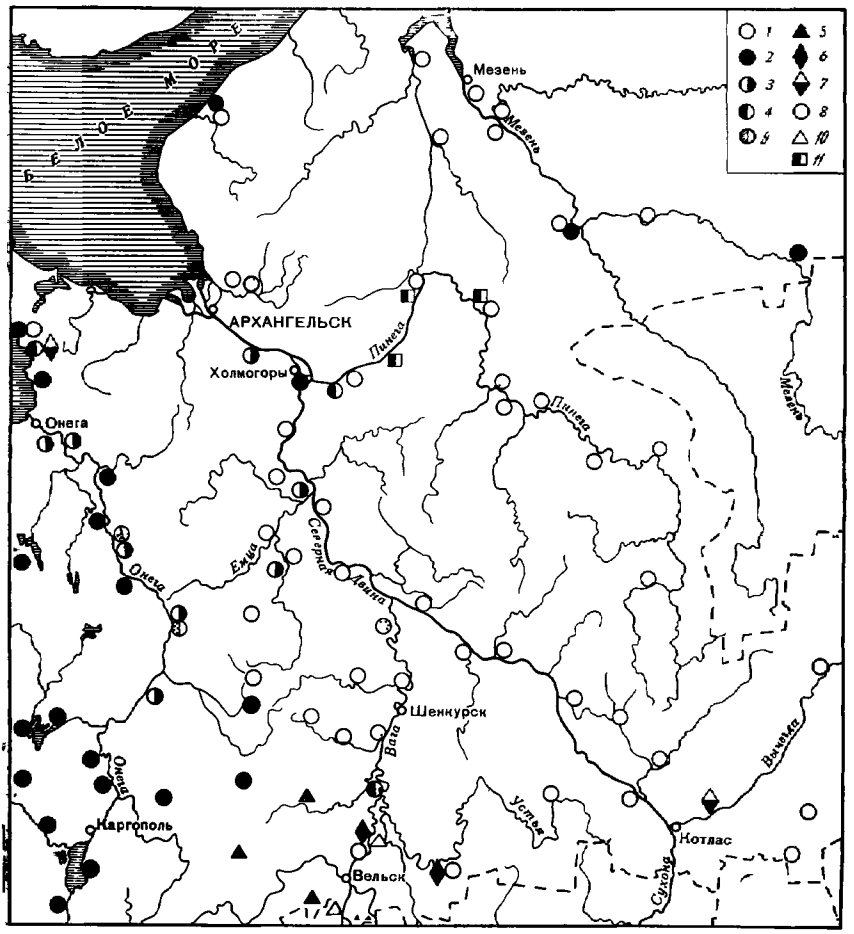
[46] «Чтения ОИДР», кн. 1, 1916, стр. 318; «Акты исторические...», IV, стр. 54; «Дополнения к Актам историческим...», X, стр. 307; РИБ, 32, ст. 510; «Акты, относящиеся до юридического быта...», II, стр. 380, 398; III, стр. 161; СГКЭ, II, ст. 481; «Лавочные книги Новгорода Великого 1583 г.», РАНИОН, М., 1930, стр. 125; «Домострой», в кн. «Чтения ОИДР», кн. 2, 1881, стр. 48.

[47] А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 35; РИБ, 14, ст. 245, 296; СГКЭ, I, ст. 60, 209, 243, 326, 383, 421; ГААО, ф. 57, оп. 2, т. I, № 19—62, 60—130.

[48] «Дополнения к Актам историческим...», I, стр. 6.

[49] «Труды Вятской ученой археографической комиссии», вып. 1, отд. II, Вятка, 1914, стр. 225; «Временник Демидовского юридического лицея», кн. 83, Ярославль, 1901, стр. 5; РИБ, 14, ст. 877, 950; В. П. Шляпин, Акты Велико-Устюжского Михайло-Архангельского монастыря, стр. 191; «Акты, относящиеся до юридического быта...», II, стр. 380; «Дополнения к Актам историческим...», X, стр. 307; «Таможенные книги Московского государства XVII в.», I, М.— Л., 1951, стр. 499.

[50] См.: В. В. Виноградов, Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., М., 1934, стр. 43.



Карта 4. Условные обозначения: 1 — *промёжек* «расстояние между поставленными вертикально жердями (стожарами), служащими для крепления продолговатого стога (зарода)» (1); «часть зарода между двумя стожарами», (2); 2 — *зáколина, зáколье* (1), (2); 3 — *промёжек* (1), *зáколина, зáколье* (2); 4 — *зáколина, зáколье* (1), *промёжек* (2); 5 — *прóйма, прóймина* (1), (2); 6 — *межýток* (1), (2); 7 — *промежýток* (1); 8 — *рóстыч* (1); *промежек* (2); 9 — *ростúка, рóстыч* (1), *зáколина* (2); 10 — *рóстыч* (1), *прóйма* (2); 11 — *зáтыч* (1), *промёжек* (2)

карта 4). В большей части говоров одно из этих слов употребляется в двух значениях: 1) «расстояние между поставленными вертикально жердями (стожарами), служащими для крепления продолговатого стога (зарода)»; 2) «небольшой стог или часть продолговатого стога (зарода) между двумя стожарами; мера скошенного сена, по количеству, входящему в этот промежуток». Например: *Э́сколь шырóкие промёшки* (Верхопаденьга Шенкурского р-на); *Мнóго ли промёшкоф сéна намётали севóдня?* (Ракула Холмогорского р-на); *Корóва съедáла пять промёшкоф в зúму* (Нижнее Койдокурье Холмогорского р-на); *Я кáжной вéцéр пять зáколей настáвлю* (Тамица Онежского р-на); *Два зарóда пó три зáколины; Двенáццать зáколин было постáвлено, пó два цéнтнера зáколина* (Верала Няндомского р-на); *Два стожарá влúпим да ф прóйму сéно* (Пежма Вельского р-на); *Лýчше бы скосúть да межýток сметáть; Там варóт три межýтка* (Судрома Вельского р-на). Слова *промёжек* и *зáколье* (*зáколина*) сосуществуют в диалектах тех районов, где контакты обычны и междиалектное взаимодействие отражается в лексике (Поморье, линия от среднего течения Онеги по Емце на Двину и Пинегу).

Как правило, в этих диалектах распределены функции между данными словами при обозначении расстояния между стожарами и самого сена, входящего в этот проме-

жуток; например, в ряде онежских говоров в первом из указанных выше значений употребляется слово *промéжек*, во втором — *зáколина* [51].

В первом значении («расстояние между стожарами») в некоторых говорах употребляются слова *рóстычь*, *ростúка* (на Ваге, Пинеге и Онеге) и *зáтычь* (на Пинеге): *Широкá ли у тебя́ р ó с т ы ч ь - т о? Три слéда ли четы́ри р ó с т ы ч ь* (Усть-Паденьга Шенкурского р-на); *Р ó с т ы ч ь — сéно сырóе — пóуже нáдо здéлать* (Усть-Вага Виноградовского р-на); *Закóлины-то нибóльшы́, р о с т ы́ к и éки у́зеньки* (Маркомусы Плесецкого р-на); *Около сажéни з á т ы ч ь была́, а сырова́то — так мéньше* (Валдокурье Пинежского р-на). Во втором значении («часть стога») в этих говорах употребляется слово *зáколина* (Онега), *промéжек* (Пинега, Вага), *пройма*, *межýток* (Вага).

Термин *промежек* представлен в целом ряде двинских и важских текстов XVII в.: «Купилъ язъ Фторушка у того Ѳедора 10 копенъ сѣна, два промешка взорода, а денегъ ему далъ полтину, и свезъ язъ сѣна купленого 2 копны...» [52]; «Въ нынѣшномъ, господа, во 140 году выносили сѣна моего изъ-под Веригина съ пожни съ Харандина изо взорода номаши, неведомо хто, а огородъ, господа, крѣпокъ стоитъ, и слѣду не знать, куда ношено, а сѣно сношено 4 промежка» [53]; «А на той пожни сѣна ставитца промежковъ по четырнатцати средней мѣтки на годъ...» [54]. По данным картотеки ДРС, в документах из архива Онежского Крестного монастыря встречаются *прожежек* и *заколье*: «У капустника в остожьи шесть промежков ячменю ж» (1690 г., рукопись); «Да на острову Еловце поездовщины нелѣжалого сена 59 заколей» (1661 г., рукопись); то же в грамотах 1673, 1687 гг. Термин *заколье* отмечен в отводной грамоте Черногорскому Пинежскому монастырю 1693 г. [55].

Из документов, не относящихся к рассматриваемой территории, слово *промежек* отмечено в расходной книге г. Хлынова за 1679—1680 гг., в якутских актах (рукопись 1642 г., по картотеке ДРС), слово *заколье* — в олонецких памятниках XVII в. [56]. Слово *промéжек* в интересующем нас значении В. Даль приводит с пометой «северное», слова *зáколина*, *зáколье* отмечены в северо-западных диалектах: в Вытегорском, Петрозаводском, Олонецком, Каргопольском, Пудожском уездах Олонецкой губ., в Кольском уезде (Опыт, Дополнение к Опыту, Куликовский, Подвысоцкий), *зáкольня* также в Новоладожском уезде Петербургской губ. («Словарь русского языка» сост. Вторым отд...».

*

Описанная граница между диалектами бассейнов Онеги и Двины обнаруживается во всех пластах лексики: на Онеге приспособление для вязания сетей называют *шýйкой*, на Двине — *игльй*, *иглькой*; глиняный сосуд с носиком для сбивания масла на Онеге — *роговúк*, на Двине — *носовúк*, *носáтик*, *носовáтик*; качели на Онеге — *голубéнь*, *колубéнь*, на Двине — *качýля*, *качýли*, *качúло*; сиденье прялки на Онеге — *гýзно*, на Двине — *подгýзка*, *подгýзок*; кнут на Онеге — *погонúлка*, на Двине — *ремéнница*, *ремéнка*, *понюжáлка* и т. д.; онежские слова *зáводь* «изгородь, спускающаяся к реке», *кóрой лёд* «тонкий весенний лед» в двинских диалектах не употребляются.

Естественно, что не все эти различия могут быть подтверждены данными памятников письменности, так как тематика средневековых письменных текстов ограничена. И все же именно в лексике историко-диалектологические исследования с широким использованием локализованных и датированных текстов представляются нам наиболее перспективными. Орфографическая выучка севернорусских писцов в XVI—XVII вв. препятствовала отражению в текстах особенностей фонетики и грамматического строя диалектов. Примером может служить цоканье, которое в документах XV в. представлено очень широко (в изданных А. А. Шахматовым грамотах есть примеры практически в каждом документе), в текстах же XVI—XVII вв., созданных на этой же территории, примеры с цоканьем найти очень трудно (на сотню документов приходится один — два). Препятствий для проникновения в тексты диалектных слов, свойственных речи самих авторов (писцов) документов, было меньше, хотя следует учитывать значительное во всех отношениях влияние языка политического и культурного центра, влияние образцов деловой речи — документов, присылавшихся из Москвы. Гарантией точности историко-лексикологических изысканий по материалам памятников местной письменности может быть постоянное обращение к данным современных говоров.

---

[51] О различиях в употреблении слова *промéжек* в разных диалектах рассказывают в деревне Пашевской (Гоголево) на Онеге: один мужик другому промéжки продавал; договорились о цене, покупатель спросил, где же сено. «Какое сено? — услышал он в ответ. — Ты же промéжки купил — вот они».

[52] РИБ, 14, ст. 645.

[53] РИБ, 14, ст. 707.

[54] РИБ, 25, приложения, ст. 295.

[55] СГКЭ, II, ст. 371.

[56] «Олонецкие медные и железные заводы», в кн.: «Крепостная мануфактура в России», ч. II, Л., 1931, стр. 123.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1968

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Л. Р. ЗИНДЕР, Т. В. СТРОЕВА

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СТАТИСТИКИ В ЯЗЫКОВЕДЕНИИ

В советской лингвистической литературе последних двух десятилетий находят широкое применение статистические исследования. Имеется немало работ, в том числе и опубликованных на страницах «Вопросов языкознания», в которых достаточно строго использован этот математический метод и получены интересные и надежные лингвистические выводы. Живой интерес к исследованиям такого рода обусловил также появление как в нашей, так и в зарубежной литературе специальных публикаций, стремящихся преподнести в доступной для лингвистов форме современные понятия математической статистики [1].

Вместе с тем в работах ряда исследователей, применяющих в той или иной форме так называемый количественный подход к изучаемым явлениям, наблюдается некоторая неясность как в отношении использования соответствующей методики, так и в отношении задач, которые можно и следует решать при ее помощи; неясность существует и по поводу места, которое должна занимать статистика в ряду других методов анализа языкового материала. Такое положение вещей порождает и известный скепсис к лингвостатистическим работам [2] и известную «боязнь» использовать статистику в лингвистических исследованиях.

Что же мешает правильному пониманию существа вопроса? Нам кажется, это можно объяснить прежде всего следующими моментами.

1. Распространено необоснованное мнение, что методы *количественного* подсчета противопоставлены *качественному* анализу явлений и тем самым получаемые статистические характеристики, хотя и представляют интерес для языковеда, но обособлены от характеристик качественных и существуют как бы сами по себе.

Однако статистика, в какой бы области она ни была применена, никогда не является самоцелью. Она всегда служит для того, чтобы понять свойства, структуру, те или иные характеристики изучаемого объекта и чтобы сделать через эти *качественные* выводы соответствующие теоретические заключения или найти им практическое приложение. Непонятно, откуда возникло убеждение некоторых ученых об автономности лингвостатистических (количественных) данных; где примеры такого отрыва статистического анализа от качественного? Если Э. Фёрстеман еще в середине XIX в. с помощью количественных данных исследовал распределение гласных и согласных в разных индоевропейских языках, то он делал это для определенных *типологических* сопоставлений языков. Оправдывая применяемый метод, он между прочим писал, что всякому знакомому с теми поразительными результатами статистического анализа, которые позволяют понять *жизнь и развитие народа*, не покажется смешным, если и лингвист использует подсчеты языковых единиц, чтобы получить новые данные или подтвердить с новой точки зрения уже известные положения [3]. И все последующие лингвостатистические работы направлены на выявление качественно определенных свойств.

---

[1] Ср., например: Р. М. *Фрумкина*, Применение статистических методов в языкознании, ВЯ, 1960, 4; О. С. *Ахманова*, И. А. *Мельчук*, Е. В. *Падучева*, Р. М. *Фрумкина*, О точных методах исследования языка, М., 1961, гл. V; Б. Н. *Головин*, Из курса лекций по лингвистической статистике, Горький, 1966; В. М. *Андрющенко*, Основные понятия статистики, «Ин. яз. в шк.», 1966, 1, стр. 102; *его же*, Некоторые приемы анализа статистических данных, там же, 1966, 3, стр. 76.

[2] Ср. об этом, например: Й. *Мистрик*, Математико-статистические методы в стилистике, ВЯ, 1967, 3, стр. 42.

[3] E. *Förstemann*, Über die numerische Lautverhältnisse im Deutschen, «Germania», VII, 1846.

Констатация частотности той или иной языковой единицы никогда не остается простой констатацией, ибо в таком виде она была бы лишена всякого смысла. Только значение ее для понимания тех или иных языковых отношений оправдывает труд исследователя [4]. Так, уже простое установление огромного преобладания употребления в современном немецком языке дательного падежа с предлогом по сравнению с дательным беспредложным указывает на то, что датив почти превратился в наше время в предложный падеж. Это дает представление о роли дательного падежа в синхронической системе, а при сравнении с аналогичными данными для предыдущих эпох могло бы служить определенным основанием для диахронических выводов.

Из сказанного ясно, что применение статистики (количественных методов) целесообразно только в том случае, если ожидается, что из полученных данных можно сделать содержательные (качественные) выводы. Иными словами, статистика нужна для решения таких задач, которые имеют своей целью выявление определенных з а к о н о м е р н о с т е й, ибо простой подсчет тех или иных явлений ничего раскрыть не может.

Характер задач лингвостатистики особенно хорошо раскрывается, если рассмотреть этот вопрос сквозь призму противопоставления языка и речи [5]. Не отрицая возможности применения статистических методов для установления закономерностей системы, авторы все же полагают, что статистика при этом малоэффективна. Напротив, при изучении речи она приобретает первостепенное значение. Дело в том, что структура текста определяется не только структурой языка, но и, может быть, в гораздо большей степени действием разнообразных экстралингвистических факторов. И если для понимания языковой структуры текста возможны различные методы (и в том числе количественный), то свойства текста, определяемые внеязыковыми факторами, могут быть выявлены только статистически. Употребительность тех или иных слов, грамматических конструкций, объем тех или иных синтаксических единиц оказывается в прямой зависимости от содержания текста, от жизненной ситуации, от цели высказывания и намерения автора, от адресата речи и от ряда других факторов, учесть которые практически невозможно. Только статистическая структура текста, как некая равнодействующая, дает возможности отнести тот или иной текст к соответствующему функциональному стилю (подъязыку), соотнести его хронологически, определить автора и т. д. Недаром исследователи издавна обращались именно к статистическому методу для идентификации изучаемого текста. Особенно велико значение этого метода в том случае, когда количественная организация текста непосредственно служит целям эстетического воздействия, «может входить в художественный замысел поэта» [6].

2. Говорят иногда о том (и это тесно связано с предыдущим), что статистические данные относятся к «случайным» явлениям, причем «случайное» понимается как нечто недетерминированное, отвлеченное от определяющих факторов и тем самым не подчиняющееся никаким языковым закономерностям. Такое понимание «случайности» основано на недоразумении, а именно, на смешении значения слова «случайный» в обиходном языке, где оно толкуется как «появляющийся непредвиденно» (ср. *случайная встреча*) с его научно-философским значением. В последнем смысле метафизическое противопоставление случайного детерминированному (необходимому) неправомерно, так как случайное тоже детерминировано. Дело заключается только в том, что случайное явление обусловлено множеством факторов, действие каждого из которых непосредственно обнаружить невозможно. Однако, в конечном счете, именно вероятностно-статистическая устойчивость свидетельствует о его закономерности, а следовательно, и причинной обусловленности. Как раз пренебрежение вероятностно-статистическим аспектом может создать впечатление о случайности того или иного факта в обывательском понимании слова.

3. Наконец, при признании необходимости учета статистических данных можно встретить отрицание важности строгого соблюдения законов математической статистики. Такое отрицание закономерно ведет к противопоставлению двух видов статистики (по существу строгой и нестрогой). Более того, при этом утверждается, что в лингвистических исследованиях предпочтительнее приблизительные подсчеты, чем точные статистические обследования. Эта мысль выдвинута В. Г. Адмони, который предлагает различать симптоматический и вероятностно-статистический методы изучения лингвистических явлений. Он определяет их следующим образом: «С одной стороны, здесь возможны проведенные в широких масштабах статистические исследования. Количест-

---

[4] В этой связи уместно упомянуть работы по математической поэтике акад. А. Н. К о л м о г о р о в а (см.: ВЯ, 1962, 3 и 1963, 4), которые целиком направлены на с о д е р ж а т е л ь н у ю и н т е р п р е т а ц и ю полученных им статистических данных по ритмике стихов Маяковского.

[5] Под «речью» здесь понимается языковой материал по Л. В. Щербе, или иначе — тексты.

[6] А. Н. К о л м о г о р о в, А. В. П р о х о р о в, О дольнике современной русской поэзии, ВЯ, 1963, 6, стр. 95. См. также: А. К о л м о г о р о в, О метре пушкинских «Песен западных славян», «Русская литература», 1966, 1.

венные колебания соответствующих грамматических величин рассматриваются при этом как случайные и подпадающие под действие общих закономерностей статистического распределения. Но, с другой стороны, здесь возможны и такие статистические обследования, которые не стремятся дать какие-либо точные вероятностные предсказания, а стремятся установить определенную связь между количественной стороной грамматических явлений и теми факторами, которые воздействуют на эту их количественную сторону»[7]. Этот второй вид статистического анализа, при котором «количественные моменты трактуются в непосредственной связи с качественным характером данных явлений», В. Г. Адмони и называет «симптоматическим». Последнему автор приписывает даже бо́льшую точность, как это видно из следующих строк: «Те, очень общие и ориентировочные термины („больше", „меньше", „много", „мало", „значительно больше" и т. п.), которыми при этом оперируют, в данных случаях по сути дела более точны, чем вероятностно-статистические данные» [8].

На чем здесь основывается автор, говоря о большей точности простых определений «много», «мало» по сравнению с математически строгим подсчетом? По-видимому, как сказано на стр. 81 только что цитированного труда, он полагает, что такой подсчет отвлекается от качественного характера явлений и что, кроме того, при массовом обследовании в один ряд попадут самые различные объекты исследования и будет неясно, зависит ли, например, малый объем предложения от «особого стилистического замысла, противопоставляющего данную форму другим формам предложения (в немецкой литературе в XVII в. Цезен, в XVIII в. Геллерт и т. д.), или является следствием неразвернутости и бедности мысли автора» [9].

Однако оппозиция «строго математический подход и при этом недифференцированное рассмотрение объекта» против «нестрогий количественный анализ, но зато дифференцированный подход к объекту» не имеет никаких оснований. Напротив, первый закон статистики — это подсчет о д н о р о д н ы х е д и н и ц, единиц, принадлежащих к о д н о й с о в о к у п н о с т и с последующим уже сравнением их с другими однородными единицами, принадлежащими другой совокупности. Выбор подлежащих счету совокупностей, т. е. вопрос ч т о́ считать, принадлежит исследователю, в нашем случае — лингвисту; вопрос к а к считать определяется во всех случаях математикой. Таким образом, «недостаток», приписываемый вероятностно-статистическому методу, является мнимым.

Противопоставление двух видов статистики, о котором идет речь, не является противопоставлением «несимптоматической» и «симптоматической» статистики. Как было сказано выше, всякая статистика обнаруживает «симптомы», количественно выявляемые сигналы качества. Таким образом, по существу, речь идет о противопоставлении симптоматики точной, достоверной и симптоматики неточной, достоверность которой только предполагается исследователем. В самом деле, лингвисту, возможно, даже в большинстве случаев достаточно будет оперировать понятиями «больше», «меньше», «значительно меньше» и т. п. Но они будут иметь какую-нибудь ценность только в том случае, когда они будут отвечать объективному положению вещей. Несомненно, что 90% больше, чем 80%, однако, как показывает математическая статистика, такое различие м о ж е т оказаться несущественным, если оно является результатом варьирования одной и той же величины в пределах так называемых доверительных границ. В этом случае полученные данные, говорящие как будто о двух разных явлениях, между которыми проводится сравнение, в действительности отражают о д н о и т о ж е я в л е н и е, относясь к одной и той же совокупности. Никакого предмета для сравнения здесь попросту нет, и поэтому выводы из него иллюзорны. Обманчивое количественное различие может быть и результатом недостаточной по объему выборки. Так, например, известен случай, когда Н. А. Морозов сделал на основании слишком малой выборки из текстов Пушкина и Гоголя неправильные выводы о различии их стилей, на что счел необходимым обратить внимание выдающийся математик А. А. Марков [10]. Здесь полезно вспомнить следующие слова из статьи А. Н. Колмогорова и А. М. Кондратова, посвященной ритмике поэм Маяковского, предостерегающие «неосторожного исследователя»: «Необходимо тщательно следить за тем, чтобы не смешать реальные закономерности, в которых проявляется устремление поэта к четкой организации стиха, с к а ж у щ и м и с я „правильностями"» [11].

---

[7] В. Г. А д м о н и, Качественный и количественный анализ грамматических явлений, ВЯ, 1963, 4; е г о ж е, Основы теории грамматики, М.— Л., 1964, стр. 79 и сл.; е г о ж е, Развитие структуры предложения в период формирования немецкого литературного языка, Л., 1966, стр. 24 и сл.

[8] В. Г. А д м о н и, Основы теории грамматики, стр. 80—82.

[9] Там же, стр. 82.

[10] См.: Р. М. Ф р у м к и н а, Применение статистических методов в языкознании, стр. 130.

[11] А. Н. К о л м о г о р о в, А. М. К о н д р а т о в, Ритмика поэм Маяковского, ВЯ, 1962, 3, стр. 74.

Не вдаваясь в детали вопроса о возможных причинах неточных результатов статистических подсчетов, мы хотим только сказать, что стремление обойти методы, дающие исследователю уверенность в справедливости делаемых им выводов, едва ли следует поощрять, а возведение их в теорию может указать неправильный путь молодому неопытному лингвисту. Всякий исследователь, обращающийся к статистике, должен в любом случае проверить достоверность полученных им данных и дать возможность читателю убедиться в этом.

Несомненно, соблюдение строгих правил статистики требует от лингвиста и известного знакомства с ними, и приложения дополнительных усилий для обследования большего объема языкового материала. Однако и то и другое искупается тем, что в результате своего труда исследователь получит совершенно объективные ценности, которые послужат для более глубокого познания изучаемого объекта.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1968

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В. Я. БРЮСОВ О РЕЧЕВОЙ ПРИРОДЕ СТИХА И СТИХОТВОРНОГО РИТМА И О РУССКИХ ЭКВИВАЛЕНТАХ АНТИЧНЫХ СТИХОТВОРНЫХ РАЗМЕРОВ

Основной теоретический труд Брюсова-стиховеда [1] никогда не был адекватно проанализирован. Ученые круга ОПОЯЗ'а и Московского лингвистического кружка — а им принадлежали все развернутые рецензии,— не найдя в книге анализа занимавших их тогда проблем, не захотели выяснить, какие задачи ставил сам Брюсов, вникнуть в его действительно избыточный и недостаточно четкий метаязык. Поэтому взгляды Брюсова по целому ряду вопросов были ими не только не поняты, но и истолкованы прямо неверно.

Особенно не повезло его концепции ритма. Со времен «Символизма» и брюсовской рецензии на него общепринято, что ритмическая индивидуальность отдельно взятого стиха русской силлабо-тоники (некоторая внутренняя упорядоченность, «ритмичность» ощущается даже в моностихе, если только он достаточно длинен; другой вопрос, что научаются распознавать ее на неоднострочных комплексах), его роль в фиксированном ритмическом контексте определяется положением в нем ударений и словоразделов. Видимо, это и побудило Брюсова назвать «ритмом» (НоС, стр. 10; ОС, стр. 20) некоторый аналог структуры отдельного стиха (строки), фиксированной с точностью до порядка ударных и безударных слогов и словоразделов. Такое употребление термина, само по себе вполне законное [2], вызвало, однако, омонимию с более привычным пониманием ритма как некоторого свойства стихотворного произведения (или достаточно большого отрывка) в целом: Р. О. Якобсон вообще не разграничил этих двух толкований [3], а В. И. Иванов приписал Брюсову мнение, «что ритм определяет не общий строй стихотворения, а лишь характер отдельного стиха» [4]. Между тем во фразе, частично процитированной самим Ивановым, Брюсов писал: «Стих есть элемент ритмической речи, причем сам по себе может быть ритмичен и не ритмичен» (НоС, стр. 9) [5], т. е. «ритм речи» возможен в отсутствие «ритма строки» и, следовательно, не совпадает с последним. В НоС, посвященной описанию форм отдельного стиха, можно было ограничиться подобной констатацией существования ритма стихотворной речи, не рассматривая его природы. Но о ней не было сказано ни слова и в написанном параллельно с НоС популярном обзоре общей проблематики стиховедения «Ремесло поэта» (далее —

---

[1] В. Я. Брюсов, Краткий курс Науки о Стихе, ч. 1 — Частная метрика и ритмика русского языка, М., 1919 (далее — НоС). Второе, существенно уточненное и дополненное издание («Основы стиховедения. Курс В.У.З. Части первая и вторая. Общее введение. Метрика и ритмика», М., 1924; далее — ОС) вообще не вызвало рецензий; о построенной в нем системе для описания метрики см.: «Тезисы докладов VI научной студенческой конференции. Общественные науки», Новосибирск, 1968, стр. 44—45.

[2] Именно его предполагает широко распространенное в нашем стиховедении понимание ритмики как одной из двух — вместе с «метрикой в узком смысле» (термин В. М. Жирмунского) — частей науки о формах отдельного стиха, не «ритмики произведения», но «ритмики размера». Но сам термин «ритм» в применении к отдельному стиху встречается редко; ср., впрочем, «изомерные ритмы» у Б. В. Томашевского («Пушкин и его современники», XXIX—XXX, Пг., 1918, стр. 138) и «ритмы, характерные для XVIII—XX веков», у М. Л. Гаспарова (ВЯ, 1967, 3, стр. 63).

[3] Р. О. Якобсон, Брюсовская стихология и наука о стихе, «Научные известия [Академич. Центра Наркомпроса]». Сб. второй, М., 1922, стр. 224—225.

[4] В. И. Иванов, О новейших теоретических исканиях в области художественного слова, там же, стр. 172. В целом ивановская оценка НоС была, если не считать этого недоразумения, наиболее объективной.

[5] Скрытое в этой фразе противоречие заметил лишь О. М. Брик (см. его рецензию на НоС: «Пролетарская культура», 1920, 13—14, стр. 103), но и он увидел здесь не признание существования двух различных явлений, а только недомыслие Брюсова.

РП)[6], где от изложения структуры «стихологии» (разд. II) Брюсов неожиданно переходит сразу к конкретным метрическим системам (разд. III). Беглое изложение брюсовской концепции природы стиха и стихотворного ритма появится в печати лишь в 1924 г. (ОС, стр. 11).

Сложилась же она гораздо раньше. Ее существенный аспект, понятие «целостности» стихового ряда, был четко сформулирован уже в 1900 г. [7]. Сходное определение «стихотворной речи» давалось в незавершенном прообразе НоС «Законы русского стиха. Элементарный курс» [8], а на рубеже 1915—1916 гг. в неоконченной статье «Несколько мыслей об армянском стихосложении» [9] была сделана попытка систематического изложения вопроса. Рассматривалась природа стиха и ритма и в РП [10], но при подготовке окончательной редакции Брюсов счел нужным посвятить ей в «заключительной части» «Опытов» [11] специальную статью «Что такое стих», которая была им написана, но так и не вошла в сборник.

Какими же предстают в этой статье взгляды Брюсова на стих и стихотворный ритм? Предвосхищая тыняновский принцип «единства стихового ряда», Брюсов считал, что стих есть чисто речевое явление, образуемое членением потока речи на дискретные отрезки, логически независимым от „естественного" смыслового членения. Подобное разбиение на отрезки оправдано лишь тогда, когда каждый отрезок отчленим от других («легко обозрим в своем целом»), для чего их нужно снабдить неким устойчивым признаком. Так возникает с о и з м е р е н и е стихов «по величине»[12]. Таким образом, Брюсов здесь (и в ОС) фактически сужает понятие «стихотворной речи» до «стихотворной ритмической речи» [13]. В упомянутой же ранней редакции РП он был склонен видеть в соизмерении отрезков («стихов») не вытекающую из условий восприятия логическую необходимость, а лишь данную поэту д о п о л н и т е л ь н у ю возможность: «Стих есть деление речи на определенные легко обозримые части. Это — наиболее общее определение стиха, обособляющее его от музыки и объединяющее в с е известные нам в разных литературах „стихи"... Разделяя речь на „стихи", поэт придает ей большую выразительность. Ставя стихи в определенные отношения одного к другому, поэт достигает ритмичности речи. Ритмичность еще усиливает выразительность речи...» [14].

В брюсовском понимании стихотворного ритма следует отметить два момента: во-первых, подчеркивание речевой природы этого ритма, невозможности определить его в чисто музыкальных терминах, в абстракции от речевого материала [15]; во-вторых, глубокое проникновение в самый механизм образования ритма, осознание того, что в

---

[6] В. Я. Б р ю с о в, Опыты по метрике и ритмике, по евфонии и созвучиям, по строфике и формам, М., 1918, стр. 7—40.

[7] В. Б р ю с о в, О русском стихосложении, в кн.: А. Д о б р о л ю б о в, Собр. стихотворений, М., 1900, стр. 9. Нарочитое игнорирование «целостности» Брюсов усматривал в стихах Я. П. Полонского (ОР ГБЛ, ф. 386, карт. 41, ед. 28).

[8] Отдел рукописей Гос. биб-ки СССР им. В. И. Ленина (ОР ГБЛ), ф. 386, карт. 38, ед. 19, л. 10 (ср. также ед. 24, л. 3). По ряду признаков это та «Метрика», над которой Брюсов работал в Варшаве в январе — феврале 1915 г. (см.: «Валерий Брюсов в автобиографических записях...», сост. Н. Ашукин, М., 1929, стр. 326). Пользуюсь случаем поблагодарить сотрудников Отдела за помощь в работе.

[9] «Русская литература», 1959, 1.

[10] См. неоконченную и, по-видимому, более раннюю редакцию РП (ОР ГБЛ, ф. 386, карт. 38, ед. 32).

[11] См. примеч. к первой фразе разд. III в окончательной редакции РП (ОР ГБЛ, ф. 386, карт. 38, ед. 26, лл. 10 — автограф и 43 — машинопись). Из двух других примечаний (там же, лл. 10 и 25 или 43 и 56) видно, что Брюсов предполагал поместить в «Опытах» также статьи «О рифме» (видимо, ту, что напечатана в приложении к НоС) и «О русском стихосложении» — судя по аналогичной ссылке в «Законах» (ед. 19, л. 12), он имел в виду упомянутое одноименное предисловие 1900 г.

[12] Об этом и других способах соизмерения см. «Несколько мыслей...»; там же говорится, что «стихи» Уитмена, обнимающие в печати по нескольку строк, практически не воспринимаются как единое целое. Вопрос о минимально допустимой величине стиха ставился Брюсовым во второй половине 90-х годов в заметках о кантемировой теории стихосложения (ОР ГБЛ, ф. 386, карт. 38, ед. 16; здесь же помещен экспериментальный сонет, написанный одностопными стихами).

[13] Чаще наблюдается противоположное стремление — расширить «ритмичность» до «стиховности». Ю. Н. Тынянов так и не говорит достаточно четко, имеем ли мы в случаях типа верлибра дело с ритмом или только с его «знаком» (Ю. Н. Т ы н я н о в, Проблема стихотворного языка. Статьи, М., 1965, стр. 53 и сл.), а Б. Гончаров прямо называет само членение на стихи, вне всякого соизмерения, «первичным ритмом» (Б. Г о н ч а р о в, Стих и его законы, «Вопросы литературы», 1967, 9, стр. 202).

[14] ОР ГБЛ, ф. 386, карт. 38, ед. 32, лл. 3 и 14.

[15] Ср. с этим хотя бы определение ритма как «духа музыки» (А. Б е л ы й, Символизм, М., 1910, стр. 254 и сл.).

основе ритма стихотворной речи (в отличие, например, от ритма прозы) лежит не «горизонтальная» упорядоченность чередования каких-либо составляющих стиха в пределах одного этого стиха (или последовательности стихов, взятых без учета границ между ними), а «вертикальное» сопоставление противопоставленных друг другу рядов, их уподобление по величине, по внутренней структуре. В результате стихотворный ритм предстает как диалектическое единство «элементов» и «меры» [16]. Понимание вертикального соизмерения рядов как первоосновы ритма, хотя и не было изложено в НоС, во многом предопределило особенности изложенной там метрической теории; в частности, именно оно позволило Брюсову допустить соединение в пределах одного стиха нетождественных составляющих, за что его критиковали Томашевский [17] и Брик [18], усмотревшие в этом допущении возможность интерпретировать как стих изолированное «словосочетание» или «прозаическую строку».

Различением «ритма строки» и «ритма речи» и признанием по преимуществу «вертикальной» природы последнего Брюсов опередил не только этих своих критиков, но до известной степени и наше современное стиховедение — «горизонтальное» понимание ритма дает себя знать даже в работах ученых, оперирующих с отношениями рядов и подчеркивающих роль последних в «установке на ритм» [19]. Критическое уяснение брюсовской концепции стиха и ритма все еще является актуальной задачей. Ее решению и будет, надеемся, способствовать публикация «Что такое стих», которая, впрочем, интересна не только развитой в ней стиховедческой концепцией, но и замечаниями по истории и методологии науки, перекликающимися, в частности, с современной им соссюровской идеей синхронической лингвистики.

Статья «Русский стих и античные размеры» представляет существенный интерес для истории теории и практики русского поэтического перевода. На рубеже столетий были весьма распространены переводы античной лирики классическими размерами русской силлабо-тоники и с рифмой, т. е. явления, типичные для системы стихосложения языка оригинала, передавались с помощью средств, хотя бы прямо противоположных, но привычных для русского поэтического обихода. Брюсов, сам много переводивший античных поэтов, выступил решительным противником этого «функционального» подхода. Во-первых, при таком переводе возникают нежелательные ассоциации с русской поэтической традицией: «Никак не могу согласиться с переводами Катулла, помещаемыми в „Гермесе“... Переводы эти кажутся мне х о р о ш и м и подражаниями Аполлону Майкову, а не слепками со стихотворений римского поэта» [20]. Во-вторых, размер стихотворения (не диктуемый однозначно законами языка или отображаемой внеязыковой действительностью) является характерной особенностью произведения, его неотъемлемой плотью, и «введение рифмы и изменение размеров убивает самую сущность его стихотворений» [21]. Значит, надо найти какие-то специальные русские эквиваленты античных размеров. В публикуемой статье [22] Брюсов ставит вопрос о том, насколько реальна эта задача: ведь греческое и русское стихосложения построены на различных основаниях. Ответ Брюсова положителен: коль скоро само соответствие «долгота — ударность» и «краткость — безударность» установлено, то эквиваленты античных размеров могут быть построены путем максимально возможной (допускаемой русским ритмическим словарем) аппроксимации порядка этих основных элементов в пределах строки [23]. Дальнейшее развитие практики перевода подтвердило правильность брюсовского вывода.

С. И. Гиндин

---

[16] Отсюда следует, что по отношению к «ритму стихотворной речи» равно неверны утверждения как В. И. Иванова (указ. соч., стр. 172) и Р. О. Якобсона (указ. соч., стр. 225) о том, что Брюсов вслед за Белым считал ритм отступлением от метра, так и В. Е. Холшевникова о том, что Брюсов «отрицал реальное существование размеров» («Основы стиховедения», Л., 1962, стр. 26). Замечание Якобсона могло бы быть отнесено к брюсовскому «ритму строки», но не проходит и там.

[17] Б. В. Т о м а ш е в с к и й, [рец. на:] В. Брюсов, Наука о стихе; А. Белый, О художественной прозе, «Книга и революция», 1921, 10—11 , стр. 33.

[18] О. М. Б р и к, указ. соч., стр. 103. Брюсов отвечал Брику в «Письме в редакцию» (Кузница», 1920, 3, стр. 31).

[19] См. замечания о равенстве и неравенстве «стоп»: В. Е. Х о л ш е в н и к о в, указ. соч., стр. 26—27; М. Г. Х а р л а п, О стихе, М., 1966, стр. 131.

[20] Письмо (черновик?) Брюсова А. И. Малеину от 16 X 1911 (ОР ГБЛ, ф. 386, карт. 71, ед. 57, л. 1.).

[21] Там же. В 1910—1911 гг. «Гермес» печатал переводы из Катулла З. Северского.

[22] Статья предназначалась, видимо, для «Гермеса». Его редактор А. И. Малеин высоко ценил сотрудничество Брюсова, просил новых работ и всегда сообщал об их редакционном продвижении (см. его письма Брюсову: ОР ГБЛ, ф. 386, карт. 93, ед. 35) По отсутствию писем Малеина за вторую половину 1914 и 1915 гг. можно предположить, что статья не была отослана. Нет упоминаний об ее отсылке и в письмах Брюсова жене (карт. 69, ед. 6—7).

[23] Брюсов ведет рассуждения в основном в терминах стоп, которые понимаются им здесь как нечто существующее и в реальном произношении. Необходимо отметить, что в НоС и особенно в ОС трактовка стоп претерпит очень важные изменения.

В. Я. БРЮСОВ

ЧТО ТАКОЕ СТИХ[1]

Стих есть элемент ритмической речи. Из сочетания стихов создается та форма ритмической речи, которая называется стихотворной, в отличие от ритмической речи прозаиков (ораторов, романистов). Поэтому в стихе — две стороны: словесная, ибо стих есть элемент р е ч и, и музыкальная, ибо это речь — ритмическая. Обе стороны одинаково существенны. Слова становятся стихом лишь при условии ритмичности, но один ритм, вне слова, не образует стиха, ибо ритм есть в музыке и др⟨угих⟩ областях.

Чтобы выяснить сущность стиха, необходимо обратить внимание на обе эти его стороны. Теоретики же до сих пор останавливались т о л ь к о на ритмичности. Поэтому все определения стиха до сих пор оставались односторонними. Причину этому надо искать в происхождении стиха, возникшего, по-видимому, из пения, т. е. в связи с ритмом музыкальным. Характер науки последнего столетия сложился под влиянием успехов в ее борьбе с догматизмом предшествующего периода (XVII—XVIII в.). Эволюционный метод дал новой науке в руки могущественнейшее оружие. Но, в естественном увлечении, наука исключительно прониклась духом эволюционизма, начала в с е рассматривать в его происхождении, оставляя в тени — сущность вещей. По выражению одного английского писателя, ученые как бы забыли, что вещи не только становятся (become), но и суть (are). Под влиянием такого духа, теоретики и определяли стих по его зарождению из музыки [2].

Что стих связан с музыкой лишь по своему происхождению, т. е. исторической «случайностью» (поскольку в истории возможны «случайности»), а не по существу, доказывается тем, что стих обособился, эмансиповался от музыки. Стих возможен и вне музыкального ритма. Иначе говоря, стих, сам по себе, может быть не ритмичен, но сам может быть первым элементом ритмической речи. Таковы, напр⟨имер⟩, «стихи» многих книг Библии. Каждый из них в отдельности — не ритмичен; но сочетание их образует ритмическую речь. Таковы «стихи» некоторых клинообразных надписей [3],— вообще Древнего Востока.

По своей словесной стороне, стих есть деление речи, легко обозримое в своем целом. Чтобы придать речи общую ритмичность и сделать ее тем выразительнее, она делится на части, называемые с т и х. Отличие «стиха» от «предложения» состоит в том, что предложения строятся по смыслу сказанного и не стоят друг к другу ни в каких определенных отношениях по своей в е л и ч и н е. Стихи строятся имея в виду в е л и ч и н у каждого из них, дабы все они были между собой в определенных отношениях, например, были бы равны друг другу или находились в отношениях 1/2, 1/3, 1/4, 1/5...

По своей музыкальной стороне стих есть ритмическое построение части речи, законченное в своем ритме. Всякий ритм есть чередование неодинаковых элементов, например, в музыке — звуков неодинаковой высоты, в графике — линий неодинаковой кривизны и т. д. [4]. Ритмичность стиха достигается чередованием элементов стиха, которые должны быть соизмеримы между собой по времени, по силе произношения и т. д.

Из сказанного вытекают два крайне важных вывода. Во-первых, в каждой системе стихосложения должна существовать м е р а для измерения стихов в их отношениях между собой. Во-вторых, должны существовать соизмеримые между собою э л е м е н т ы ритмичности стиха. Только сочетание обоих этих начал дает возможность строить стихи как ритмическую речь. Эта «мера» и эти «элементы» могут быть различными, если только отвечают своему назначению, почему и возможны различные системы стихосложения или различные метрики.

---

[1] [Печатается по автографу (ОР ГБЛ, ф. 386, карт. 38, ед. 3, лл. 1—2); опущено несколько слов, зачеркнутых Брюсовым в поисках нужного синтаксического варианта. Как и РП, написана на оборотах бланков Московского Комитета по делам печати и может быть датирована периодом между 27 марта 1917 г. (вхождение Брюсова в Комиссариат по регистрации произведений печати) и апрелем 1918 г. (дата под указанной машинописью РП).— *С. Г.*]

[2] Астрономия, напр⟨имер⟩, возникла, вероятно, в силу практических потребностей: было полезно изучать движение светил, чтобы определять времена года, разливы рек, наступление засухи и т. под. Но по существу астрономия чужда практических задач; химия выросла из алхимии, и т. д.

[3] [К этим конкретным примерам следует отнестись критически. Например, аккадское стихосложение было, по современным воззрениям, тоническим; см.: И. М. Дьяконов, Эпос о Гильгамеше, в кн.: «Эпос о Гильгамеше („О все видавшем")», М.— Л., 1961, стр. 134.— *С. Г.*]

[4] Конечно, возможны и исключительные случаи, когда ритм образуется элементами одинаковой величины, но такие случаи возможны лишь в р я д у других ритмов, подчиненных общему закону, как их контраст.

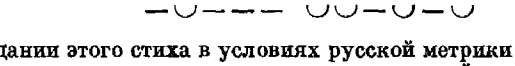
РУССКИЙ СТИХ И АНТИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ[5]

Возможны ли на русском языке античные размеры стиха? Это — вопрос важный, потому что от решения его зависит возможность иметь по-русски адекватные переводы античных лириков. Художественное произведение, лишенное той формы, какую придал ему автор, изменяется по самому существу. Лирическое стихотворение, переложенное в иной размер, становится иным: это уже не то стихотворение. Если на русском языке нельзя найти тех же размеров, какими писали античные лирики, то нельзя иметь и верных переводов их созданий — возможны только переложения и пересказы.

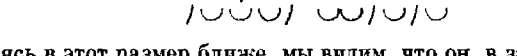
Этот вопрос вновь затронут в «Гермесе» (№ 15—16 за 1914 г.), в статье К. Гриневича, по поводу переводов Вяч. Иванова из Алкея и Сапфо [6]. В частности, речь идет о сапфической строфе. Вяч. Иванов попытался найти для нее эквивалент на русском языке, поставив слоги ударяемые на месте долгих слогов античного размера. Г. Гриневич не удовлетворен ответом Вяч. Иванова и указывает «образец русской сапфической строфы» в одном стихотворении Каролины Павловой. Да будет позволено мне как человеку, не мало работавшему над переводом античных поэтов, высказать и свое мнение. Может быть, оно подаст повод для дальнейшего обсуждения этого, повторяю, важного вопроса, предрешающего вопрос: быть или не быть античным лирикам по-русски.

В русском стихе, по самому характеру русского языка не различающему долготы и краткости гласных, мыслимы только п я т ь самостоятельных стоп, таких, которые могут существовать сами по себе, независимо от других: ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий. В связи с другими стопами мыслимы еще ш е с т ь стоп: пиррихий, спондей и четыре пеона. Но эти последние имеют постоянную склонность переходить — первые два в ямб или хорей, четыре последних в ди-ямб и ди-хорей (так как произношение невольно ставит на соответствующих слогах второстепенное ударение). Таким образом, для воссоздания всего пышного разнообразия античных размеров, образованных из комбинаций многочисленных стоп, русские поэты принуждены довольствоваться всего п я т ь ю основными элементами.

И действительно, как бы заботливо не воспроизводил русский поэт то, что г. Гриневич назвал «слоговое чередование оригинала» (стр. 424), русский размер всегда может быть сведен к этим пяти элементам. Чтобы не выходить за пределы статьи г. Гриневича, мы остановимся на приводимом им примере: переводе оды Сапфо «Φαίνεταί μα..». Оставляя в стороне замыкающий строфу адониев стих, который легко воспроизводится по-русски 2-стопным дактилем с усечением последнего слога, мы остановимся только на воссоздании по-русски самого сапфического стиха, схема которого, как известно, такова:



При воссоздании этого стиха в условиях русской метрики, т. е. при замене долгих слогов ударяемыми, мы сталкиваемся прежде всего с одной непреодолимой трудностью. Три ударяемых слога подряд — немыслимы, если не ставить в каждом стихе рядом три односложных, притом имеющих значение в речи, слова, что сделало бы стих крайне тяжелым, не ритмичным и всегда единообразным. Приходится поэтому пожертвовать четвертым долгим слогом и, изменяя значительно характер размера, поставить на его место неударяемый (т. е. соответствующий краткому) слог. Так и делает Вяч. Иванов, и стих его тогда принимает схему:



Всматриваясь в этот размер ближе, мы видим, что он, в зависимости от местоположения цезуры, распадается или 1) на два хореических стиха [7], один 3-стопный хорей с мужским окончанием и один 3-стопный хорей с женским окончанием, или 2) на один 3-стопный хореический стих с женским окончанием и один 2-стопный ямбический стих с женским окончанием.

Примером первого деления может быть 2-й стих оды, который в произношении звучит так:

Кто с тобой сидит,
Говорит с тобою.

Таковы же стихи: 6, 9, 10, 14 и 15.

---

[5] [Печатается по автографу: ОР ГБЛ, ф. 386, карт. 38, ед. 14, лл. 1—4.— *С. Г.*]

[6] [К. Г р и н е в и ч, Versus Sapphicus (О переводах с античных языков), «Гермес», т. 15N 15—16. Переводы В. И. Иванова см. в кн.: Алкей и Сафо, Собрание песен и лирических отрывков, М., 1914; краткую рецензию на них В. Б<рюсова> см.: «Изв. Мос. Лит.-Худ. Кружка», VII, М., 1914.— *С. Г.*]

[7] [Брюсов допускает некоторую вольность, говоря здесь «стих», а, например, не «полустишие». Соответственно и фраза о «комбинации ямбов и хореев» должна пониматься не в смысле сочетания «разномерных» стихов, а в смысле сочетания различных «стоп» в пределах стиха.— *С. Г.*]

Примером второго деления может быть 1-й стих оды, который в произношении звучит так:

Мнится мне: как боги
Блажен и волен...

Таковы же стихи: 3, 7, 11 и 13.

Во всем переводе только один стих не подходит под одно из этих двух делений — 5-й. Но его можно рассматривать как один 3-стопный хореический стих с дактилическим окончанием и один 2-стопный хореический стих:

Нежных уст. Улыбчивых
Уст дыханье...

Таким образом, quasi-сапфический русский стих оказывается при детальном разборе комбинацией ямбов и хореев. Что касается стихов Каролины Павловой [18], приводимых г. Гриневичем как «образец русской сапфической строфы», то они все построены по образцу «первого» деления, т. е. каждый стих распадается на два 3-стопных хорея, только в первом 3-стопном стихе последняя стопа заменена иногда пиррихием, это обращает его тогда в 2-стопный хорей с дактилическим окончанием. Примером двух полных 3-стопных хореев может служить стих:

Удалой пловец
Держит путь опасный.

Примером делений, где первый стих обращен в 2-стопный хорей с дактилическим окончанием, стих:

Высь небесную
Кроет сумрак серый.

Что же из всего этого следует? Что на русском языке нельзя воспроизвести многих античных размеров? Нет, не это. А то, что, стремясь к такому воспроизведению, мы не должны забывать ограниченности средств, которыми располагаем. Мы должны признать, что в нашем распоряжении только п я т ь стоп, и искать размеров, соответствующих античным, сознательно комбинируя только эти пять стоп.

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

15 декабря 1914
Варшава

[18] [Стихотворение «Пловец». См.: К. К. П а в л о в а, Полн. собр. стихотворений, М.— Л., 1964, стр. 186—187. Брюсов вернется к нему в примечаниях к «Опытам» (стр. 179), говоря о передаче Фалехова гендекасиллаба.— *С. Г.*]

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1968

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

«Phonologie der Gegenwart», hrsg. von J. Hamm. Graz — Wien — Köln, Hermann Böhlaus Nachf, 1967 («Wiener Slawistisches Jahrbuch», Ergänzungsband VI). 392 стр.

Рецензируемый том представляет собой собрание докладов и обсуждений на Международной фонологической конференции, происходившей в Вене в августе — сентябре 1966 г. Доклады, прочитанные лингвистами из США, Советского Союза, Великобритании и других европейских стран, посвящены широкому кругу вопросов, в связи с чем, как мне кажется, чтение рецензируемого тома может представить большой интерес.

В настоящей рецензии будут обсуждены лишь некоторые из докладов, которые, по моему мнению, наиболее важны по своей теоретической значимости.

В докладе В. Хааса «Грамматические предпосылки фонологического анализа» делается попытка ответить на вопрос о том, сколько грамматической информации требуется для фонологического анализа. Ответ, приводимый на стр. 235, гласит: «Именно такое количество грамматической информации, которое обеспечивает единообразие всего анализа. Это означает, что вид грамматической информации, который предполагается при фонологическом описании, должен быть одинаковым для любых высказываний и должен поэтому быть налицо в любом образце речи, подвергаемом анализу... Информация об особых грамматических категориях, например, о встречаемости глагола или существительного в некоторых предложениях или об особенностях их значения, не должна предполагаться при фонологическом описании, ибо имеются высказывания, в которых нет ни глагола, ни существительного».

Это положение, однако, нельзя признать справедливым. Так, например, в английском языке в зависимости от того, имеем ли мы дело с существительным или с глаголом, меняется место ударения [1].

В русском языке следует особенно указать на категорию глагола: только в глаголах после любого согласного, кроме дентального смычного, конечное *l* опускается. Таким образом, мы находим формы типа *скрёб*, *нёс*, *мог*, *сек*, *вёз*, *ослеп*, *оглох*, *тёр*, но формы прилагательных типа *дрябл*, *кругл*, *подл*, *заскорузл*, *блёкл*, *хрипл*, *одутл*, *пухл* и т. д., где конечное *l* сохраняется. Имеется даже несколько минимальных пар типа *чах* — *чахл*.

Доклад С. К. Шаумяна «Фонология и порождающие грамматики» частично является критикой положения Хомского и Халле о том, что для фонологического анализа требуются только два уровня репрезентации (морфонемный и фонетический). С. К. Шаумян пишет (стр. 221, 222), что следует различать два вида фонологических процессов: процессы, возникающие при определенных морфологических условиях, и процессы, возникающие при определенных фонологических условиях. Наиболее интересный пример приводится из книги Хомского «Current issues in linguistic theory», в которой для объяснения чередований $k — s$ и $t — s$ в формах типа *opaque — opacity*, *democrat — democracy* предлагается следующее правило:

$$\begin{Bmatrix} k \\ t \end{Bmatrix} \rightarrow s \text{ в контексте } \underline{\quad} + i, \text{ где } + \text{ обозначает морфемную границу.}$$

С. К. Шаумян вполне справедливо указывает на то, что в словах типа *shaky*, *rocky*, *mighty*, *chocolaty* и т. д., *k*, *t* остаются неизменными, хотя они встречаются перед мор-

[1] Ср.: L. Bloomfield, Language, стр. 220, где обсуждаются пары «существительное — глагол» типа *cóntract—contráct*, *prótest—protést* и т. д. и отмечается, что «в некоторых [существительных этого типа.— *Т. Л.*] следует теоретически допустить исходный глагол как, например, *precept*».

фемой, начинающейся с *i*. На основе этого факта С. К. Шаумян предлагает заменить приведенное выше правило следующим:

$$\left\{\begin{matrix} k \\ t \end{matrix}\right\} \rightarrow s \quad \text{в контексте} \_\_ + \left\{\begin{matrix} \text{-}y \\ \text{-}ity \\ \text{-}ism \\ \text{-}ure \\ \text{-}ion \end{matrix}\right\},$$

где *-y*, *-ity*... представляют собой суффиксы абстрактных существительных (т. е. перед нами контекст с определенными морфологическими условиями).

Такая критика кажется мне немного неудачной, ибо, как я думаю, она основана на недоразумении. Я не сомневаюсь, что эти примеры были хорошо известны Хомскому и что, несмотря на их существование, Хомский все же не откажется от того, что его правило имеет силу в чисто фонологической плоскости. Как указывалось ранее [2], некоторые аффиксы типа *-ing*, *-ness*, *-ly* и т. д. нейтральны по отношению к месту ударения: ударение в словах с этими аффиксами не зависит от того, наличествуют эти аффиксы или нет (так, *sólíloquize*, *sólíloquizing*, а не **sólilóquizing* или **sólíloquízing* и т. д.). Аффикс прилагательных *-y* является одним из таких нейтральных аффиксов (*chócolate*, *chócolaty*, а не **chocoláty* или *chocólaty*), хотя аффикс существительного *-y* к таким аффиксам не относится (*démocrat*, *démócracy*, а не * *democrácy* или * *démocracy*). Как непоследовательность перехода $k/t \rightarrow s$, так и отсутствие смещения ударения в прилагательных на *-y* объяснимо, если допустить внутренний стык # перед *-y*: например *rocky* [rákij] из # *rak* # *ĭ* # [3].

Следует отметить, что постулируемый стык (juncture) обусловлен не только двумя явлениями, отмеченными выше. Так, этот стык объясняет ощущение конечных послеязычных *b* и *g*, что отмечалось еще Сепиром в статье 1925г., приведенной в нашем примеч. 3.

Необходимы два следующих друг за другом правила:

1. *n* становится гоморганным по отношению к последующему смычному.

2. *b* и *g* отпадают перед #.

Так, можно отметить # *long* #→# *lo*ŋ*g* # → # *lo*ŋ # и # *bonb* # [4] → # *bomb* # → # *bom* #, с одной стороны, но с другой стороны, сравнительную степень # *long* + *er* # → # *lo*ŋ*g* + *er* # и глагол # *bonb* + *ard* # → # *bomb* + *ard* #, где конечные *b* и *g* в морфеме не опускаются по правилу (2), так как за морфемой не следует стык #. Рассмотрим, однако, глагол *to long*; в большинстве диалектов ни одна форма этого глагола не произносится с конечным *g* (*longs*, *longing*, *longed*), что относится также и к отглагольному существительному с агентивным суффиксом *longer* [lɔŋr]. Во всех этих случаях # встречается после исходного *g*: # *long* #, # *long* # *z* #, # *long* # *ing* #, # *long* # *d* #, # *long* # *er* #. Однако стык, дающий возможность корректного использования правила опущения *b*, *g*, требуется как раз в тех местах, где стык необходим для объяснения невозможности применения правила перехода $k/t \rightarrow s$, и в тех местах, где ударение не смещается, так как следующий аффикс нейтрален.

Теперь необходимо задать важный вопрос: что было бы, если бы эта критика была оправдана? Что было бы, если бы надо было формулировать правило перехода $k/t \rightarrow s$ в терминах чисто морфологического контекста (пример такого правила был дан ранее при обсуждении конечного *l* в русском языке)? С. К. Шаумян, относя это правило к другому у р о в н ю анализа, не приводит убедительных причин для этого. Правило опущения конечного *l* в слове в русском языке должно использоваться в порядковом отношении между двумя чисто фонологическими правилами (после правила, согласно которому конечное ненапряженное *u* опускается и перед правилом, согласно которому конечные согласные в слове оглушаются) [5]. Таким образом, нет оснований отделять морфологические контексты от фонологических и есть все основания рассматривать их вместе.

В статье Хр. Рорера «Трактовка французских носовых гласных порождающей фонологией» дается прямолинейное изложение перехода $\widetilde{V} \sim VN$ в таких французских формах, как *nom* [nɔ̃] ~ *nommer* [nɔme], *plein* [plɛ̃] ~ *pleine* [plɛn (ə)] и т. д. [6].

[2] Ср.: L. B l o o m f i e l d, указ., соч., стр. 220.

[3] Стык # в основном соответствует границе слова; в некоторых случаях # не соответствует обычному понятию слова (например, стык между *k* и *y* в слове *rocky*), но интуитивно мы сознаем, что *rocky* составлено из двух слов. Подробнее см.: E. S a p i r, Sound patterns in language, особенно примеч. 6.

[4] См. примеч. 9, где обсуждается вопрос, почему *n*, а не *m* выбирается для исходной репрезентации этой морфемы.

[5] Очерк этих правил см. в моей статье «Об альтернации *е* ~ *о* в современном русском литературном языке», ВЯ, 1966, 5.

[6] Статья Рорера во многом опирается на докторскую диссертацию С. А. Шейн (S. A. S c h a n e, French Phonology and Morphology, MIT Press, 1968).

В принципе (я опускаю некоторые побочные детали) Ропер постулирует абстрактные исходные репрезентации морфем (*nɔm* и *plɛn* в примерах, приведенных выше) и выдвигает два правила, согласно одному из которых гласные перед *N*, за которым следует согласный, или перед стыком # назализируются, а согласно другому — *N* после носового гласного опускается. Развертывание происходит следующим образом:

	nom	*nommer*	*plein*	*pleine*
исходная репрезентация:	# *nɔm* #	# *nɔm* + *e* #	# *plɛn* #	# *plɛn* + *ə* #
назализация:	# *nɔ̃m* #	—	# *plɛ̃n* #	—
опускание носового:	# *nɔ̃* #	—	# *plɛ̃* #	—
опускание шва (schwa)[7]	—	—	—	# *plɛn* #
фонетическая репрезентация:	*nɔ̃*	*nɔme*	*plɛ̃*	*plɛn*

Для объяснения переходов типа ɛ̃ ~ *in* (как в *fin* [fɛ̃] ~ *fine* [*fin* (ə)]), ɛ̃ ~ *an* (как в *main* [mɛ̃] ~ *manuel* [manuɛl] , ɛ̃ ~ *en* (как в *plein* [plɛ̃] ~ *plénitude* [plenitüd(ə)], *ɔ̃* ~ *ün* (как в *un* [ɔ̃] ~ *une* [un (ə)]), ɛ̃ ~ *ã* (как в *sain* [sɛ̃] ~ *santé* [sãte]) и т. д. необходимы некоторые дополнительные правила.

Относительно носовых гласных Ропер не дает удовлетворительного ответа на вопрос о том, какую исходную репрезентацию следует постулировать для корневой морфемы в форме типа *Inde* [ɛ̃ d (ə)] «Индия»[8]. Имеется несколько возможностей: ɛ̃*d*, ẽ*d*, *id*, ɛ*nd*, *end*, *ind*, ɛ*md*, *imd* и, возможно, другие. Этот вопрос чисто механически и неубедительно рассматривается Ропером, который пытается доказать, что при лексической репрезентации корня потребовалось бы меньше определений признаков, если бы корень содержал не исходный носовой гласный, а исходный неносовой гласный с последующим носовым согласным. Меня не особенно убеждает «количественная» аргументация Ропера; во всяком случае такая аргументация не позволяет решить, какой из возможных носовых гласных и носовых согласных следует постулировать. Даже если «количественная» аргументация верна, она позволит исключить только первые три из возможных репрезентаций, приведенных выше, и не даст возможности выбора из оставшихся шести последних репрезентаций. Мне кажется, что если обратиться к понятию маркированности, в том виде, как оно применяется Пражской школой, можно найти обоснованную причину для выбора интуитивно верной репрезентации *in*[9].

Работой, в которой разрабатывается наиболее совершенная фонологическая теория, является статья Д. С. Уорта «О циклических правилах деривационной морфофонемики». В этой статье Уорт рассматривает переходы «гласный ~ нуль» в таких русских формах, как им. падеж ед. числа *булка*, род. падеж мн. числа *булок*, уменьшит. им. падеж ед. числа *булочка*, род. падеж мн. числа *булочек*. Как и Ропер, Уорт постулирует абстрактные исходные репрезентации: *bul* %*k* для корня в *булка*, *булок* и %*k* для уменьшительного аффикса в *булочка*, *булочек*, где % — это «гласно-нулевая морфофонема». Постулируемые исходные репрезентации четырех анализируемых форм имеют следующий вид:

им. ед.	*булка*	# *búl*%*k* + a #
род. мн.	*булок*	# *búl*%*k* + % #
им. ед.	*булочка*	# *búl*% + % *k* + *a* #
род. мн.	*булочек*	# *búl*%*k* + % *k* + % #

Уорт отмечает, что постулируемая им «гласно-нулевая морфофонема» всегда выступает в той позиции, где исторически был ер; однако, как он отмечает, традиционное историческое объяснение падения еров не может привести к правильным репрезентациям, ибо в уменьшительной форме род. падеж мн. числа # bil%k + %*k* + % # второй ер выступает как «сильный», первый и третий еры — как «слабые», и полученная в результате форма, согласно традиционному объяснению, должна иметь вид **bulček*.

[7] Опускание шва является обязательным, если не считать определенных формальных стилей речи. Подробнее см.: S. A. Schane, указ. соч.

[8] В действительности гласный здесь — долгий [ɛ̃ : d (ə)], но я не буду принимать во внимание вопрос о долготе гласного, ибо он не имеет прямого отношения к разбираемому вопросу; подробнее см.: S. A. Schane, указ. соч.

[9] Отметим, что при обсуждении английского слова *bomb* мы постулировали дентальный носовой *n* в репрезентации корня. Место артикуляции носовых в английском языке нейтрализуется перед смычными и подчиняется правилу (1), приведенному выше. Здесь, как и во французском примере *Inde* , любой носовой согласный дает в результате правильную фонетическую репрезентацию. Дентальный носовой был избран в качестве исходной репрезентации как в англ. *bomb*, так и во франц. *Inde*, ибо этот носовой немаркирован признаком «место артикуляции». Подробности о формальной стороне такого использования понятия маркированности, см.: N. Chomsky, M. Halle, Sound pattern of English, New York, 1968, гл IX.

Затем Уорт рассматривает возможность формулировки трансформационного цикла Хомского — Халле[10] и отмечает, что если правила, приводимые ниже, будут использованы в указанном порядке, т. е. сначала по отношению к сегментам, находящимся в пределах мельчайшего конституента каждого слова, а затем по отношению к сегментам, находящимся в следующем более крупном конституенте и т. д., то можно получить правильную фонетическую репрезентацию:

($k \to \check{c}$) По этому правилу велярные замещаются соответствующими палатальными в нужных местах

(1) $\% \to \emptyset$ в окружении $-\left\{\begin{matrix} C + \Gamma \\ \# \end{matrix}\right\}$, где $\emptyset$ обозначает «нуль», а $+$ морфемную границу

(2) $\% \to \emptyset$ в окружении $\_\_\_ C +$

Развертывание происходит следующим образом (НС даны в скобках):

	булка	*булок*
исходная репрезентация	(# (*búl%k*) + *a* #)	(# (*búl%k*) + % #)
Цикл I:	(*búl%k*)	(*búl%k*)
($k \to \check{c}$):	—	—
(1)	—	—
(2)	—	—
Цикл II:	(# *búl%k* + #)	(# *búl%k* + % #)
($k \to \check{c}$):	—	—
(1)	(# *búlk* + *a* #)	(# *búl%k* + #)
(2)	—	(# *búlok* + #)
аканье:	(# *búlk* + #)	(# *búlək* + #)
фонетическая репрезентация	*búlkə*	*búlək*

	булочка	*булочек*
исходная репрезентация	(#(*búl%k* + %*k*) + *a* #)	(# (*búl%k* + %*k*) + % #)
Цикл I:	(*búl%k* + %*k*)	(*búl%k* + %*k*)
($k \to \check{c}$):	(*búl%č* + %*k*)	(*búl%č* + %*k*)
(1)	—	—
(2)	(*búloč* + %*k*)	(*búloč* + %*k*)
Цикл II:	(*búloč* + %*k* + *a* #)	(# *búloč* + %*k* + % #)
($k \to \check{c}$):	—	—
(1)	(# *búloč* + *k* + *a* #)	(# *búloč* + %*k* + #)
(2)	—	(# *búloč* + *ok* + #)
аканье:	(# *búləč* + *k* + *ə* #)	(# *búləč* + *ik* + #)
фонетическая репрезентация	*búləčkə*	*búləčik*

На стр. 180—181 Уорт обсуждает более сложный пример *льдиночка*, который требует применения правила палатализации согласных в соответствующих контекстах, а именно правила (C → C'):

исходная репрезентация: (# (((*l'%d* + *ín*) + %*k*) + %*k*) + *a* #)

Цикл. I:	(*l'%d* + *ín*)
(C → C'):	(*l'%d'* + *ín*)
($k \to \check{c}$):	—
(1)	(*l'd'* + *ín*)
(2)	—
Цикл II:	ни одно правило не применимо
Цикл III:	(*l'd'* + *in* + %*k* + %*k*)
(C → C')	—
($k \to \check{c}$):	(*l'd'* + *ín* + %*č* + %*k*)
(1)	—
(2)	(*l'd'* + *ín* + *oč* + %*k*)
Цикл IV:	(# *l'd'* + *ín* + *oč* + %*k* + *a* #)
(C → C'):	—
($k \to \check{c}$):	—
(1)	(# *l'd'* + *ín* + *oč* + *k* + *a* #)
(2)	—
аканье:	(# *l'd'* + *ín* + *əč* + *k* + *ə* #)
фонетическая репрезентация:	*l'd'ínəčkə*

[10] Подробности см.: N. Chomsky, M. Halle, Sound pattern of English. В отношении русского языка см.: М. Халле, О правилах русского спряжения («American contributions to the V International Congress of slavists») и более позднюю мою статью «О циклических правилах в русском спряжении» (ВЯ, 1965, 2).

Приводится также развертывание форм род. падежа мн. числа *льдиночек*; первые три цикла развертывания этой формы, естественно, такие же, как и при развертывании формы им. падежа ед. числа *льдиночка*. Четвертый цикл имеет следующий вид:

Цикл. IV:	$(\# l'd' + \text{ĭ}n + o\check{c} + \%k + \%\#)$
(C → C'):	—
(*k* → *č*):	—
(1):	$(\# l'd' + \text{ĭ}n + o\check{c} + \%k + \#)$
(2):	$(\# l'd' + \text{ĭ}n + o\check{c} + ok + \#)$
аканье:	$(\# l'd' + \text{ĭ}n + \text{ə}\check{c} + \text{ĭ}k + \#)$
фонетическая репрезентация:	$l'd'\text{ĭ}n\text{ə}\check{c}\text{ĭ}k$

Приведя эти деривации, Уорт пишет (стр. 181): «нет сомнения, что эти правила „работают" в том смысле, что их применение дает возможность получить фонетические цепочки, точность состава которых поддается проверке. Тем не менее вполне очевиден и недостаток таких цепочек: число морфофонемных операций, которые следует произвести, никак не согласуется с полученными результатами. В четырех циклах используется по четыре правила, применяемых к двум исходным цепочкам (для *льдиночка* и *льдиночек*), причем в общей сложности производится 32 различных операции, 21 из которых дает лишь возможность сделать запись: «без изменений», 8 в результате приводят к аналогичным изменениям в обеих колонках, и только 3 (применение правила 1 и 2 в четвертом цикле) — дают различные фонетические цепочки».

Наблюдения Уорта совершенно правильны, хотя, как мне кажется, и не являются релевантными в случае, если цель грамматиста состоит в отражении внутреннего знания языка его носителем. До сих пор мы не располагаем какой-либо нейрофизиологической информацией, позволяющей понять, каким образом говорящий и с п о л ь з у е т грамматику для производства и понимания высказываний; вряд ли можно предположить, что такая информация появится в ближайшем будущем. Поэтому тот факт, что многие применения правил не дают возможности произвести какую-либо форму, не может использоваться как аргумент против адекватности теории языка.

Уорт предлагает решение, которое он называет (стр. 173) «современной версией несмешения уровней» [11]; он допускает (стр. 182), что «деривация и флексия являются двумя самостоятельными, но взаимосвязанными морфологическими подсистемами». На стр. 183—184 он утверждает, что «нет необходимости для неэкономного повторения правил типа (C → C') в пределах системы флексий и вообще становится возможным определить морфофонемные процессы, присущие деривационной или флективной системам или обычные для обеих этих систем (например, чередование типа *k* → *c* встречается только в деривационной системе, в то время как тип *k* → *č* имеет место и в деривационной системе, и в глагольной флексии, но не в несупплетивной именной флексии)».

Все эти заявления, однако, являются неверными. Так, например, правило (C → C') применимо в формах предл. падежа ед. числа существительных (*столе* [stal'ɛ], *воде* [vad'é], *крыле* [kryl'é] и т. д., в формах дат. падежа ед. числа существительных жен. рода (*воде* (vad'é] и т. д.), в им. падеже мн. числа существительных муж. и жен. рода с основами на велярный (*слоги* [slɔ́g'i], *руки* [rúk'i] и т. д.). Правда, тип *k* → *c* весьма редок в системе флексии, но это, конечно, объясняется тем фактом, что этот тип вообще чужд русской фонологической системе [12] (тем не менее можно указать на известный пример *друг — друзья*).

[11] Таким образом, тезис Уорта теоретически идентичен тезису Шаумяна, хотя он и отличается в деталях. Интересной особенностью анализа Уорта, которую он сам не упоминает, является то, что он в своей работе скован старым постулатом Витнея — Боаса — Сепира, согласно которому нельзя допускать какой-либо исходной репрезентации морфемы, если эта репрезентация не обнаруживается в фонетическом облике по крайней мере одной формы морфемы. В соответствии с этим Уорт поверхностно и механически использует такие обозначения, как % для изображения ненапряженных гласных высокого подъема *i*, *u*, ибо эти гласные в фонетических репрезентациях н и к о г д а не представлены как ненапряженные *i*, *u* (они всегда подвергаются «падению»). В своей более поздней работе «О понятии корня в русской морфологии и деривации» («To honor Roman Jakobson», The Hague, 1967) он отмечает чередование в *берег — брег*, но не может постулировать исходного *берг*, так как ни одна фонетическая форма этой морфемы не представлена в виде *берг*. Недавнее интересное обсуждение постулата Витнея — Боаса — Сепира см.: J. D. M c C a w l e y, The phonological theory behind Whitney's Sanskrit grammar, «Language and areas. Studies presented to George V. Bobriskoy», University of Chicago Press, 1967. Если отказаться от этого постулата, можно дать намного более широкий анализ русской фонологии (см. мою статью «Об альтернации...»).

[12] Ср. правильные и интересные комментарии Г. Шевелева в его «Die kirchenslavischen Elemente in der modernen russischen Literatursprache» (Wiesbaden, 1960), стр. 36.

Что же касается тезиса о том, что чередование *k* → *č* не наблюдается в именной флексии, то это совсем ошибочно: *око — очи, ухо— уши, сук — сучья, тих — тишь, дик — дичь, дрогнуть — дрожь* и т. д. (обращение к обратному словарю русского языка дает возможность найти множество таких примеров, причем в них не наблюдается супплетивных форм).

Важно отметить, что во всех этих примерах корректная формулировка правил (С → С') и (*k* → *č*) дает возможность объяснить как явления деривации, так и флексии. Другими словами, нет никаких оснований разъединять фонологию деривации и фонологию флексии.

«Отсутствие чередований *k, g c c, z* в глаголах типа *проникать, двигать* ничего не имеет общего с устранением чередований согласных в императиве и в склонении. Последнее является сравнительно поздней русской инновацией, которая чужда украинскому и белорусскому. Первое, однако, характерно для обоих этих языков. Возможно, что третья палатализация в восточнославянском не была последовательно проведена или еще в доисторическое время была вытеснена в некоторых морфологических категориях» (разрядка наша. — *Т. Л.*).

Т. М. Лайтнер

Перевел с английского *М. М. Маковский*

«Tvoření slov v češtině. 2. Odvozování podstatných jmen». — Praha, 1967. 780 стр.

Рецензируемая книга представляет собой фундаментальное описание деривационной системы существительного в современном литературном чешском языке, выполненное сотрудниками Института чешского языка ЧСАН. Реализован творческий замысел большого авторского коллектива, состоящий в том, чтобы создать на основе единой теоретической концепции, с учетом новейших достижений лингвистической науки капитальное описание словообразовательной системы современного чешского языка. Важность поставленных и решенных задач трудно переоценить, поскольку исследования подобного масштаба и значимости на материале славянских языков до сих пор не проводились.

В рамках изучения словообразовательной системы современного литературного языка предполагается опубликование цикла самостоятельных исследований. В настоящее время вышли в свет два тома: первый — «Словообразование чешского языка. 1. Теория словопроизводства» (Прага, 1962; автор М. Докулил)— представляет собой изложение теории и методологии исследования в целом [1]; второй освещает особенности словопроизводства имени существительного (ред.— Фр. Данеш, М. Докулил, Я. Кухарж).

В отличие от первого второй том цикла имеет преимущественно описательный характер. Впрочем «утилитарная» направленность исследования, на наш взгляд, отнюдь не снижает его научной ценности, поскольку систематизация и описание конкретного материала базируется на глубоко продуманной теоретической основе. Задача рецензируемого тома — дать систематическую словообразовательную классификацию существительных, наиболее адекватную характеру изучаемого материала. Важно подчеркнуть, что подобная задача ставится впервые, ее выполнение оказывается возможным лишь при наличии единой теоретической базы и единых исходных методологических посылок. Апробация на конкретном языковом материале теоретической концепции словообразовательного анализа, изложенной в I томе, убедительно доказала жизненность предлагаемой лингвистической теории, имеющей не только умозрительный, но и аппликативный аспект. В этом, в частности, мы видели одно из основных достижений чешских ученых.

План комплексного исследования строится следующим образом: содержание всего второго тома посвящено описанию имени существительного; рассмотрение словообразования прилагательных, глаголов, наречий составит содержание третьего тома, над которым в настоящее время работает авторский коллектив. Подобное распределение материала обуславливается «центральным положением имени существительного в системе частей речи, вытекающим из удельного веса ономасиологической функции имен существительных — служить названиями субстанций, являющихся основными комплексными единицами нашего восприятия

[1] См.: Г. П. Нещименко, [рец. на кн.:] M. Dokulil, Teorie odvozování slov, ВЯ, 1962, 5.

действительности» (стр. 729), а также тем, что по сравнению с другими частями речи система словообразования имени существительного является более сложной и разнообразной, отличается наиболее богатым набором словообразовательных формантов.

Рецензируемое исследование выполнено на основе материалов современного литературного чешского языка, извлеченных в основном из академического «Настольного словаря чешского языка»[2], а также «Словаря чешского литературного языка» [3]. Помимо словарных материалов, привлекались также эксцерпции, имеющиеся в распоряжении авторов публикации.

Анализируемый материал делится на две группы в зависимости от способа словопроизводства: дериваты бесприставочные (занимающие у существительных, несомненно, преобладающее положение) — дериваты приставочные. В основе подобного разграничения находится оппозиция: суффиксальный, а также конверсионный способ словопроизводства — префиксальное словопроизводство. Правомерность ее объясняется, с одной стороны, принципиальной близостью словообразования с помощью суффиксов и конверсии (здесь же рассматриваются и явления обратной деривации), с другой — отличием их от префиксального словопроизводства, спецификой ономасиологической структуры дериватов.

Характер ономасиологической структуры дериватов занимает в работе исключительно важное место в числе критериев описания словообразовательной системы имени существительного, так как именно этот критерий является одним из наиболее существенных компонентов, конституирующих ономасиологическую категорию, под которой понимается основная понятийная категория, составляющая в данном языке основу называния.

По мысли авторов книги, ономасиологическая структура состоит из двух компонентов: базиса и признака. Базис фиксирует соответствующий понятийный класс, к которому принадлежит обозначаемое понятие (субстанция, признак, действие, обстоятельственное определение признака); в структуре деривата функцию ономасиологического базиса обычно выполняет словообразовательный формант. Ономасиологический признак имеет более конкретную семантику: именно он раскрывает сущность названия, фиксируя понятие, отношением с которым связан базис. Ономасиологический признак может иметь как простую (*dobrák*), так и сложную структуру (*dřevorubec*, *milicionář*, *květinář*, *strankík*, *večerník*) — в последнем случае простой признак осложняется конкретизацией целенаправленности действия либо определенным отношением к субстанции. Из двух компонентов сложного признака — ономасиологического мотива и связующего — для классификации ономасиологических категорий решающее значение имеет характер ономасиологического мотива. В структуре слова ономасиологический мотив обычно совпадает с производящей основой.

Словообразовательный аспект исследования обусловливает использование в качестве основной единицы описания понятия словообразовательной категории. По определению, данному в первом томе, словообразовательная категория объединяет в рамках одного и того же способа словопроизводства словообразовательные типы, имеющие общую ономасиологическую структуру.

Композиция второго тома предусматривает систематизацию словообразовательных категорий в зависимости от характера их ономасиологической структуры. Наибольший удельный вес имеют словообразовательные категории, включенные в состав ономасиологических категорий мутационного типа — сущность последних заключается в том, что «явление одной понятийной категории характеризуется (и называется) по своему прямому или опосредствованному отношению к элементу той же или другой понятийной категории» [4]. Внутри мутационного типа осуществляется последовательная дифференциация словообразовательных (или же ономасиологических) категорий в зависимости от характера отношения, существующего между базисом и мотивом.

В рамках ономасиологической категории носителя отношения к действию выделяются более частные ономасиолого-словообразовательные категории имен производителя действия (*učitel*, *výrobce*) — автор М. Докулил; имен орудия действия (*řepák*, *otvírák*) — Я. Кухарж; имен результата действия (*odlitek*, *výňatek*) — М. Роудный. Сюда же включается категория имен носителя активного воздействия на предмет (*železničář*, *lesník*) — автор М. Докулил, формально относящаяся к иной более общей ономасиологической категории носителя предметного отношения. Причина подобной компоновки заключается в семантической близости данной категории к категории имен производителя действия: ономасиологическое связующее обозначает действие (*kameník* «тот, кто о б р а б а т ы в а е т камень»).

Как монолитные, недифференцированные трактуются категории имен носите-

[2] «Příruční slovník jazyka českého», I—VIII, Praha, 1935—1957.

[3] «Slovník spisovného jazyka českého», I, Praha, 1960.

[4] «Tvoření slov v češtině. 1. Teorie odvozování slov», Praha, 1962, стр. 200.

лей свойства (*slepec*, *blonďák*) — автор М. Докулил, а также категория носителя обстоятельственного отношения (*bezvětří*, *kontrašpionáž*), отнесенная к разделу префиксального словопроизводства,— авторы Зд. Грушкова и М. Тепшителова.

Значительной дробностью отличается ономасиологическая категория имен носителя отношения к субстанции (авторы М. Докулил и К. Гаузенблас), распадающаяся на ряд частных словообразовательных категорий (некоторые из них являются недостаточно рельефными) — названия по отличительной части (*parohář*); названия по принадлежности (*Pražan*); названия по происхождению и материалу (*strahivárky*, *bramborovka*); названия по сходству и подобию (*lvoun*, *psoun*). Наконец, в рамках мутационного типа рассматривается ономасиологическая категория имен места (*noclehárna*, *cihelna*) — автор Фр. Данеш.

Следует отметить неоднородность ономасиологических категорий, объединенных в составе мутационного типа. Здесь представлены категории с простым ономасиологическим признаком (имена носителя свойства) и с признаком сложным (прочие категории).

Далее, авторами выделяются ономасиологические категории обычные и комплексные. К числу последних относятся категории орудий действия и места. Так, ономасиологический мотив дериватов, входящих в состав категории орудий действия, главным образом обозначает понятие действия (производящая основа представлена глаголом или отглагольным существительным; ср. *rýpadlo*, *nárazník*), либо понятие субстанции (производящая основа — существительное; ср. *řepák*). В соответствии с интерпретацией автора (Я. Кухарж) названия орудий действия можно квалифицировать как часть языковой реализации ономасиологической категории целевого назначения.

Комплексная категория названий места представляет собой конкретизацию значения ономасиологического базиса — характерной особенностью данной категории является то, что здесь «ономасиологический базис представлен не общим значением субстанции (в собственном смысле слова), а специфическим понятием места» (стр. 434).

В составе модификационного типа представлена лексика, модифицирующая, обогащающая исходное понятие за счет привнесения некоторого дополнительного признака. Здесь представлены следующие ономасиологические категории: имена собирательные и сингулятивные (*učitelstvo*, *dvořanstvo*; *travina*, *padrtina*) — автор Фр. Данеш; имена уменьшительные (*domek*, *ručička*) — Л. Долежел; имена увеличительные (*hošisko*, *mužisko*) — Зд. Грушкова; парные имена (*učitelka*, *mistryně*) — Зд. Грушкова; имена молодых существ (*medvídě*, *lvíče*) — К. Гаузенблас.

Наконец, третий тип — транспозиционный — объединяет ономасиологические категории, опредмечивающие признак или действие. В данном томе рассматривается лишь ономасиологическая категория имен действия, в то время как категория имен свойства отнесена к третьему тому (вследствие семантической связи последних с именами прилагательными). Автором раздела о категории имен действия (*lov*, *běh*) является М. Елинек.

За пределы ономасиологических категорий вынесены некоторые семантико-словообразовательные группы названий (авторы — Фр. Вагала в сотрудничестве с В. Кондровой) — в рамках этой рубрики представлены обозначения химических элементов, горных пород и ископаемых, платежей и т. д. (*hliník*, *ledek*, *kapesné*). Указанные образования не имеют единой ономасиологической структуры; по мнению авторов, они являются результатом механического образования по определенным конкретным моделям.

Описание отдельных словообразовательных категорий дается не только в плане рассмотрения их ономасиологической структуры; большое внимание уделяется детальной характеристике словообразовательных типов. При определении словообразовательных типов учитываются следующие аспекты: единство ономасиологической структуры образуемых слов; единство лексико-грамматического характера словообразовательной основы; тождество форманта (под формантом понимается совокупность дифференциальных признаков производящего и производного слов — аффикс, фонетические модификации, парадигма). Поскольку все названные компоненты понятия словообразовательного типа подробно рассматриваются в работе, читатель получает исчерпывающее представление о структурно-семантической характеристике производящих основ, об инвентаре формантов (с учетом их дистрибуции, семантики, степени продуктивности), о специфике парадигматических изменений, о характере альтернаций.

При рассмотрении набора производящих основ авторы выделяют в особые группы основы заимствованного происхождения. Правомерность подобного обособления очевидна, так как именно в сфере словопроизводства указанной лексики с наибольшей наглядностью обнаруживаются продуктивные словообразовательные закономерности. Отдельно рассматриваются и словообразовательные связи формантов, заимствованных чешским языком из других языков (например, немецкого, латинского и др.). Большой интерес представляют и отдель-

ные окказиональные образования ad hoc, рельефно сохраняющие словообразовательное значение.

В соответствии с замыслом работы объектом исследования являются исключительно производные слова, не подвергшиеся лексикализации, т. е. слова, имеющие словообразовательную структуру. Критерием для установления факта производности лексемы является наличие в словарном составе языка соответствующего производящего слова. Этот критерий красной нитью проходит через все исследование в целом, причем наличие соответствующего производящего слова важно лишь для выделения в структуре лексемы производящей основы и не является строго обязательным при вычленении словообразовательного форманта (ср. известную в лингвистической литературе дискуссию между Г. О. Винокуром и А. И. Смирницким по поводу слов типа *буженина*, *малина* и пр.). Ср. в этой связи следующее высказывание: «С точки зрения чешского языка (или же, по крайней мере, современного чешского языка) мы не можем квалифицировать как производное образование существительное на *-ista* в том случае, если оно не соотносится с соответствующим производящим словом. В то же время обособление суффикса *-ista* здесь является совершенно очевидным — вследствие чего данное слово включается в семантическую группу названий лиц, имеющую выразительную словообразовательную характеристику» (стр. 161).

В рецензируемой работе последовательно осуществляется принцип системного изучения чешского словообразования, принцип синхронного описания изучаемых явлений и принцип функционального подхода к изучению различных аспектов словообразования. В свете этой концепции предметом словообразовательного анализа является описание характера системных отношений словообразовательных категорий современного чешского языка с учетом синхронных структурно-семантических связей и ассоциаций словообразовательных категорий, словообразовательных типов и слов с окружающей их лексикой. Последовательно изучается отношение одних категорий к другим, их лексико-грамматические особенности и функциональная значимость, многообразие мотивационных отношений, набор формантов в их взаимной комплементарности и конкуренции.

Для концепции словообразовательного анализа, используемой чешскими лингвистами, характерен последовательный учет альтернативных мотивировок словообразовательной структуры слова. Применение альтернативного словообразовательного анализа представляется нам весьма плодотворным, поскольку оно позволяет раскрыть словообразовательную структуру слова не упрощенно, а с учетом всей сложности ассоциативных связей слова с окружающей его лексикой. Альтернативный анализ предполагает принципиальную возможность одновременного параллельного соотнесения деривата с несколькими производящими основами; отсюда вытекает принципиальная возможность множественных параллельных структур одного и того же слова, а также вычленение вариантных альтернативных формантов; ср.: суффиксы *-ář/-bář* (*řezbář* к *řezba* и *řezat*); *-ář/-enář* (*sklenář* к *sklení*, *sklenit* и *sklít*) и др.

При установлении словообразовательных мотивировок решающую роль играют структурно-семантические ассоциации слова; одной лишь семантической близости сопоставляемых слов оказывается явно недостаточно (хотя нередко и она играет важную роль, например, при определении направленности словообразовательного процесса: *komunismus* → *komunista*).

При определении соотносительной ценности параллельных мотивировок авторами учитывается роль факторов структурного, семантического и стилистического порядка, принимаются во внимание и данные фреквенции. Так, признается ослабленной, неактуальной мотивировка посредством слова, которое: а) отдалилось в структурном отношении (*vytíráček* формально ближе к *vytírat*, чем к *vytěrák*); б) отдалилось семантически (*lapač*, *lapák* «капкан, уловитель» — *lapáček* «ловушка для птиц»); в) отдалилось стилистически (*napínáček* нейтр.— *napínák* разг.); г) имеет иную фреквенцию (*louskáček* не соотносится с редким *louskač*).

Изменение словообразовательной мотивировки приводит к переоценке ономасиологической структуры слова. Так, исконные деминутивы, к которым отсутствуют соответствующие производящие нейтральные слова (по тем или иным причинам вышли из употребления), с точки зрения носителей современного чешского языка не могут быть квалифицированы как деминутивные образования.

В зависимости от характера словообразовательных мотивировок одни и те же образования одновременно могут включаться в состав различных ономасиологических категорий. Так, например, существительные женского рода со значением лица в случае глагольной мотивировки могут быть отнесены к разряду Nomina agentis (*učit — učitelka*), в случае адъективной мотивировки — к Nomina attributiva (*ošemetný — ošemetnice*) и т. д.

Авторы публикации отмечают факт отсутствия четких границ между отдельными словообразовательными категориями, возможность взаимного перехода лексики из одной ономасиологической категории в другую.

Следует заметить, что отдельные категории, включенные в данную книгу, описаны в целом по единому плану — имеющиеся композиционные отличия обусловливаются спецификой как авторской индивидуальности, так и предмета исследования. Сказанное относится в первую очередь к разделу о деминутивах, представляющему собой статистическое обследование. Использование статистических данных в качестве некоторого вспомогательного средства, иллюстрирующего динамику роста или же, наоборот, сокращения численности образований, широко практикуется и при описании других словообразовательных категорий, представленных в данном томе. Можно назвать в качестве примера сопоставление численности дериватов той или другой структуры в фундаментальных словарях чешского языка, выходивших в различное время (словарь Й. Юнгмана [5] — «Настольный словарь чешского языка»). В разделе же о деминутивах статистический метод является главным средством лингвистического исследования, позволяющим вскрыть основные пропорции, характерные для данной словообразовательной категории. Для этой цели автор использует некоторые элементы теории вероятности и математической статистики.

В целом Л. Долежел успешно справился с поставленными задачами: ему удалось установить вероятностность деминутивных классов и элементов микроструктуры (подмикроструктурой он понимает комбинацию деминутивов вокруг одной и той же производящей основы) и выявить специфические тенденции (унификации и массовости образования). Следует, однако, заметить, что данный раздел страдает конспективностью изложения, мешающей порой получить цельное представление об особенностях словопроизводства деминутивов, чрезмерным лаконизмом в подаче иллюстративного материала, что лишает некоторые высказываемые автором положения наглядности.

При оценке положительных сторон этого монументального исследования о чешском словообразовании важно отметить, что, давая синхронное описание системы словообразования имени существительного в современном чешском языке, авторам исследования удалось наметить и эволюцию отдельных словообразовательных типов. Так, например, показано расширение инвентаря словообразовательных формантов и производящих основ (за счет переинтеграции и абсорбции, заимствования из других языков); рассматриваются и случаи переоценки ономасиологической структуры отдельных лексем и связанный с этим переход данных лексем из одной словообразовательной категории в другую (особенно нагляден этот процесс в кругу существительных деминутивного типа). Выявление альтернативных словообразовательных мотивировок позволяет в ряде случаев наметить возможные направления эволюции словарного состава.

Изучение второго тома «Словообразования в чешском языке» позволяет составить цельное представление о закономерностях словообразования имени существительного в современном чешском языке. Описание словообразовательных категорий, представленных в настоящей публикации, достаточно компактно; авторы иллюстрируют свои наблюдения обширным материалом. Хочется отметить творческое применение теоретической концепции к конкретному материалу. Авторы работы не ставят перед собой цели любой ценой «подогнать» языковые факты под лингвистическую теорию; языковые явления интерпретируются не упрощенно, а во всей их сложности.

Большое внимание уделяется лексико-грамматическим сдвигам, характерным для дериватов по сравнению с производящим словом,— в частности, в разделах, посвященных изучению отглагольных образований, исследуются рефлексы глагольных признаков в семантике существительных. Тщательно исследуются семантические особенности дериватов, входящих в состав модификационного типа — см., например, раздел о парных существительных. Заметим, кстати, что его автор Зд. Грушкова совершенно справедливо отмечает контакт исследуемой категории с категорией носителя предметного отношения (см. словообразовательный тип с *-ová*, в который включаются обозначения женщины-жены).

К числу достоинств книги относится и ее иллюстративная часть в виде многочисленных схем и графиков. В подавляющем большинстве случаев приводимые примеры сопровождаются стилистическими пометами, последовательно и дифференцированно очерчивающими сферу функционирования тех или иных слов на различных стилистических уровнях.

Наряду с задачами чисто научного характера, авторы рецензируемой книги ставили перед собой и чрезвычайно важную задачу практического плана — дать научно обоснованные рекомендации для конкретной словопроизводственной практики. В связи с этим они уделили большое внимание анализу структурно-семантического диапазона словообразовательных категорий, описав при этом как закономерности, так и частные случаи словопроизводства. Комментарии подобного рода в большом количестве представлены в работе (см., например, разделы о Nomina agentis, Nomina actoris и др.).

Пожелания и критические замечания, возникшие при чтении книги, немногочисленны. Вызывает сожаление тот факт,

[5] J. Jungmann, Slovník česko-německý, Praha, 1835—1839.

что такой важнейший раздел словообразования, каким является словосложение (из всех славянских языков наиболее характерное для чешского языка), в этом исследовании не получило отражения. Хотелось бы высказать пожелание, чтобы в последующих публикациях настоящего издания было уделено внимание семантическому словообразованию; чрезвычайно ценным был бы сводный обзор функций словообразовательных формантов. Огорчительным, с нашей точки зрения, является намеренное ограничение объекта исследования материалом письменного литературного языка, в то время как наблюдения над устной разговорной речью, изучение которой особенно важно в условиях чешской языковой ситуации, проводилось в незначительной степени (в основном лишь в разделах, посвященных рассмотрению экспрессивно окрашенной лексики). Изучение малоисследованных закономерностей словообразования устной речи немало способствовало бы выявлению регулярных словопроизводственных операций чешского языка. Заметим, что включение экспрессивно окрашенных образований типа *profák*, *ředák*, являющихся стилистическими вариантами для литературных эквивалентов *profesor*, *ředitel*, в состав аугментативов представляется нам не вполне целесообразным.

Несмотря на лаконизм изложения, в книге встречаются повторения, объясняющиеся отчасти тем, что одни и те же дериваты нередко рассматриваются в составе различных словообразовательных категорий.

«Словообразование в чешском языке. 2.» является значительным достижением чехословацкой лингвистики. Результаты проделанной авторами работы будут иметь большое значение для дальнейших исследований в области славянского языкознания, они явятся крупным вкладом в современную науку о словообразовании.

Давая высокую оценку рецензируемой работе, хочется особенно отметить заслуги М. Докулила, являющегося не только автором основных разделов книги, но и создателем оригинальной и перспективной теоретической концепции словообразования. Основные положения этой теории являются прочным фундаментом, на котором зиждется систематическое описание закономерностей словообразования имени существительного в современном литературном чешском языке.

Теоретическая и практическая значимость исследования огромна; он явится ценным научным пособием как для специалистов по словообразованию, так и для широкого круга лингвистической общественности, интересующейся закономерностями словопроизводства в славянских языках.

А. Г. Широкова, *Г. П. Нещименко*

Н. А. Катагощина, М. С. Гурычева, К. А. Аллендорф. **История французского языка.**— М., Изд-во лит-ры на ин. яз., 1963. 447 стр.

Появление в 1963 г. рецензируемой книги было встречено с удовлетворением и надеждой всеми романистами, и в первую очередь преподавателями, читающими курс истории французского языка в вузах. Отсутствие хорошего и полного пособия, учитывающего все новые данные науки о ходе развития французского языка, чувствовалось уже давно, так как общедоступных работ по истории языка было мало. Тираж «Истории французского языка» М. В. Сергиевского, переизданной в 1947 г. (первое изд.— 1938 г.), оказался недостаточным. Кроме того, некоторые положения учебника М. В. Сергиевского требовали пересмотра, а отдельные аспекты (например, проблема формирования письменно-литературного языка, синтаксис) совершенно отсутствовали или были даны очень неполно. Книга К. А. Аллендорф «Очерк истории французского языка» (М., 1959) слишком схематична и кратка и является по существу популяризацией учебника М. В. Сергиевского. Переведенная на русский язык «История французского языка» А. Доза (М., 1956) содержит интересный материал и плодотворные идеи, однако само построение книги и решение в ней основных актуальных вопросов делают ее неприемлемой в качестве учебного пособия.

Рецензируемая книга допущена Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для филологических факультетов государственных университетов, институтов и факультетов иностранных языков; считают ее учебником и сами авторы (стр. 3). Не удивительно поэтому, что все те, кто читал и пользовался книгой в своей работе, подходили к ней однобоко, как к учебному пособию [1].

[1] В появившейся в 1965 г. краткой рецензии М. А. Бородиной обращается

Как и любой учебник, книга Н. А. Катагощиной, М. С. Гурычевой и К. А. Аллендорф должна была пройти испытание временем. Нам кажется, что лишь сейчас, после четырехлетнего опыта работы с рецензируемым пособием, можно говорить о ценности этого труда как учебника. В то же время этот длительный срок дал возможность освободиться от одностороннего подхода к книге, внимательно ее изучить и сравнить с имеющимися работами по истории французского языка. Стало очевидно, что данная книга не просто новый учебник, а серьезное теоретическое исследование, которое представляет большой интерес своей методикой лингвистического анализа, оригинальной постановкой и решением ряда вопросов.

Значение книги как большого вклада в теорию значительно увеличивает и ее достоинство как учебника, так как фактический материал получает иное освещение. В связи с этим нельзя отделить рассмотрение книги как научного труда от ее анализа как пособия, ибо обе эти стороны тесно между собой переплетены и должны изучаться вместе.

«История французского языка» состоит из «Предисловия», «Введения», четырех глав, «Заключения» и «Приложения». В «Предисловии» авторы кратко останавливаются на одной из наиболее сложных проблем истории языка — на проблеме периодизации. Установление правильной периодизации истории французского языка имеет огромное значение, так как от этого зависит выбор и расположение материала и правильная его трактовка. К вопросу периодизации истории французского языка лингвисты подходят различно. Французскими учеными принята в основном так называемая «вертикальная» периодизация по аспектам [2]. При такой периодизации отсутствует освещение связи языка со средой, в которой он развивается. В итоге получается лишь хронологизация языковых изменений, которые происходят отнюдь не равномерно. Известно, например, что основные этапы развития звукового строя французского языка не совпадают с изменениями в морфологии и т. п. У других авторов по существу вообще отсутствует периодизация собственно истории языка (т. е. «внутренней лингвистики») [3]. У ряда зарубежных романистов в основе периодизации истории французского языка лежит псевдосоциология [4], т. е. стремление установить непосредственную связь языковых изменений с политическим и экономическим развитием Франции и сменой идеологии.

Рецензируемая работа строится на основе исторической периодизации. Она учитывает те исторические условия, в которых создается язык и которые определяют его своеобразие в ту или иную эпоху. Авторами принято деление истории французского языка на старофранцузский, среднефранцузский и новофранцузский периоды. Такая периодизация кажется на первый взгляд не новой, однако в нее вложено новое содержание, благодаря чему ее сущность иная. Первый период существования французского языка — это период медленного формирования французского государства, и наиболее характерным его признаком является многообразие диалектов и особый характер их взаимоотношения с литературным языком, который начинает тогда складываться. Специфическая особенность, присущая французскому языку в среднефранцузском периоде (расширение сферы употребления письменно-литературного языка и т. п.), определяется изменением исторических условий во Франции XIV—XV вв. Новофранцузский период характеризуется образованием национального письменно-литературного языка и установлением его норм, что происходит в условиях образования и укрепления французской нации и французского государства. Предложенная периодизация не устанавливает отнюдь прямой связи между общественным развитием и всеми языковыми изменениями, но дает возможность авторам «Истории французского языка» правильно показать постепенное развитие французского письменно-литературного языка в целом и неравномерность изменения отдельных его компонентов. Такого рода периодизация представляется вполне обоснованной, и решение Н. А. Катагощиной, М. С. Гурычевой и К. А. Аллендорф столь сложной проблемы как в теоретическом плане, так и практической ее реализации следует считать несомненным достоинством работы [5].

С проблемой периодизации связаны еще две проблемы, решение которых имеет

в основном внимание на достоинства книги как учебника (см.: «Ин. яз. в шк.», 1965, 5, стр. 99—100).

[2] A. Darmesteter, Cours de grammaire historique de la langue française, I—IV, Paris, 1942; K. Nyrop, Grammaire historique de la langue française, I—IV, Copenhague, 1930—1936; A. Dauzat, Histoire de la langue française, Paris, 1930, и др.

[3] См., например, фонетическую периодизацию в кн.: M. K. Pope, From Latin to Modern French with especial consideration of Anglo-Norman, Manchester, 1934.

[4] Особенно в работе К. Фосслера. См.: K. Vossler, Frankreichs Kultur und Sprache, Heidelberg, 1929.

[5] Основные принципы принятой периодизации были изложены еще раньше в статье Н. А. Катагощиной «Некоторые вопросы построения курса истории французского языка» («Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», V, 1953).

большое значение для любой общей работы по истории французского языка.

При изучении истории французского языка, во-первых, неизбежно встает вопрос, с чего она начинается. Для зарубежных романистов она начинается с латинского языка, а сам французский язык представляет собой лишь этап дальнейшего развития латыни. Вполне естественно, что такая концепция не может показать, когда можно говорить об истории французского языка как языка, который имеет свою собственную фонетическую, грамматическую и лексическую систему, качественно отличную от латинской. Большим преимуществом анализируемого труда является то, что мы находим в нем совершенно четкий ответ на вопрос, с чего начинается настоящая история французского языка. Авторы считают возможным говорить о возникновении французского языка тогда, когда появляются новые носители этого языка, новая народность, а о появлении французской народности свидетельствует целый ряд исторических фактов. Соответственно, предметом изучения рецензируемой работы является подлинно история французского языка, а не фонетика или грамматика в историческом плане; в этом ее принципиальное отличие от традиционных «исторических грамматик», в которых изучалось развитие латинских звуков и форм, в этом ее ценность. В книге четко и последовательно показано, что генетические связи французского языка не определяют его структуру и его специфику как языка романской группы и что история французского языка и его происхождение — это совершенно различные вопросы. В связи с этим описание старофранцузского языка дается в синхроническом плане без указания на исходную латинскую базу. Однако это не означает, что авторы отрицают необходимость изучать историю развития народной латыни на территории Северной Галлии и преобразования ее во французский язык. Можно согласиться с авторами, что этот период должен быть изучен в отдельном курсе «Введение в романское языкознание».

В связи с этим некоторое сомнение может вызвать на первый взгляд включение в работу «галло-романского» периода. В действительности это не является противоречием и не меняет концепцию авторов, поскольку указанный раздел, имеющий своей целью показать генетические связи французского языка, дан в качестве введения к курсу истории французского языка и органически с ним связан. Несмотря на свою краткость, «Введение», написанное Н. А. Катагощиной, дает четкую картину развития народной латыни Северной Галлии в V—VIII вв.

Нельзя, однако, считать оправданным ограничение XVIII в. материала рассматриваемой работы ссылкой на то, что изучение языка XIX и XX вв. составляет предмет курса «Теория современного французского языка» (стр. 5).

Второй проблемой, непосредственно связанной с проблемой периодизации, является определение объекта исследования, т. е. уяснение вопросов, которые должны быть изучены историей языка. Авторы книги четко определяют, что их книга имеет объектом изучения французский письменно-литературный язык (стр. 4). Описание французского языка на ранней стадии его развития затрудняется обычно тем, что само понятие французского языка в этот период не было определено и что ни в одной работе не было раскрыто соотношение письменно-литературного языка и диалектов. Поэтому оставалось неясным, какие явления должны изучаться историей языка, а какие — составлять предмет изучения исторической диалектологии. Данная проблема успешно решена в рецензируемом труде, где проведена четкая граница между объектом истории языка и диалектологией.

Самой большой по объему (176 стр.) является глава, посвященная начальному периоду истории французского языка. Это прямо вытекает из замысла авторов. К IX в. имеется уже сложившийся новый язык — французский, в котором заложены многие элементы, определившие структуру современного французского языка. Как уже указывалось выше, в книге решается проблема соотношения письменно-литературного языка и диалектов. Рассмотрев общие черты основных французских диалектов, Н. А. Катагощина приходит к выводу, который ни в одной из имеющихся работ не был так четко сформулирован, что «между диалектами старофранцузского языка не было больших структурных различий, различий в грамматическом строе и в словаре» (стр. 53). Расхождения проявляются значительно четче в области произношения, хотя и здесь автор находит много общих черт [6]. Эта определенная близость диалектов, которая объясняется их происхождением от одного источника — народной латыни Галлии, была предпосылкой для появления одного общего письменно-литературного языка.

В книге проводится тезис о том, что, несмотря на известную диалектную раздробленность, в XI—XIII вв. начинает формироваться общефранцузский письменно-литературный язык. «Тексты этого периода, в основном, не являются простой фиксацией всех особенностей какого-либо определенного диалекта», — пи-

[6] Более полно этот вопрос изложен в статье Н. А. Катагощиной «К проблеме классификации старофранцузских диалектов до XIII в.» («Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», XI, 1957).

шет автор (стр. 63). Следует особо подчеркнуть принципиально новый подход к вопросу о диалектной основе так называемых «общефранцузских» текстов. Еще в 50-х годах Н. А. Катагощиной было убедительно доказано, что эти тексты обнаруживают черты, свойственные западной группе диалектов [7]. Это явление объясняется сложившейся в XI—XII вв. политической обстановкой во Франции, об этом свидетельствует изучение языка памятников указанного периода. Данная точка зрения находит свое выражение в книге, где автор еще раз подчеркивает итог своего исследования, которое «дает возможность предполагать, что диалектной основой начинавшегося формироваться в XI—XII вв. французского письменно-литературного языка была западная группа диалектов с преобладающим влиянием верхненормандских говоров» (стр. 64).

Документально доказанные выводы автора являются большим вкладом в историю французского языка. Однако они имеют не только важное теоретическое значение, но и находят свое применение при отборе материала, который подвергается анализу в первой главе: в ней рассмотрены явления, характерные для так называемых общефранцузских текстов. Именно в этой главе наиболее четко и ярко проявляется методика лингвистического анализа, проводимого авторами рецензируемого труда, их подход к старофранцузскому языку в синхроническом плане.

Раздел «Фонетика» заметно отличается от подобных разделов в известных работах по истории французского языка, в которых основное внимание обращено на результаты развития звуков народной латыни в соответствующие звуки старофранцузского языка. Н. А. Катагощина, напротив, справедливо считает важнейшей своей задачей выяснить произношение гласных и согласных старофранцузского периода, смыслоразличительные функции имеющихся звуков и их системный характер (стр. 67—79). Весьма ценной, на наш взгляд, следует считать попытку дать описание звукового строя в фонологическом плане. Естественно, что в такой общей работе, какой является «История французского языка», этому вопросу можно было отвести лишь небольшое место. Приходится лишь сожалеть, что фонологический принцип в дальнейшем не всегда выдержан, особенно при анализе языка XVII—XVIII вв.

Раздел «Морфология» (стр. 79—171) ценен обилием нового материала и четким и последовательным его обобщением. Об этом можно судить даже по количеству страниц, отводимых на тот или иной разряд слов в рецензируемой работе и в других учебниках. Например, М. В. Сергиевский артиклю посвящает полстраницы [8], в то время как Н. А. Катагощиной артикль изучается на 13 страницах (стр. 86—98).

Любое положение в рецензируемой работе подтверждается многочисленными примерами, которые могут быть с большим успехом изучены на практических занятиях.

Очень важным, на наш взгляд, является сравнение с современным французским языком, что позволяет более выпукло показать особенности языка XI—XIII вв. и тенденции дальнейшего его развития. Несомненный интерес представляет описание глагола. Здесь, как и в других разделах, часто приводятся результаты самостоятельного исследования. Это касается, в частности, вопроса о значении passé composé и других сложных временных форм (стр. 146—148) и тонких замечаний Н. А. Катагощиной об употреблении времен (стр. 150—168). Автор раздела подчеркивает видо-временное значение passé composé, и правильно, на наш взгляд, считает, что эта форма не выражала еще отношения ко времени других действий (стр. 150—154). При сопоставлении употребления passé composé и passé simple делается закономерный вывод об ошибочности мнения, будто для ранне-старофранцузского языка было характерно «смешение» времен (стр. 155). Такое мнение может создаться, если рассматривать употребление времени в старофранцузском языке с точки зрения современного языка. Однако было бы по меньшей мере наивно утверждать, что французы в XI—XIII вв. не различали имеющиеся в их языке временные формы и пользовались ими без всякого разбора. На конкретных примерах показаны особенности системы времен старофранцузского глагола.

Разделы «Синтаксис» и «Лексика» написаны М. С. Гурычевой. Эти разделы по существу впервые заняли подобающее им место в руководстве по истории французского языка, где им отведено 56 стр. Как известно, вопросы исторического синтаксиса еще недостаточно разработаны в научной литературе, поэтому такое развернутое описание особенно ценно. В разделе «Синтаксис» (стр. 171—219) автор останавливается на изучении свободных словосочетаний и рассматривает порядок слов в них. Выдвинутые положения иллюстрируются многочисленными примерами. Можно лишь пожалеть о том,

[7] Н. А. Катагощина, О соотношении литературного языка и диалектов в старофранцузский период, I—II. Докт. диссерт., М., 1954; Н. А. Катагощина, Процессы формирования французского письменно-литературного языка, ВЯ, 1956, 2.

[8] М. В. Сергиевский, История французского языка, М., 1947, стр. 66.

что сюда же включено еще и рассмотрение вопроса об устойчивых сочетаниях (стр. 183—185). Этот вопрос, притом значительно подробнее, следовало бы осветить в разделе «Лексика». Некоторый интерес представляют замечания о порядке слов в предложении. М. С. Гурычева считает, что «в расположении слов в предложении наблюдается известная тенденция к определенному порядку слов» (стр. 189), в противовес распространенному мнению о свободном порядке слов в старофранцузском языке. Автор приводит данные о том, что преобладает такой порядок слов, когда определяемое стоит перед определяющим, но и не отрицает, что имеются многочисленные случаи обратного порядка слов. Убедительного объяснения наблюдаемого явления, однако, не приводится. Нет сомнения, что М. С. Гурычева права: порядок слов в старофранцузский период не был «свободным». Это на большом материале доказала Н. М. Васильева, которая приняла за единицу анализа не член предложения, а часть речи, и исходила при исследовании порядка слов из соотношения абсолютных и относительных позиций слов в предложении [9]. Менее подробно изучена лексика старофранцузского периода (стр. 220—226). В этом разделе нет ни одного примера в контексте. Мало иллюстрированы такие явления старофранцузского языка, как его богатейшая синонимика, процесс обогащения словаря и т. п. Словообразование следовало бы выделить в отдельный раздел и рассмотреть его значительно глубже и подробнее. Можно отметить правильное утверждение о том, что «обогащение лексики старофранцузского языка происходило на основе целого ряда словообразовательных моделей, созданных французским языком» (стр. 221), однако имеющиеся дальше отдельные замечания касаются лишь аффиксов. Именно исследование моделей могло бы наглядно показать процесс их специализации в ходе развития языка.

Во второй главе изучается «Среднефранцузский период (XIV—XVI вв.)» (стр. 227—271). Эта глава, написанная теми же авторами, по своему построению и содержанию хорошо связана с предыдущей. Подчеркивается, что в XIV в. ведущую роль «...играет франсийский диалект, диалект Парижа — столицы королевского домена, ставшего политическим, экономическим и культурным центром Франции» (стр. 227).

В разделе «Фонетика» (стр. 230—234) выделяются наиболее существенные факты в области произношения, к которым причислены начало становления носовых гласных и сдвиг в акцентных отношениях. Хорошо объяснено, как некоторые фонетические изменения способствовали унификации форм. Это явление постоянно подчеркивается также в разделе «Морфология» (стр. 234—259). Необходимо также отметить важность раздела об орфографии (стр. 234—237). Основные ее принципы, которые могут быть обнаружены в XIV—XV вв., помогают понять характерные особенности современной французской орфографии. Нам кажется также правильным упор, который делает М. С. Гурычева на влияние латинского языка в области синтаксиса и лексики французского языка XIV—XV вв.

Третья глава «Ранне-новофранцузский период (XVI в.)» (стр. 272—342) посвящена очень важному периоду — становлению французского национального письменного языка. Авторы бесспорно сумели показать ту важную роль, которую играл XVI в. в истории французского языка. Достаточно полно дан анализ появившихся грамматик и теории Плеяды (стр. 275—283). В разделе «Фонетика» подчеркнута также роль изменения словесного ударения во фразовое. Следует отметить, что Н. А. Катагощина приводит интересные сведения о liaison (стр. 286—288), что особенно ценно, так как это явление не рассматривалось в нашей литературе.

М. С. Гурычева наглядно осветила процесс дальнейшей унификации форм (стр. 297—298, 306—308, 318 и др.), захвативший в основном глагол, а также почти окончательное размежевание местоимений и детерминативов. Все эти изменения сказываются на формах словосочетаний, в которых устанавливается твердый порядок слов и закрепляется употребление предлогов. Эта мысль красной нитью проходит через разделы «Морфология» и «Синтаксис» (стр. 297—334) [10]. Несомненно правильным является также выделение черт, сохранившихся в современном французском языке, при анализе сложных предложений.

Можно согласиться с пониманием М. С. Гурычевой роли заимствований из классических языков в развитии лексики в XVI в. Нет сомнения, что словообразование при помощи книжных суффиксов получает уже широкое распространение. По-видимому, именно тогда в языке складываются две подсистемы словообразовательных моделей, рассмотрение которых было бы полезным для понимания дальнейшего развития моделированного словообразования во французском языке.

---

[9] Н. М. Васильева, Структура сложного предложения (на материале французского языка раннего периода), М., 1967.

[10] Дополнительный материал имеется в книге М. С. Гурычевой «Очерки по синтаксису новофранцузского языка», М., 1965.

В четвертой главе изучается «Новофранцузский период (XVII—XVIII вв.)» (стр. 343—427).

Хотя объединение XVII—XVIII вв. под названием «Новофранцузский период» не вызывает принципиальных возражений, однако изучение этих двух веков вместе представляется нецелесообразным. XVIII в., и особенно эпоха революции, имеет свои особенности, которые следовало бы рассматривать отдельно.

Книга заканчивается кратким «Заключением» (стр. 424—427), в котором авторы еще раз обращают внимание на то, что «изучение истории французского языка дает возможность проследить ряд тенденций развития, которые проявились в различных сферах языковой системы: в фонетике, морфологии, синтаксисе и лексике» (стр. 424).

Внимательное изучение рецензируемого труда позволяет сказать, что авторы имеют полное право на такое утверждение, так как они действительно сумели широко и всесторонне показать эти тенденции. Поэтому создается четкое и верное представление о путях развития всех аспектов: фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики. В этом, несомненно, большая заслуга редактора рецензируемой книги Н. М. Васильевой, которая сумела объединить в одно стройное целое работу трех авторов.

В книге приводится список использованных текстов (стр. 10—13), включающий 64 названия и свидетельствующий о большом фактическом материале, который используется авторами в соответствующих главах. В имеющемся «Приложении» (стр. 428—436) даны «Орфография и произношение в старофранцузском периоде», спряжение глаголов *aveir* и *estre* и две таблицы: «Развитие ударных гласных в отдельных слогах (галло-романский период V—VIII вв.)» и «Развитие ударных гласных под влиянием комбинаторных условий (галло-романский период V—VIII вв.)». Весь этот материал очень ценен, особенно сведения об орфографии и произношении, которые хорошо помогают студентам правильно читать старофранцузские тексты. Можно только пожелать, чтобы книга была снабжена бо́льшим количеством схем и таблиц. На стр. 437—444 приводится список литературы по разделам книги.

К книге приложена карта, которая дает представление о языковой раздробленности Франции в конце X в. Подобные карты для каждого периода были бы полезны в тексте.

Подводя итоги сказанному, следует еще раз отметить, что рецензируемая «История французского языка» не является нормативным курсом, а представляет собой интересное и глубокое теоретическое исследование. Несмотря на то, что при описании и анализе языковых фактов авторам приходится часто сталкиваться с весьма сложными и спорными вопросами, в работе нет эклектического соединения различных концепций, а имеет место постановка определенных проблем. К сожалению, в этом отношении не все главы равноценны. Постановка этих проблем важна не только для историков французского языка и всех тех, кто изучает историю французского языка, но и представляет бесспорный интерес для лингвистов вообще.

Х. М Гойдо

J. G. Nicholson. **Russian normative stress notation.** — Montreal, Macgill University press, 1968. 169 стр.

Книга Дж. Никольсона представляет собой обзор источников, откуда можно получить сведения об ударении в современном русском литературном языке. Автор понимает под современным русским языком русский язык после 1800 г. Понятие «литературный язык» трактуется автором весьма широко, поскольку его также интересуют факты, связанные с ударением, и в диалектах, и в просторечии. Автор оговаривает во введении, что под словом «Russian» он понимает «современный русский литературный язык», а словом «normative» обнаруживает свое стремление выявить искусственность многих лексикографических рекомендаций по вопросам ударения.

По мнению Дж. Никольсона, лингвисты-русисты недостаточно внимания уделяли вопросам ударения. Не вдаваясь в обсуждение этого тезиса по существу, хочется лишь отметить, что задача рассмотрения русского словесного ударения с точки зрения лиц, не владеющих русским языком, встала перед наукой о русском языке сравнительно недавно, но чрезвычайно остро. В таких условиях объяснимо, с одной стороны, возникновение требуемых практикой, но поверхностных, с академической точки зрения, пособий, а с другой — неудовлетворенное стремление иностранца найти ответы на вопросы в работах, ориентированных на русского читателя, имеющего те

знания о русском языке, которых нет у иностранца.

Работа Дж. Никольсона состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографии, указателя слов и указателя имен.

Первая глава посвящена анализу лексикографических источников с точки зрения возможности получения из них информации об ударении. Ставя среди источников такого типа на первое место по аккуратности и надежности словарь Д. Н. Ушакова, Дж. Никольсон уделяет много внимания различным акцентологическим неточностям, имеющимся в словарях. Так, на стр. 12 и 25 отмечается отсутствие в словаре Д. Н. Ушакова формы *глу́шью* при *глушь*, *глуши́*, на стр. 13 такое же отсутствие формы творительного ставится в укор Р. И. Аванесову и С. И. Ожегову («Русское литературное ударение и произношение», М., 1955). Дж. Никольсон считает недостатком нормативных словарей стремление их авторов давать не все случаи ударения, существующие в речи для данного слова, но только то (или те), которое представляется допустимым лексикографам с нормативной точки зрения. В книге несколько раз упоминается проведенный В. Л. Воронцовой эксперимент, связанный с произношением *звони́шь* — *зво́нишь* и показавший, что из 150 опрошенных студентов МГПИИЯ 73 произносят *зво́нишь*, а 61 — *звони́шь*, что, по мнению автора книги, является серьезным доводом против признания в качестве нормативной лишь формы *звони́шь*.

Видимо, уже приведенных примеров достаточно для того, чтобы показать, как интересен может быть подход к языку человека, для которого этот язык — не родной. В самом деле, для человека, родной язык которого русский, нет вопроса о месте ударения в слове *глу́шью*. Для иностранца такой вопрос существует, неправильный ответ на него «провоцируется» формой *глуши́*. Иностранец, изучавший русский язык по русским нормативным пособиям, будет удивлен, услышав произношение *зво́нишь*, в то время как для того, чей родной язык — русский, такое произношение является несомненным речевым фактом в отличие от произношения *глушью́*.

Все это лишь вновь подчеркивает необходимость создания как специальных пособий по ударению, рассчитанных на иностранцев, так и всеобъемлющего справочника по современному русскому ударению на академическом уровне. Неудовлетворенность Дж. Никольсона по поводу отсутствия такого справочника и призывы к его созданию (см. «Заключение», стр. 131—132) не могут не найти сочувствия у советских ученых-русистов.

Вторая глава рассматриваемой работы носит название «Энциклопедические источники». В ней рассказывается, в частности, о системе обозначения ударения, принятой в БСЭ и МСЭ, о том, что в первых томах БСЭ ударение не обозначается и т. д. Основным в этой главе является изложение фактов, касающихся места ударения в топонимических и антропонимических образованиях. Наибольшую похвалу автора заслуживает работа А. В. Суперанской «Ударение в собственных именах в современном русском языке» (М., 1966).

Для лингвиста, занимающегося проблемами акцентологии, наибольший интерес, видимо, должна представлять третья глава, где автор анализирует многие старые работы, специально посвященные русской акцентологии, а также новые советские и несоветские исследования. В этом, как и в предшествующих разделах, автор обнаруживает свою компетентность и аккуратность, указывая, например, на некоторые неточности в статье В. А. Редькина «О понятии продуктивности в акцентологии» («Р. яз. в нац. шк.», 1965, 2), например, на ошибочное утверждение В. А. Редькина о том, что слово *ханжа* имеет безударное окончание в именительном падеже множественного числа. Подробно рассказывается о работах В. Кипарского, Л. А. Булаховского, А. А. Зализняка, работы которых автор оценивает весьма высоко. Однако, как кажется, раздел много выиграл бы, если бы автор либо поставил перед собой чисто реферативную задачу, либо дал анализ тех идей и методов, которые в настоящее время используются при описании русской акцентологии. Автор, как кажется, хочет удержаться на первом пути — сообщить читателю о том, кто какие вопросы ставит и какие ответы на них получает. Однако отсутствие аргументированного теоретического анализа ведет автора книги к произвольным квалификациям и оценкам. Так, например, Дж. Никольсон упрекает В. А. Добромыслова и Д. Э. Розенталя за то, что они ни в чем не отступают от рекомендаций орфографического словаря и Академической грамматики в книге «Трудные вопросы грамматики и правописания» (Пособие для учителей, 2-е изд., вып. 1 — М., 1958; вып. 2 — М., 1960). Работы американского лингвиста Джоссельсона объявляются «замечательными», труды же французского профессора П. Гарда просто «заслуживают упоминания». Ясно, что претензии, предъявляемые к пособию для учителей, вряд ли могут быть признаны основательными. В то же время труды французского лингвиста заслуживают, видимо, более пристального внимания.

В четвертой главе Дж. Никольсон рассматривает в основном Академическую грамматику как источник сведений по русскому ударению, давая ей весьма высокую оценку.

Большим достоинством книги является библиография, которую следует рекомендовать всем, занимающимся вопросами русской акцентологии.

В «Заключении» автор говорит о необходимости создания академического справочника по русскому ударению, считая существенным для этой работы следующие семь пунктов: 1) четкая система обозначений; 2) системное понимание ударения; 3) охват различных частей речи; 4) наблюдения над варьированием ударения в русских диалектах и восточноевропейских языках в целом; 5) признание более чем одного нормативного варианта, если это соответствует фактам; 6) рассмотрение подвижности ударения в статистическом аспекте; 7) определение типов ударения, существующих в языковом сознании образованных людей, говорящих по-русски.

Указанные пункты, по мнению Дж. Никольсона, недостаточно учитываются в существующих работах по русской акцентологии; однако лишь констатация этого негативного обстоятельства вряд ли может служить вполне достаточной основой для предлагаемой автором и, конечно же, нужной работы.

В целом книга Дж. Никольсона показывает его обширные и точные знания об ударении в русском языке и о работах, посвященных этому вопросу. Книга очень аккуратно написана и хорошо издана. Она будет полезна всякому, приступающему к изучению литературы о русском ударении.

И. Г. Милославский

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

О СТЕПЕНЯХ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Исследованию степеней сравнения прилагательных в тюркских языках совсем недавно посвящены две кандидатские диссертации. В одной из них утверждается, что в турецком языке имеется шесть степеней сравнения прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная, усилительная, уменьшительная, увеличительная [1]. Во второй на материале азербайджанского языка насчитывается четыре степени сравнения прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная, уменьшительная [2]. При этом оба диссертанта опирались в основном на одну и ту же литературу и оба заметили существенный разнобой во взглядах тюркологов на принципы классификации степеней сравнения имен прилагательных, на их количество, названия, а также на способы образования степеней сравнения прилагательного [3].

Действительно, каждый исследователь старается решить этот вопрос по-своему, смешивая разные языковые явления и разные категории, что безусловно «затрудняет научное понимание природы исследуемой категории и ее преподавание в средних и высших учебных заведениях по единой системе» (А. Г. Эйвазов, стр. 3).

Как же решена эта проблема в разбираемых диссертациях? Количество объявленных диссертантами степеней сравнения прилагательных для каждого из двух исследуемых близких тюркских языков оказалось разным, и это результат того, что отнесение тех или иных форм и конструкций к тем или иным степеням решалось по-разному каждым диссертантом. Этот разнобой легко обнаруживается при сравнении авторефератов. Бросается в глаза неправомерное отнесение Б. М. Тагиевым к сравнительной степени конструкции типа *инчәдән инчәдир* «тоненький из тоненьких есть» (стр. 16), а к превосходной степени — словосочетаний типа *чох јаман* «очень плохой»

---

[1] А. Г. Эйвазов, Степени имен прилагательных в современном турецком литературном языке (с привлечением материалов из других тюркских языков). Автореф. канд. диссерт., Баку, 1964, стр. 9.

[2] Б. М. Тагиев, Степени имен прилагательных в азербайджанском языке (на основе материалов XIV—XX вв.). Автореф. канд. диссерт., Баку, 1965, стр. 11—27.

[3] См.: А. Г. Эйвазов, указ. соч., стр. 3; Б. М. Тагиев, указ. соч., стр. 5, 8. (далее страницы цитируемых авторефератов приводятся в тексте).

(стр. 16) и таких слов, как *аричэ* «чистенький» (стр. 26). А. Г. Эйвазов без достаточных оснований отнес к превосходной степени словосочетания типа *oldukça güzel* «довольно красивый» и *pek güzel* «очень красивый» (стр. 11), а к увеличительной степени — такие слова, как *incecik* «узенький» и *küçücük* «малюсенький» (стр. 16). Непонятна семантика и назначение усилительной степени сравнения прилагательных.

Неясное представление о предмете исследования послужило причиной тому, что диссертанты отнесли к степеням сравнения прилагательных такие словосочетания, как «очень хороший», «светло-синий», «немного возбужденный», «с красным оттенком», «совершенно белый», «большой-пребольшой» и т. д., а также такие самостоятельные слова, как «желтоватый», «хорошенький» и др.

Известно, что степени сравнения прилагательных в русском языке рассматриваются как грамматическая категория, образующая систему форм того или иного прилагательного, причем эти формы, хотя и употребляются в языке вместе с существительными, рассматриваются сами по себе. Так, например, русск. прилагательное *большой* (положительная степень) имеет форму сравнительной степени *бóльший* (*больше*) и форму превосходной степени *наибольший*. Таким образом, это — система форм прилагательных, состоящая из совокупности взаимозависимых элементов. И если в русском языке возможно выражение степеней сравнения аналитическим способом, то этот способ рассматривается как вспомогательный, связанный с основными грамматическими формами сравнения, от них зависящий и им подчиненный. В самом деле, ряд аналитических форм сравнения прилагательных (*красивый — более/менее красивый — наиболее, самый/наименее красивый*) совсем не идентичен с рядом нарастающих степеней сравнения прилагательных (*красивый — красивее — наикрасивейший*). Более того, легко заметить, что аналитические формы разрушают стройную систему нарастающих степеней сравнения прилагательных в русском языке, образуя менее стройную систему.

В турецком языке нет системы форм прилагательных, образующей ряд нарастающих степеней сравнения, как нет ее и в азербайджанском и в других тюркских языках. Аналитические формы сравнения не составляют в этих языках никакой системы. Однако два молодых научных сотрудника усмотрели проблему, требующую решения, и взялись за ее разработку. Естественно, они встретились с огромными трудностями, исследуя, то, что отсутствует в тюркских языках. Не помогло им ни обращение к языку литературных произведений и исторических памятников письменности, ни изучение тюркологической литературы, которая в целом страдает теми же недостатками, что и разбираемые диссертации.

Разнобой и путаница в данном вопросе объясняется тем, что авторы учебников и грамматик по тюркским языкам, как это давно установлено, копируют русскую грамматику и стараются в исследуемых языках найти все то, что есть в русском языке. Так появились в грамматиках по тюркским языкам степени сравнения прилагательных; при этом явно смешивались разные грамматические и лексические категории и придумывались малопонятные термины вроде «степени прилагательных».

Фактически авторы учебников и грамматик тюркских языков смешивают по меньшей мере три языковых явления: 1) степени сравнения прилагательных (*большой — бóльший — наибольший*); 2) степени качества прилагательных (*большой, большой-пребольшой, большущий, большенький* и т. д.), 3) синтаксические конструкции, выражающие сравнение предметов и явлений (*Мой стол больше, чем стол моего отца*; *Мой стол такой же большой, как и стол моего брата* и т. д.).

Примерно так же обстоит дело с грамматиками на турецком языке, ибо турецкие языковеды стараются показать, что в турецком языке есть все то, что обнаружено в западноевропейских языках. К тому же А. Г. Эйвазов, не сумев как следует разобраться в турецких грамматиках, смешал то, что большинство турецких языковедов так или иначе разделяет на степени сравнения, на степени качества и на грамматические конструкции (см. А. Г. Эйвазов, стр. 4 и 5).

Из западноевропейских языковедов Ж. Дени признавал только одну форму как грамматическую форму сравнения прилагательных, выражающую превосходную степень: она конструируется с помощью частицы *en* («частица превосходной степени или усилия, прибавляется не только к прилагательным, но и к существительным и даже к наречиям»)[4]. Большинство тюркологов — отечественных и западноевропейских — выделяет в турецком языке две степени, сравнительную и превосходную, а всякие другие сравнительные формы и конструкции не включает в систему степеней сравнения прилагательных, поскольку они не выражают сравнения предметов по степени их качества (см. А. Г. Эйвазов, стр. 6).

Итак, появление двух специальных диссертаций по проблеме степеней сравнения прилагательных не продвинуло решение данной проблемы ни в турец-

[4] Д. А. Магазаник, Турецко-русский словарь, М., 1945, стр. 172.

ком, ни в азербайджанском, ни в иных тюркских языках, где она по-прежнему остается нерешенной, спорной и запутанной.

Принципиально важным для определения степеней сравнения прилагательных является то, что сравнивается: сравниваются ли между собой степени качества какого-либо прилагательного, оформленного разными формантами, или сравниваются между собой разные предметы при помощи особых конструкций. В русском языке имеется система форм сравнения прилагательных, т. е. сравниваются степени качества прилагательного, выраженного в той или иной форме сравнения, вне связи с определяемыми именами. В тюркских языках, где такой системы форм сравнения прилагательных нет, могут сравниваться между собой только имена, обозначающие предметы, причем прилагательные обычно остаются в своей изначальной форме, не принимая никаких дополнительных формантов, а само сравнение реализуется синтаксическим способом.

В русском языке степени сравнения прилагательных используются для сравнения предметов между собой. Вот это результативное назначение русских степеней сравнения и принято исследователями тюркских языков за главное и основное, а отсюда началось выявление возможных способов для выражения сравнения предметов в тюркских языках и появилось страстное желание во что бы то ни стало увязать эти разнообразные способы сравнения со степенями сравнения прилагательных.

Можно утверждать, что в тюркских языках степеней сравнения прилагательных как грамматической системы форм не существует. Степени сравнения морфологическим способом не образуются ни в турецком, ни в азербайджанском языке. Все образования, отнесенные диссертантами к степеням сравнения, носят лексический характер, так как при помощи всевозможных аффиксов образуются новые слова с уменьшительными или увеличительными значениями. Такие образования являются не чем иным, как формами выражения степеней качества прилагательных, которые никак нельзя смешивать со степенями сравнения прилагательных. Что касается синтаксического способа образования степеней сравнения, то в этом случае речь может идти только о синтаксических конструкциях, служащих для сравнения предметов по качеству, а не о сравнительных формах прилагательных, поскольку в этих конструкциях прилагательные не принимают никаких специальных формантов.

К. М. Любимов

*

В рецензии И. А. Мельчука на сборник «Автоматизация в лингвистике» (ВЯ, 1968, 1) обращает на себя внимание не вполне обычное для этого жанра обстоятельство: большая ее часть не имеет прямого отношения к рецензируемым материалам. По-видимому, основной смысл выступления состоял в том, чтобы привлечь внимание читателей-неспециалистов к проблемам лингвистики, касающимся автоматизации. Однако некоторые моменты не получили в рецензии объективного освещения и могут вызвать превратные мнения о чрезвычайно сложных вопросах теории языка и актуальных задачах организации исследовательской работы. Это и вызывает необходимость дать ряд разъяснений.

И. А. Мельчук оперирует понятием «лингвистическая автоматизация», развивая свое понимание (стр. 141—144), которое сложилось в последние два — три года на основе терминологического перехода от машинного перевода (МП) через посредство автоматического перевода (АП) к «лингвистической автоматизации», которая в таком понимании расширяется до автоматизации всей лингвистики [1]. Однако эта концепция не имеет отношения к сборнику, который посвящен другой теме, более конкретной и частной — применению вычислительных машин для выполнения технических операций по сбору и систематизации языковых данных.

Книга имеет весьма скромное назначение — познакомить широкие круги лингвистов и филологов с первыми опытами применения счетно-аналитических и электронных вычислительных машин (ЭВМ) в языковедческой, преимущественно текстовой работе. Если оставаться в кругу указанных задач, то очевидно, что материалы книги не утратили своего значения до сих пор. Программы для автоматического счета слов и фраз далеко не стали еще тривиальностью, а эксперименты по анализу синтаксических структур пока носят скорее разведочный характер.

[1] Более подробно такое понимание АП И. А. Мельчук изложил в предисловии к критико-библиографическому справочнику: И. А. Мельчук, Р. Д. Равич, Автоматический перевод. 1949—1963, М., 1967, стр. 8, 9.

Привлечение к переводу ранних публикаций Р. Буза и Б. Кемада отражает историю разработки вопроса и является данью зачинателям той автоматизации, которая была поставлена на службу самой лингвистике с ее эмпирическими, насущными задачами.

Успехи автоматизации делают необходимым различение задач технической автоматизации (по преимуществу машинной) и задач кибернетической автоматизации (в основе своей безмашинной), которая покрывает раздел моделирования языковых систем и шире — процессов переработки языковой информации. Можно дискутировать по поводу наименования этих разных аспектов «автоматизации»[2], но необходимо избегать смешения разных понятий.

И. А. Мельчук стоит на такой позиции, которая приводит к противоречиям, нежелательным в научном споре. Рецензент указывает по существу на единственный недостаток сборника — «... из десяти статей семь мало или вовсе не подходят для включения в сборник» (стр. 139), причем аргументируется это весьма необычно: вначале категорически отрицается научное значение машинных экспериментов, описанных в книге, а во второй части рецензии перечисляются как важные те же самые задачи, часто с отсылкой на те же самые статьи или на аналогичные работы (см. стр 142, примеч. 9 и 12)[3]. Легко убедиться в этом, сопоставляя цитаты из первой и второй части рецензии (ср. стр. 139 и 142, примеч. 10 и стр. 142, 143).

Заметим, что сборник, представляющий собой первый опыт перевода статей по автоматизации, обсуждался на заседании Сектора структурной и прикладной лингвистики ИЯ АН СССР, был одобрен и рекомендован к печати. Никаких критических замечаний ни по составу, ни по оформлению книги не было сделано. В числе других отзыв подписал и И. А. Мельчук. Какие же веские основания возникли за это время для того, чтобы публично отказываться от первоначального признания этой книги?

Тенденция к смешению принципиально разных аспектов автоматизации — применение ЭВМ и построение автоматически действующих моделей языка — свидетельствует о том, что назрела необходимость провести широкое обсуждение в печати этой центральной проблемы современной синхронической лингвистики и, в частности, открыто заявить об иллюзиях и реальности автоматического перевода. Полезно было бы внести ясность в отношения между структурной и прикладной лингвистикой, между теорией языка и современной техникой в языкознании. Эти вопросы имеют важное значение как для развития научных направлений, так и для практической организации работы новых отделений, кафедр и лабораторий.

Л. Н. Засорина

[2] Для подсобной дисциплины, имеющей дело с применением ЭВМ для выполнения механических операций по обработке текста, можно предложить название «механолингвистика». Вряд ли целесообразно закрепллять термин «автоматизация» за таким разделом языкознания, как теория моделей языка и формализация описаний языка; здесь более подходит термин «моделирование языка»

[3] При этом И. А. Мельчук ссылается на работы, которые написаны на русском языке и которые, естественно, выходят за рамки сборника переводов. Обильная библиография в рецензии содержит также указания на работы, которые появились после того, как книга была составлена.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1968

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

5 мая 1968 г. состоялось юбилейное совместное заседание Ученых советов Института языкознания и Института русского языка АН СССР, посвященное 150-летию со дня рождения Карла Маркса.

В докладе Ю. Д. Дешериева (Москва) «Социология Карла Маркса и ее значение для науки о языке» отмечалось, что учение К. Маркса о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления послужило прочным теоретическим фундаментом для развития общественных наук, в том числе и языкознания. При исследовании социально-обусловленных закономерностей возникновения и развития языка и сознания советские языковеды руководствуются основными положениями диалектического и исторического материализма, марксистско-ленинской социологии. Ю. Д. Дешериев отметил, что в соответствии с этими положениями по мере дальнейшего развития человечества должно будет возрастать активное направляющее воздействие общества на функционирование, развитие и взаимодействие языков мира. Пример этому — достижения советского языкознания в области разработки проблем развития и взаимодействия языков, создания письменности и формирования литературных языков.

Доклад М. Д. Джунусова (Москва) был посвящен актуальным вопросам теории и практики социалистического интернационализма. Пролетарский, социалистический интернационализм рассматривался в двух планах: 1) как составная часть социально-политических учений марксизма-ленинизма, 2) как идеология и политика рабочего класса в области национального вопроса. Примером реализации на практике идей пролетарского интернационализма и прежде всего основного принципа — равноправия наций и национальных языков — является опыт формирования многонационального советского народа. Вместе с тем, подчеркнул М. Джунусов, равноправие языков не означает одинаковости их социальных функций, а это ставит вопрос о необходимости языка межнационального общения.

В докладе И. П. Мучника (Москва) «Карл Маркс и вопросы диалектики в языкознании» указывалось, что учение Маркса сыграло первостепенную роль в решении важнейшей проблемы лингвистической науки — определения сущности языка, которая впервые получила в трудах Маркса и Энгельса строго материалистическое объяснение.

Одна из основных задач лингвистики — выявление сложного комплекса противоречий, определяющих разнообразие форм функционирования, изменения и развития языка и речи в целом. Динамическая, исторически изменчивая система языка подчинена основному закону диалектики — закону единства и борьбы противоположностей. Существующие в языке противоречия, по мнению докладчика, можно назвать языковыми антиномиями в связи с тем, что каждое конкретное разрешение любого из этих противоречий порождает новые противоречия, которые являются постоянным стимулом внутреннего развития языка. Будучи определены сущностью языка как важнейшего средства общения, эти антиномии отнюдь не асоциальны.

Динамическое действие антиномий было продемонстрировано И. П. Мучником на примере морфологии как достаточно устойчивого языкового яруса Наиболее значительным стимулом развития морфологической системы русского языка является антиномия кода и текста. В тех случаях, когда перевес оказывается на стороне текста, его следствием является наблюдающаяся в русском языке тенденция к аналитизму (ср. рост групп двувидовых глаголов, последовательное сокращение числа падежных флексий существительных наряду с расширением групп полностью не изменяемых существительных и т. д.). Антиномия, обусловленная асимметричностью языкового знака, впервые сформулированная С. Карцевским, заключается в том, что в структуре языкового знака означающее и означаемое находятся в состоянии перманентного конфликта: означающее стремится к приобретению новых значений, означаемое к приобретению новых средств своего выражения. Примером морфологических изменений, обусловленных асимметричностью морфем как лингвистических знаков, может служить образование значительной по своему лексическому охвату группы имен существительных общего рода типа *врач*, *педагог*, при

которых определяющие их слова могут выступать в форме как мужского, так и женского рода.

Наиболее остро антогонизм между узусом и возможностями морфологической системы выступает в условиях, когда под влиянием тех или иных социальных факторов круг отступлений от действующих норм расширяется настолько, что вырисовывается процесс формирования новой нормы (ср. расширение круга употреблений конструкций типа *директор распорядилась*).

Экспрессивные формы речи только в редких случаях выражаются морфологическими средствами, поэтому действие антиномии чисто информационной и экспрессивной функций в морфологии ощущается значительно слабее, чем в других ярусах языковой системы (так, формы род. падежа ед. числа существительных муж. рода на *-а — -у*, первоначально выступавшие в качестве носителей грамматических и стилистических различий, эволюционируют в направлении чисто стилистических различителей).

В. И. Постовалова (Москва)

*

29—31 мая 1968 г. в Саратове состоялось IV совещание по Общеславянскому лингвистическому атласу (ОЛА), организованное Комиссией ОЛА при Международном комитете славистов, Институтом русского языка АН СССР, Поволжским координационным советом по гуманитарным наукам и Саратовским гос. университетом им. Н. Г. Чернышевского. В работе совещания приняло участие 68 представителей более чем 20 научно-исследовательских институтов и вузов Советского Союза. Тезисы большей части докладов опубликованы [1].

Первое заседание было посвящено организационным прблемам ОЛА. В докладе Р. И. Аванесова (Москва) «О состоянии работы по Общеславянскому лингвистическому атласу и задачах на 1968—1969 гг.» в сообщениях Ф.Т. Жилко (Киев), А. А. Кривицкого (Минск) и Л. И. Баранниковой (Саратов) были подведены итоги работы по ОЛА на территории РСФСР, УССР, БССР и отмечена необходимость активизации сбора материала, особенно в пределах РСФСР и Украины.

Совещание уделило большое внимание методике собирания и описания диалектных фактов для Общеславянского лингвистического атласа. Р. И. Аванесов говорил о принципах фонологического описания говоров; большой интерес вызвали содержащиеся в докладе В. Ф. Коноповой (Москва) подробный анализ уже собранных для ОЛА материалов и конкретные рекомендации по повышению качества присылаемых ответов. Об особенностях работы над семантическим разделом программы сообщалось в докладе Г. П. Бондарук (Москва). И. А. Попов (Ленинград), сопоставляя лексические записи по программе ОЛА, сделанные в д. Княщина Волховского района Ленинградской области, с предшествующими фиксациями, рассмотрел процесс перехода лексики из активного запаса в пассивный и показал необходимость и способы использования в полевой работе литературы об изучаемых говорах. Методика собирания и изучения терминов родства, выделенных в самостоятельный раздел «Вопросника» ОЛА, описывалась на материале рязанских говоров в докладе А. М. Шарапповой (Рязань). С докладом «К вопросу о картографировании лексико-семантических особенностей народных прозвищ в говорах украинского языка» выступил И. Д. Сухомлин (Днепропетровск), сообщивший о результатах пробного картографирования антропонимических особенностей говоров Среднего Поднепровья. Характеристике русских говоров на территории Молдавской ССР был посвящен доклад И. Д. Гриценко (Кишинев). Участники совещания имели возможность ознакомиться с образцами полевых записей и обработанных материалов, прослушать магнитофонные записи, сделанные на разных территориях.

В целом ряде докладов рассматривались конкретные диалектные явления, охватываемые «Вопросником» ОЛА. В. И. Чагишева (Ленинград) остановилась на семантических особенностях русских диалектных слов с приставкой *су-*; варианты значения слова *посёстра* в славянских языках и характер бытования его в брянских говорах явились темой доклада А. М. Родионовой-Нащокиной (Ленинград); с докладом «Некоторые фонетико-морфологические особенности говора дер. Княщина Волховского района Ленинградской области» выступила Е. Л. Луппова (Ленинград); лексико-морфологическому своеобразию и диахронной стратификации указательных слов в севернорусских говорах был посвящен построенный на обширном материале доклад Г. Я. Симиной (Ленинград). Вопросы диалектной фонетики рассматривались в докладах Т. С. Ворошиловой (Калуга) и А. М. Залесского (Киев).

Вопросы типологического анализа лексики ставились в докладе Е. Л. Кривченко (Саратов), рассматривавшей

[1] «Совещание по общеславянскому лингвистическому атласу. 28—31 мая 1968 г. Саратов. Тезисы докладов», М., 1968.

особенности лексико-грамматической сочетаемости и соотношения компонентов лексического значения группы каузативных глаголов в русском и южнославянских языках, и в докладе В. Е. Гольдина (Саратов), показавшего возможности восстановления древних смысловых отношений («дом» — «могила, погребение») на основе подхода к некоторым свойствам тематических групп как к диалектным соответственным явлениям. Пути исторической интерпретации разного типа территориальных характеристик слов были предметом доклада А. А. Кривицкого «Территориальные группы белорусских названий фронтона и их относительная хронология».

Общей синхронной характеристике специфики собственно диалектного пласта в словарном составе диалекта был посвящен доклад Л. И. Баранниковой «О месте собственно диалектных слов в диалектных лексических системах». А. Б. Пеньковский (Владимир) в докладе «К проблеме генезиса безличных предложений» сделал попытку использовать данные говоров Западной Брянщины для подкрепления взгляда на безличные предложения как на особый вариант двусоставной личной конструкции и наметил возможности уточнения той части «Вопросника» ОЛА, которая предусматривает анализ безличных предложений. Ф. Т. Жилко в докладе «Разграничительные фонетические средства украинского языка» рассмотрел свойственные разным группам украинских диалектов правила сочетания фонем на границах морфем и слов.

Совещание приняло развернутую резолюцию, подводящую итоги работы по ОЛА. Следующее совещание намечено провести в мае — июне 1968 г.

В. Е. Гольдин (Саратов)

*

II Тюркологическая конференция, организованная ЛО Института народов Азии АН СССР и проходившая с 11 по 14 июня 1968 г. в Ленинграде, была посвящена памяти выдающегося русского востоковеда-тюрколога академика Василия Васильевича Радлова (1837—1918), одного из основоположников отечественной тюркологии. Многочисленные научные труды В. В. Радлова не потеряли своего значения и до сего дня, однако, как отметил, открывая конференцию чл.-корр. АН СССР А. Н. Кононов (Ленинград), они еще не нашли должной оценки в советской тюркологии.

В работе конференции, кроме ленинградских, приняли участие ученые Москвы, Казани, Баку, Тбилиси, Ташкента, Алма-Аты, Фрунзе, Кызыла, Тарту, Будапешта. Программа конференции состояла из двух пленарных заседаний, на которых были прочитаны доклады, раскрывающие многогранную деятельность В. В. Радлова в разных областях тюркологии, и симпозиумов по двум темам: лингвистической — «Фонетическая и морфологическая структура слова в тюркских языках» — и историко-культурной — «Уйгуры и их роль в этнической и культурной истории Центральной Азии и Южной Сибири».

Раскрытию общего значения научных трудов В. В. Радлова по истории, этнографии, культуре и языкам тюркских народов, благодаря которым тюркологическая наука поднялась на новую ступень, был посвящен содержательный доклад А. Н. Кононова «В. В. Радлов и отечественная тюркология».

В других докладах освещались отдельные направления научной деятельности ученого. История формирования его лингвистических взглядов, а также изложение его фонетической и грамматической концепции нашли отражение в докладе Э. Р. Тенишева (Москва) «Радлов — фонетист и грамматист». Деятельность В. В. Радлова — собирателя, издателя и одного из первых интерпретаторов древнейших письменных памятников тюркских языков была освещена в докладах А. М. Щербака (Ленинград) «Радлов и изучение рунических памятников» и Д. М. Насилова (Ленинград) «Радлов и изучение древнеуйгурских памятников». Докладчики рассказали о принципах издания ученым этих памятников и охарактеризовали его взгляды на место языка памятников среди других древних и современных тюркских языков. Л. Ю. Тугушева (Ленинград) в докладе «Радлов — лексикограф и лексиколог» раскрыла значение известных лексикографических трудов ученого. В докладе Г. Ф. Благовой (Москва) «Радлов и изучение тюркской топонимии» на богатейших материалах, сосредоточенных в работах исследователя, прослеживалась методика полевого сбора топонимов, ничуть не уступающая современной, и приемы топонимического анализа.

В докладе акад. АН КазССР М. С. Сильченко (Алма-Ата) «Радлов и изучение тюркского фольклора» основное внимание уделялось раскрытию вклада В. В. Радлова в комплексное изучение тюркского народного стиха. Высокую оценку деятельности В. В. Радлова по собиранию и изданию фольклорных материалов, отличающихся точностью записи и яркими переводами, дал в своем выступлении акад. В. М. Жирмунский (Ленинград), предложивший к тому же издать оба тома «Aus Sibirien» в русском переводе.

Деятельность ученого в области исследования истории и культуры народов Центральной и Средней Азии, Южной Сибири и Алтая раскрывалась в докладе

С. И. Вайнштейна (Москва) и С. Г. Кляшторного (Ленинград) «Радлов — историк, этнограф и археолог».

Основы изучения фонетической и морфологической структуры тюркского слова заложены лингвистическими трудами В. В. Радлова. Это было подчеркнуто не только выступившим при открытии симпозиума по данной теме Э. В. Севортяном (Москва), но и другими участниками симпозиума. Исключительно фонетическим особенностям структуры слов в тюркских языках были посвящены выступления А. М. Щербака и С. А. Атамирзаевой (Ташкент), указавшей на некоторые характерные особенности фонетической структуры узбекского слова. А. М. Щербак остановился на анализе слога как комплексной фонологической единицы и на возникающих при этом некоторых спорных вопросах структуры древнетюркского слога, который, по его мнению, имел организацию, сходную со структурой слога в современных тюркских языках.

В сообщениях и выступлениях других участников симпозиума (а их было прослушано 16) основное внимание уделялось проблемам морфологической структуры слова и связанным с ней фонетическим явлениям. Э. В. Севортян (Москва) рассматривал последовательности морфем в словах разной морфологической структуры в связи с грамматическим строением компонентов слова, а также типы морфологического членения слова на лексическую и грамматическую части в плане синхронии.

Г. П. Мельников (Москва) в своем сообщении попытался показать взаимосвязь между морфологической и фонологической структурой слова в тюркских языках с позиций системного подхода, при котором равное внимание уделяется как структуре, так и субстанции языка.

Отдельные факты фонетической и морфологической структуры слова в различных тюркских языках затрагивались также в выступлениях на симпозиуме В. И. Асланова (Баку), Г. Ф. Благовой, Ф. А. Ганиева (Казань), В. Г. Гузева (Ленинград), А. Н. Кононова, Л. А. Покровской (Москва), А. М. Щербака. В выступлениях Г. И. Кара (Венгрия), Т. А. Бертагаева (Москва), В. И. Цинциус (Ленинград) к сопоставлению привлекались фонетические и морфологические структуры слова в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках.

На заседаниях симпозиума по теме «Уйгуры и их роль в этнической и культурной истории Центральной Азии и Южной Сибири» поднимались вопросы взаимодействия древних тюркских языков между собой и их отношения к современным в свете проблемы этногенеза древних уйгуров и некоторых современных тюркоязычных народов (выступления С. И. Вайнштейна, Э. Р. Тенишева, А. М. Щербака, Г. И. Кара и др.). Участники конференции прослушали также информационные сообщения Н. А. Баскакова (Москва) и В. И. Цинциус об очередной сессии «Постоянной международной алтаистической конференции» (PIAC), проходившей 2—6 июня 1968 г. в Копенгагене.

В принятой на конференции резолюции указывается на важность и полезность объединения усилий ученых при разработке кардинальных научных проблем тюркологии и периодических встреч ученых для их обсуждения.

Конференция считает необходимым издание «Избранных трудов» В. В. Радлова на русском языке. Было принято обращение к издательству «Советская энциклопедия» и к главной редакции восточной литературы издательства «Наука» с просьбой ускорить публикацию двух лексикографических трудов Э. Н. Наджипа — «Уйгурско-русский словарь» и «Историко-сравнительный словарь тюркских языков XIV в.».

В 1969 г. намечено провести в Ленинграде III Тюркологическую конференцию, посвятив ее столетию со дня рождения П. М. Мелиоранского.

В. Г. Гузев, Д. М. Насилов (Ленинград)

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Приводимый список подтверждает получение присланных в редакцию книг. Редакция благодарит издательства и авторов, направивших книги в адрес редакции журнала «Вопросы языкознания». Редакция сообщает, что она не может гарантировать рецензирование всех присланных в редакцию книг. Рецензии помещаются в зависимости от возможностей и от профиля журнала, два экземпляра оттисков рецензии высылаются издателям или авторам. Присланные книги не возвращаются.

Годишњак филозофског факултета у Новом Саду. X. 1967. 569 стр.
Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české. III — Praha, 1968. 296 стр.
Nordica et anglica.— Mouton, 1968 196 стр.
Onomastica slavogermanica. III.— Berlin, 1967. 248 стр.
Slavistische Beiträge.— Berlin, 1967. 296 стр.
Studies in the modern Russian language.— Cambridge, 1967. 129 стр.
М. Н. Кожина. О специфике художественной и научной речи в аспекте функциональной стилистики.— Пермь, 1966. 212 стр.
E. J. Brière. A psycholinguistic study of phonological interference.— Mouton, 1968. 84 стр.
J. Dietze. August Schleicher als Slawist.— Berlin, 1966. 210 стр.
E. Eichler Die slawistischen Studien des Johann Leonhard Frisch.— Berlin, 1967. 165 стр.
W. Fleischer. Strukturelle Untersuchungen zur Geschichte des Neuhochdeutschen.— Berlin, 1966. 120 стр.
H. H. Hess. The syntactic structure of Mezquital Otomi.— Mouton, 1968. 159 стр.
A. V. Isačenko. Sprachwissenschaft und Akustik.— Berlin, 1966. 18 стр.
J. Lyons, Introduction to theoretical linguistics.— Cambridge, 1968. 519 стр.
K. L. Miller. The linguistic relativity principle and Humboldtian ethnolingiustics.— Mouton, 1968. 127 стр.
D. H. Obrecht. Effects of the second formant on the perception of velarization consonants in Arabic.— Mouton, 1968. 104 стр.
J. Praninskas. Trade name creation.— Mouton, 1968. 115 стр.
G. Sauer. Die Nominalbildung im Ostjakischen.— Berlin, 1967. 254 стр.
H. G. Schogt. Le système verbal du français contemporain.— Mouton, 1968. 74 стр.
M. Shapiro. Russian phonetic variants and phonostylistics.— University of California Press, 1968. 55 стр.

*

Реферати на македонските слависти за VI мегúнароден славистички конгрес во Прага.— Скопје, 1968, 137 стр.
Les machines dans la linguistique.— Prague, 1968. 336 стр. Jazykovědné aktuality. 2, 1968. 52 стр.
Slovo a slovesnost. XXIX, 2, 1968. Стр. 113—224.
А. П. Дульзон. Кетский язык.— Томск, 1968. 631 стр.
R. Engler. Lexique de la terminologie saussurienne.— Utrecht/Anvers, 1968. 53 стр.
I. Grek — Pabisowa. Rosyjska gwara starowierców w województwach Olsztyńskim i Białostockim.— Wrocław — Warszawa — Kraków, 1968. 199 стр.
L. Hjelmslev. Die Sprache.— Darmstadt, 1968. 183 стр.
R. Jakobson. Child language aphasia and phonological universals.— Mouton, 1968 101 стр.
F. Kiefer. On emphasis and word order in Hungarian.— Bloomington, 1967. 243 стр.
E. Stankiewicz. Declension and gradation of Russian substantives.—Mouton, 1968. 173 стр.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1968 г. (№№ 1—6)

СТАТЬИ

Белич Я. — Состояние и задачи чешской диалектологии 4
Виноградов В. В. — Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры 1
Жирмунский В. М. — О некоторых проблемах теории тюркского народного стиха 1
Карась М.— Некоторые проблемы польской диалектологии 5
Михалк С. — Исследовательская работа по сербо-лужицкой диалектологии 4
Назарова Т. В.— Современное состояние и перспективы развития украинской диалектологии 5
Рождественский Ю. В. — О лингвистических универсалиях 2
Успенский Б. А. — Отношения подсистем в языке и связанные с ними универсалии 6
Церетели Г. В. — О языковом родстве и языковых союзах 3
Штольц Й.— Состояние, проблемы и задачи словацкой диалектологии . . 4

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Апресян Ю. Д.— Об экспериментальном толковом словаре русского языка 5
Бернштейн С. Б.— Введение в славянскую морфонологию 4
Вуйтович Я. — К вопросу о происхождении мазурения 4
Гаджиева Н. З. — О методах сравнительно-исторического анализа синтаксиса 3
Гельгардт Р. Р. — О стилистических категориях 6
Георгиев В. И.— Фонематический и морфематический подход к объяснению флексии славянских языков 4
Климов Г. А.— О гипотезе внутреннего родства кавказских языков 6
Колшанский Г. В.— Проблемы стратификации языка 2
Конецкая В. П.— О понятии супплетивизма и его соотношении с гетеронимией 2
Лихтман Р. И.— Существует ли безаффиксный способ словообразования в русском языке? 2
Лосев А. Ф.— О возможности сближения лингвистики классической и лингвистики структуральной 1
Майтинская К. Е.— К типологии генетической связи личных и указательных местоимений разных систем 3
Мартиросов А. Г. — К генезису личных и указательных местоимений в картвельских языках 3
Маслов Ю. С.— Об основных и промежуточных ярусах в структуре языка 4
Николаева Т. М.—О соотношении сегментных указателей и суперсегментных языковых средств 6
Пазухин Р. В.— О месте языка в семиологической классификации 3
Рясянен М.— Об урало-алтайском языковом родстве 1
Серебренников Б. А. — К проблеме происхождения форм объектного спряжения в уральских языках 5
Скрелина Л. М.— Из наблюдений над языковыми изменениями 1
Стеблин-Каменский М. М.— Возможно ли планирование языкового развития? 3
Степанов Ю. С.— Проблема классификации падежей 6
Туманян Э. Г.— Морфологический анализ индоевропейских терминов, обозначающих животных, в армянском языке 5
Хаймович Б. С.— О единицах грамматической сферы 6

Черкасова Е. Т. — Опыт лингвистической интерпретации тропов 2
Шайкевич А. Я.— Опыт статистического выделения функциональных стилей 1
Шведова Н. Ю.— Существуют ли все-таки детерминанты как самостоятельные распространители предложений? 2

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Авилова Н. С.— Двувидовые глаголы с заимствованной основой в русском литературном языке нового времени. 5
Ачарян Р.— Армяно-славянские изоглоссы 5
Бертагаев Т. А.— Сингармонизм, ударение и изменение звукового состава слова 2
Благова Г. Ф.— Тюркский аффиксальный плеоназм в сравнительно-историческом и ареально-лингвистическом освещении 6
Бондарко А. В.— Общие и частные значения грамматических форм . . . 4
Бондарко Л. В., Зиндер Л. Р., Светозарова Н. Д.— Разграничение слов в потоке речи 2
Гаспаров М. Л.— Тактовик в русском стихосложении XX в. 5
Дерягин В. Я., Комягина Л. П.— Из истории диалектных границ в северной России 6
Клепикова Г. П., Попова Т. В.— О значении данных лингвистической географии для решения некоторых вопросов истории болгарского языка 6
Колесов В. В.— К фонетической характеристике редуцированных гласных в русском языке XI в. 4
Коростовцев М. А.— Некоторые факты новоегипетского языка в освещении трансформационной грамматики 2
Кручинина И. Н. — Конструкция с местоимением *который* в современном русском языке 2
Лыткин В. И.— Лабиализованные гласные среднего ряда в пермских языках. 1
Моллова М.— Опыт фонетической (консонантической) классификации тюркских языков и диалектов огузской группы 3
Немет Ю.— Турецкий язык в Венгрии. 2
Роспонд С.— Значение древнерусской ономастики для истории 1
Станишева Д. С.— Некоторые вопросы синтаксемного анализа 1
Толстая С. М.— Фонологическое расстояние и сочетаемость согласных в славянских языках 3
Чистович Л. А.—Метод исследования решающих правил, применяемых при восприятии речи 2
Шагиров А. К.—К реконструкции утраченных единиц лексической системы языка 2
Шеворошкин В. В.— К проблеме ликийского языка 6
Штернеман Р.— К вопросу о методах исследования категории будущего времени 5

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Зиндер Л. Р., Строева Т. В.— К вопросу о применении статистики в языковедении 6
Мдивани Р. Р.— Замечание к модели общего исчисления дистрибуции фонем 3

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Белодед И. К.— Научное наследие П. И. Житецкого и современность 1
Булаховский Л. А.— Морфологическая проблематика русских наименований птиц 4
Гиндин С. И.— В. Я. Брюсов о речевой природе стиха и стихотворного ритма и о русских эквивалентах античных стихотворных размеров 6

КОНСУЛЬТАЦИИ

Кубрякова Е. С.— О понятиях синхронии и диахронии 3

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ

Уленбек Э. М.— Еще раз о трансформационной грамматике 3,4
Хердан Дж.— Кризис современного общего языкознания 2

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

Асланов В. И.— Проблемы тюркоязычного стихосложения в отечественной литературе последних лет 1
Маковский М. М.— «География слов» и лексические связи германских языков и диалектов 3
Михневич А. Е.— Некоторые вопросы изучения синтаксических (подчинительных) связей слов в работах советских и чехословацких лингвистов 5

РЕЦЕНЗИИ

Андрющенко В. М.— Новые работы в области статистической лексикографии 5
Ахманова О. С.— *E. A. Nida.* A synopsis of English syntax 1
Ахманова О. С.— *J. Lyons.* Structural semantics 5
Белецкий А. А.— «Sprachwissenschaftliches Wörterbuch», hrsg. von J. Knobloch und al 2
Власенко М. М., Носова З. И., Серышева М. А.— «Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби» 5
Гойдо Х. М.— *Н. А. Катагощина, М. С. Гурычева, К. А. Алленсорф.* История французского языка 6
Грипавецкис В.— *Z. Zinkevičius.* Lietuvių dialektologija 4
Журавлев В. К.— *В. Н. Сидоров.* Из истории звуков русского языка . . . 1
Кноблох Й.— *О. С. Ахманова.* Словарь лингвистических терминов 2
Коготкова Т. С.—«Псковский областной словарь с историческими данными» 5
Кравчук Р. В.— *J. B. Rudnyc'kyj.* An etymological dictionary of the Ukrainian language 4
Кумахов М. А.— *Г. В. Рогава, З. И. Керашева.* Грамматика адыгейского языка 2
Лайтнер Т. М.— «Phonologie der Gegenwart» 6
Либерман А. С.— *С. Д. Кацнельсон.* Сравнительная акцентология германских языков 2
Мартынов В. В.— *О. Н. Трубачев.* Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и способ групповой реконструкции) 1
Макаев Э. М.— *Г. Б. Джаукян.* Очерки по истории дописьменного периода армянского языка 3
Макаев Э. А.— *W. Krause* (mit Beiträgen von H. Jankuhn). Die Runeninschriften im älteren Futhark 3
Мельчук И. А.— «Автоматизация в лингвистике» 1
Милославский И. Г.— *J. G. Nicholson.* Russian normative stress notation 6
Николаева Т. М.— *E. Bowmann.* The minor and fragmentary sentences of a corpus of spoken English 2
Отрембский Я. С.— *Chr. S. Stang.* Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen 4
Распопов И. П.— Две монографии о порядке слов в современном русском языке 5
Ревзин И. И.— *M. H. Folsom.* The syntax of substantive and non-finite satellites to the finite verb in German 3
Смолицкая Г. П.— «Hydronimia Wisły» 1
Шимундич М.— *S. Babić.* Sufiksalna tvorba pridjeva u suvremenom hrvatskom ili srpskom književnom jeziku 4
Широкова А. Г., Нещименко Г. П.— «Tvoření slov v češtině. 2. Odvozování podstatných jmen» 5

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Засорина Л. Н.— Письмо в редакцию 6
Любимов К. М.— О степенях сравнения прилагательных в тюркских языках 6

Малышев В. И.— Серьезный недостаток хорошего издания 4
Поченцов Г. Г.— Об обязательном и факультативном окружении . . . 1

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Ивашко Л. А., Мжельская О. С.— Псковский областной словарь и некоторые дискуссионные вопросы региональной лексикографии 2
Котков С. И.— О развитии лингвистического источниковедения 2
Трущенко Е. Ф.— Активнее изучать бесписьменные языки Дагестана 2
Успенский Б. А. — П. С. Кузнецов 3
Хроникальные заметки . . . . . 1—6
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию 4,6

CONTENTS

Articles: B. A. Uspenskij (Moscow). Relation of subsystems in language and the cognate linguistic universals; **Discussions:** G. A. Klimov (Moscow). On the hypothesis of the inner affinity of the Caucasian languages; B. S. Khaimovič (Kharkov). Concerning the units of the grammatical sphere; Y. S. Stepanov (Moscow). The problem of classification of cases; T. M. Nikolayeva (Moscow). On the interrelation of segmental and suprasegmental linguistic means; R. R. Gelgardt (Kalinin). On the stylistic categories; **Materials and notes:** V. V. Sevoroškin (Moscow). The problem of Lycean language; G. F. Blagova (Moscow). The Turkic affixal pleonasm in the light of comparative-historical and areal linguistics; G. P. Klepikova, T. V. Popova (Moscow). On the importance of areal linguistic data for solving some problems of the history of the Bulgarian language; V. Y. Deriagin, L. P. Koniagina (Moscow). From the history of the dialectal borders in North Russia; **Applied and mathematical linguistics:** L. R. Zinder, T. V. Stroeva (Leningrad). On the use of statistics in linguistic research; **From the history of linguistics:** S. Z. Gindin (Moscow). V. Y. Briusov on the speech nature of the verse and the Russian equivalents of antique versification-metres; **Critics and bibliography; Letters to the Editorial office:** K. M. Liubimov (Moscow). On the degrees of comparison of adjectives in the Turkic languages; L. N. Zasorina (Leningrad). A letter to the Editorial Office.

SOMMAIRE

Articles: B. A. Uspenskij (Moscou). Relation de sous-systèmes linguistiques et quelques universales qui en découlent; **Discussions:** G. A. Klimov (Moscou). Sur l'hypothèse de parenté intrinséque des langues caucasiennes; B. S. Khaimovič (Kharkov). Sur les unités de sphère grammatique; Y. S. Stepanov (Moscou). Problème de classification des cas: T. M. Nikolayeva (Moscou). Sur l'interrelation des moyens linguistiques segmentaux et suprasegmentaux; R. R. Gelgardt (Kalinin). Sur les catègories stylistiques; **Matériaux et notices:** V. V. Sevoroškin (Moscou). Problème de la langue lycéenne; G. B. Blagova (Moscou). Pléonasme affixal turcique dans la lumière de la linguistique comparée historique et aréale; G. P. Klepikova, T. V. Popova (Moscou). Sur l'importance des données aréales pour la décision de quelques problèmes historiques de la langue bulgare; V. Y. Deriagin, L. P. Koniagira (Moscou). De l'histoire des frontières dialectales de Russie septentrionale; **Linguistique appliquée et mathématique:** L. R. Zinder, T. V. Strojeva (Léningrad). Sur l'emploi de statistique pour les investigations linguistiques; **De l'histoire de la linguistique:** S. I. Gindin (Moscou). V. Y. Briusov sur la nature linguistique de vers et equivalents russes de mètres de versification antiques; **Critique et bibliographie; Lettres à la rédaction:** K. M. Liubimov (Moscou). Sur les degrés de comparaison des adjectifs; L. N. Zasorina (Léningrad). Lettre à la rédaction.

ОПЕЧАТКА

В статье Г. П. Клепиковой и Т. В. Поповой карту к стр. 100 следует смотреть на стр. 102; карту к стр. 102 следует смотреть на стр. 100.

Зак. 988

Технический редактор *Т. В. Таржанова*

Сдано в набор 29/VIII-1968 г. Т-16222 Подписано к печати 1/XI—1968 г. Тираж 6150 экз.
Зак. 988 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл. печ. л. 14,0 Бум. л. 5 Уч. изд.-листов 16,8.

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10